

An artistic illustration of a forest scene. In the foreground, a large, dark blue flower with five petals and a yellow center stands on a thin stem. The background is a dense forest with tall, thin trees and a soft, hazy light filtering through the canopy. The overall color palette is dominated by dark blues, teals, and yellows, creating a moody and atmospheric effect.

ПАВЕЛ МЕЛЬНИКОВ-ВЕЧЕРСКИЙ В ЛЕСАХ

Литрес 

Дилогия

Павел Мельников-Печерский
В лесах

«Public Domain»

1871-1874

Мельников-Печерский П. И.

В лесах / П. И. Мельников-Печерский — «Public Domain»,
1871-1874 — (Диалогия)

Манящие лесные дали Заволжья, скрывающие в своих урочищах раскольничьи скиты с их потаенной жизнью. Вольно текущая Волга... Настоящая, исконная, старозаветная Русь, буйная в веселье, безудержная в грехах, истовая в раскаянии. Всеу здесь найдется место – и пьянству, и легкости нравов, и изуверству. Но тем ярче живым, чистым блеском сияет настоящая любовь, подлинная вера, красота человеческой души.

Содержание

Л. А. Аннинский	5
В лесах	33
Часть первая	33
Глава первая	33
Глава вторая	38
Глава третья	46
Глава четвертая	51
Глава пятая	55
Глава шестая	63
Глава седьмая	71
Глава восьмая	78
Глава девятая	84
Глава десятая	92
Глава одиннадцатая	102
Глава двенадцатая	118
Глава тринадцатая	126
Глава четырнадцатая	135
Глава пятнадцатая	145
Конец ознакомительного фрагмента.	170

Павел Иванович Мельников-Печерский

В лесах

Л. А. Аннинский

«Лесное» и «горнее» в ландшафте русской души

Два романа, написанные П. И. Мельниковым в «московском изгнании», – в золотом фонде русской национальной культуры.

Как определить степень их признания? Не факт, а именно степень? Факт признания самоочевиден: появившись в семидесятые годы XIX века, романы эти сразу и прочно вошли в круг чтения самой широкой публики. К настоящему времени издано, по моим подсчетам, порядка двух с половиной миллионов экземпляров. И это только отдельные издания, а есть еще собрания сочинений Мельникова; их шесть, так что в общей сложности обращается в народе миллиона три.

Львиная доля этих книг выпущена во второй половине пятидесятих годов в XX века; затем идут два менее выраженных издательских «пика» в конце семидесятых и в середине восьмидесятых годов, и интерес, кажется, не слабеет.

Однако и в менее щедрые годы романы Мельникова-Печерского не исчезают вовсе с издательского горизонта: шесть тысяч экземпляров, выпущенные «Землей и Фабрикой» в 1928 году, а затем, в середине тридцатых годов? – однотомник под грифом Academia, откомментированный и оснащенный с академической тщательностью, – все это говорит о том, что за сто с лишним лет существования романы Мельникова ни разу не выпадали в полное забвение; самое большое издательское «окно» не дотягивает до двадцати лет: между академическим томом 1937 года и гослитиздатовским двухтомником 1955 года, с его трехсоттысячным тиражом, сразу рассчитанным на массовое чтение. А еще инсценировки – их с десятков, и делались они в 1882, 1888, 1903, 1938, 1960, 1965, 1972 годах... А еще иллюстрации художников от Боклевского до Николаева. Воистину, два романа, написанные когда-то изгнанником либерализма, имеют удивительно счастливую судьбу; они сразу и прочно связались в сознании читателей не с той или иной преходящей системой ценностей, а с ценностями коренными, несменяемыми, лежащими в глубинной основе русской культуры.

Это – факт. И именно этот факт побуждает меня при определении *степени* признания мельниковской эпопеи соотнести этот текст с самыми величайшими творениями русской литературы.

С какими?

Берем прежде всего романы, появившиеся одновременно или почти одновременно с мельниковскими: в том же «Русском вестнике», в те же 70-е годы – «Анна Каренина» Л. Толстого, «Бесы» Достоевского, «Соборяне» Лескова.

Для полноты картины надо добавить сюда и два *главных* романа Толстого и Достоевского; один – «Война и мир» – появился десятилетием раньше, другой – «Братья Карамазовы» – десятилетием позже, чем «В лесах» (впрочем, тогда же, когда «На горах»), но эти романы просятся в сопоставление с мельниковскими по своей творческой установке: перед нами национальные эпопеи.

По той же причине надо включить в этот круг «Былое и думы» А. Герцена, завершенные незадолго до того, как Мельников приступил к писанию.

Еще три романа – близкой поры либо близкого типа: во-первых, «Обрыв» И. Гончарова (1869 год), во-вторых, «Люди сороковых годов» А. Писемского (1869 год) и, наконец, «Поше-

хонская старина» М. Салтыкова-Щедрина: написанная несколько позже, в 1887–1889 годы, она перекликается с мельниковскими романами по фактуре; и, конечно, если уж проследживать до конца линию взаимоотношений двух главных обличителей либеральной эпохи, то «Пошехонская старина» – это как бы прощальное тематическое пересечение Щедрина с Печерским.

Десяток книг, избранных мною для сопоставления, – это цвет русской прозы второй половины XIX века. Отсутствие Тургенева картины не меняет: лучшие вещи Тургенева отгребали в предыдущую эпоху, да и по внутренней установке малосопоставимы с мельниковской диалогией; «Новь» же тургеневская, появившаяся в 70-е годы и тоже несопоставимая по внутренней задаче, к тому же и малоудачна. Нет, давайте возьмем первейшие, величайшие творения русского духа, – то, что и впрямь составляет наш золотой фонд, то, что действительно выводит русскую литературу на мировой уровень.

Как будем сравнивать?

Прежде всего, по числу изданий, учтя как отдельные (титульные), так и включенные в собрания сочинений. Вообще-то это разные типы изданий, и говорят они о разном, но в данном случае они для нашей задачи тождественны, потому что речь идет о великих произведениях, ради которых, собственно, собрания и предпринимаются, а вовсе не о тех, когда авторитет писателя «тянет» за собой в собрание вещь необязательную.

Вот результат моих подсчетов.

Вверху таблицы, с гигантским отрывом – Толстой: «Анна Каренина» чуть-чуть опережает «Войну и мир»: сто восемь изданий к ста пяти.

Следом идет «Обрыв» Гончарова – 56 изданий.

Далее – довольно плотной группой: «Былое и думы», «Пошехонская старина» и «Братья Карамазовы» – около 40 изданий в каждом случае. Это – верхняя группа.

Теперь – низ таблицы. Здесь, «на дне», с индексом 8 – «Соборяне» Лескова и «Люди сороковых годов» Писемского. След несчастья, слом судьбы, срыв в «небытие»: *вторая классика*, бойкотом оттесненная с первых позиций.

Здесь, по идее, должен быть и Мельников.

Так вот: он, с *двадцатью* изданиями, отрывается от нижней черты и становится на седьмое место, опережая «Бесов» и приближаясь к «Братьям Карамазовым»!

Положим, «Бесы» – тоже случай особый; у этого романа та же «бойкотная» судьба: отдельно он практически не издавался, и держат его на плаву четырнадцать собраний Достоевского. Держат собрания и «Карамазовых» (ну, впрочем, и сами держатся ими), однако если собрания исключить (общий вес и авторитет Достоевского в русской культуре, конечно, несравнимо выше веса и авторитета Мельникова), так если сравнивать только количество отдельных изданий (то есть степень интереса не к писателю вообще, а именно к *данному* произведению), – то мельниковская диалогия достигает уровня «Братьев Карамазовых» и даже чуть опережает их: четырнадцать к двенадцати.

Иными словами: романы Мельникова-Печерского читаются наравне с первейшими шедеврами русской классики, и это происходит не столько вследствие его общей репутации, сколько благодаря только *собственному потенциалу* этих романов.

Сопоставление суммарных тиражей подтверждает картину.

Оговорюсь, правда, какие тиражи я учитываю. Во-первых, тиражи только отдельных изданий. Тиражи собраний в расчет брать не стоит – это показатель скорее «общего веса» классика, чем веса данного произведения. Во-вторых, тиражи изданий прошлого века, да и начала нашего, – как правило, не объявлялись. Так что если учитывать объявленные тиражи, то вычислится общее количество книг, выпущенных в послевоенное время, с малыми, иногда почти пренебрегаемыми на таком фоне добавками из двадцатых и тридцатых годов. Практически же вычисляется вся масса книг, находящихся сейчас в живом читательском обращении. «Мощность» слоя.

Вверху шкалы опять-таки «Анна Каренина», ушедшая за четырнадцать миллионов. Одиннадцать миллионов – «Война и мир». Семь миллионов – «Обрыв», четыре – «Былое и думы».

Внизу шкалы – практическое отсутствие «Бесов», ничтожный тираж «Людей сороковых годов» и треть миллиона экземпляров «Соборян», «спохваченные» уже в самые последние годы.

В середине, плотной группой: «Братья Карамазовы», затем, чуть отставая, – «Пошехонская старина» и – мельниковские романы.

Два с половиной миллиона экземпляров его книг держат имя Андрея Печерского в кругу практически читаемых классиков.

Я считаю, что это *великое* признание и *счастливейшая* судьба.

Так чем же держит это огромное, в две с половиной тысячи страниц, медлительное, наивное повествование *современного* читателя? Что нам до подробностей давно исчезнувшего бытия, до деталей жизни, канувшей на дно истории, до реалий давно нереального уже, невидимого града, ушедшего в «толщу вод»? Ведь не притча иносказательная предложена нам, а именно подробное бытописание, внешне похожее то ли на путеводитель по затонувшему царству, то ли на загробный сон, где рельефная четкость подробностей еще и подчеркивает ирреальность происходящего. Что же приковывает современного читателя, для которого даже и язык Печерского иной раз стоит на грани понятности?

«На Казанскую в Манефиной обители матери и белицы часы отстояли и пошли в келарню за трапезу...»

И «матери» тут не те, и «часы» не те, что нам привычны. Положим, «обитель», «трапезу», а может, и «Казанскую» еще может знать или сообразить нынешний просвещенный читатель, хотя далеко не каждый, но за «келарней» и «белицами» придется нырять в словарь Даля либо в собственный словарь Печерского, предусмотрительно приложенный к роману. Так эта «непонятность» – не столько знак ученой специфики, сколько знак художественной игры. Печерский ставит в словах ударения, как бы не доверяя осведомленности своего читателя, как бы предлагая ему особые условия; он все время играет красками и смыслами, словно бы испытывая логику. «Молоденькие старочки» и «черные белицы» рядом с «добрыми молодцами» и «красными девицами» придают картине, по-видимому, олеографически благостной, оттенок если не шаржа, то неуловимой усмешки. «Мужская обитель не устояла... И... сделалась женскою», – смыслы играют, дразнят; из-под монашески смиренной объективности посверкивает вызов. Иногда в какой-нибудь невинной сносочке... ну, вот хотя бы о поваре, у которого училась стряпать чапуринская крестная мать: повара того похвалил «сам Рахманов»... Кто таков? Сносочка: «Известный московский любитель покушать, проевший несколько тысяч душ крестьян». Жало, обнаружившееся в этой фразе, мгновенно напоминает вам, что под широкой улыбкой поволжского летописца притаился обличитель, который еще недавно вместе со Щедриным нагонял страху на начальство... но что-то переменялось, и обличитель, убрав лезвие, мелким, мягким штришочком пишет бесконечную невозмутимую фреску.

Возникает странное ощущение сдвоенного штриха, сдвоенного зрения и даже сдвоенного мира. Ощущение морока и мороченья. С истовой поэтичностью автор разворачивает очередной среднерусский пейзаж, с чертями, водяными и лешими, таящимися в глубине *вады*, или *чарусы*, или *окна*, он расстилает перед вами ковер простонародно опознаваемых трав: багун, звездоплавка, мозгуши, белоус, – а под строку, в сноску с профессорской аккуратностью выписывает *латинские* названия этих русских диковин, то ли подкрепляя былинную мощь ботанической эрудицией, то ли над всем этим посмеиваясь... Вплывая в лабиринты эпической поволжской атлантиды, вы чувствуете, что ее выстраивает перед вами сказитель, отнюдь не настолько простодушный, как он хочет это продемонстрировать.

Это наивность, знающая, что она наивность. Это старина, знающая, что она старина. Есть оттенок некоторого даже щегольства в переходах от ясного знания к туманному нащупыванию реальности. Есть оттенок экзотизма в самом звучании имен, составляющих в эпопее Печерского своеобразную узорную сеть. Имена старые, старорусские: Настасья, Прасковья, Евдокия, Петр, Алексей, Василий, но рядом – что-то на грани света и тьмы: Манефа... Флена... Филагрия... Даже общепонятные имена звучат с оттенком необычности, со старинным отзвуком либо с печатью местного колорита: не Марк, а Марко, не Потап, а Патап...

Вы попадаете в странный, старинный, внутри себя заверченный, старательно выстроенный мир, но смутное ощущение искусности, декоративности и нереальности этого мира парадоксально гасится у вас впечатлением его оптической непреложности, материальной, физической ощутимости. Так он написан: теплом поверхностей, скрипом деревянных лестниц, неподдельностью затейливой речи, запахами яств и снедей: можете пощупать, можете отведать, услышать, вдохнуть, рассмотреть...

Искушенный, все и вся знающий рассказчик на ваших глазах прячет иронию и убирает острую усмешку: он предлагает вам условие художественной игры: наивность.

Современный читатель, тоже искушенный, тоже все и вся знающий и даже осознанно скептический, приняв это странное условие, вживается в бесконечно затейливый мир, разросшийся в лесах и на горах по обе стороны бесконечной, неисчерпаемой Волги.

Мельников-Печерский описывает этот мир с неспешностью сказителя и дотошностью этнографа. Эпос! Причем не столько слепой Гомер возникает в вашем сознании – аналогии с Гомером в критике не пройдут, – сколько зоркий Гоголь, русский аналог Гомера; Гоголь – мастер чарующих перечней и инвентарных описей, полных лукавства, в том же ритме, в каком Гомер перечислял корабли, перечисляющий плюшки и пампушки. Когда-то юный Мельников начинал с ученических подражаний Гоголю – не получилось. Опытный Печерский справился с хитроумной задачей, он овладел тончайшей художественной материей: поэтикой перечня.

Эти перечни – те же колдовские «вадьи», «окна» и «чарусы» его прозы: вязко, густо, волшебено, бездонно – и цветет яркими красками.

Богатый заволжский купец Патап Чапурин задает гостям обед на Пасху. Вслед за автором мы пробуем все: пироги, юху курячую с шафраном, солонину с гусиными полотками под чабром, индюшку россольную, рябчиков под лимоном... Совсем другое – стол поминальный, когда отмечает Патап Максимович сорочины по безвременно умершей старшей дочери Насте. Трапеза по старине, как от дедов и прадедов заповедано: мирским рыбье, келейным сухоядное. Кутья на всех – из пшена сорочинского с изюмом да с сахаром. Блины в почетные столы – на ореховом масле, в уличные – на маковом, мирским с икрой да со сметками, скитским – с луком да с солеными груздями. Стерляжья уха... расстегаи... ботвинье борщевое... похлебка из тебеки... борщ с ушками... дыни в патоке... хворосты... олады... Ничего не забыть, ничего не упустить... не перепутать порядок...

Жена Патапа Чапурина размышляет, как бы помочь заболевшей золовке Матрене Максимовне; речь, конечно, не о лекарствах, от лекарств только порча; речь о том, какому именно святому молиться. И тут тоже ошибиться нельзя: от зубов – Антонию, от глаз – Лаврентию, от оспы – преподобному Конону Исаврийскому, от винного запойства – мученику Вонифатию...

Золовка же, Матрена Максимовна, она же в иночестве величаемая мать Манефа, в лесном своем скиту читает *отпуст*, а середь часовни, перечисляет автор: столик, крытый белоснежной скатертью, на скатерти осмиконечные кресты из алой шелковой ленты, а на столике: икона Воскресения, воздвизальный крест, канун, блюдо с кутьей, блюдо с крашеными яйцами...

А пока купчиха и монахиня врачуют души, сидя каждая в крепком своем чертоге, – тихая деревенская колдунья в овражке собирает в пестерь корни и приговаривает: адамова глава от порчи, плакун-трава от притки, чертогон-трава от бесов... И под строкой, дублирующим перечнем, – идет по-латыни профессорские названия этих трав.

Растут-шумят травы: перелет-трава, прыг-трава, разрыв-трава... Поют-гомонят птицы: вяхири, ветютни, желны, иволги, сойки, свиристели, малиновки (а под строкой – латынь, латынь). Идут по Волге лодки рыбацьи: кусовые, ловецкие, живодные, реюшки, бударки, косные (без латыни уже, но тоже с подробными в сносках пояснениями). Дальше к стрелю – баржи идут, расшивы, гусянки, бархаты, шитики, сплавные беляны, смоленые кладнушки... А на берегу, у Макарья, ярмарочная нижегородская толпа гудит: казанские татары в шелковых халатах, с золотыми тюбетейками на бритых головах, длинноносые армяне в высоких бараньих шапках, шумные евреи в засаленных длиннополых сюртуках, задумчивые англичане, громко хохочущие французы с бородками под Луи Наполеона, тихие широколицые саратовские немцы... И разинувшая рты на все эти диковины – русская толпа.

А пока на пристани и на улицах толчется люд, в дорогом номере гостиницы богатая купчиха вычитывает будущему зятю рядную запись приданого, даваемого за дочерью, пункт за пунктом: образ Всемилоственного Спаса в серебряной ризе, с таковыми ж венцом и цатою, да образ Пречистые Богородицы Тихвинские, риза и убрус жемчужные, звезда на убрусе двенадцать камней...

А в лавке старинщика с таким же неспешным тцанием перебирает иконы торговец-миллионщик Марко Данилович Смолокуров, а под строкой, следуя за его взглядом, с искусствоведческим блеском перечисляет автор московские и прочие иконописные школы: старые письма, вторые письма, фряжские письма...

Вдруг, сбивая счет, влетает в лавку паренек, помощник старинщика, и кричит хозяину нечто тарабарское:

– Хлябьшь в дудоргу хандырит пельмиги шишлять!

Хозяин кидается что-то прятать, а автор невозмутимо объясняет нам: это мальчишка на *офенском* жаргоне хозяина предупредил: «Начальство в лавку идет бумаги читать».

Мы имеем возможность оценить пикантность ситуации, при которой П. И. Мельников, сам некогда бывший таким громоподобным начальством, с сочувствием изображает старинщика, спасающего иконы и книги от чиновного сыска, – а меж тем Печерский с академичностью лингвиста объясняет нам под строкой, что такое *офенский жаргон*, когда и почему появился, какие у него варианты: ламанский, галифонский, кантюжный...¹

А за горами, подале от Волги, – своя тайнопись: Бем, Сен-Мартен, Ламотт Гион, «Сионский вестник», вольные каменщики, Эккартсгаузен – это для грамотеев, а для темных – дикие басни, дикие песни, кровавые бичевания, круженья с пальмовыми ветвями в руках, а у кого нет пальмовых – с вербными, все по ритуалу, скрупулезно описываемому в деталях, с перечнями...

А пока в старом помещичьем доме хлысты правят свое радение, – в деревне на крылечке кабака сидит старый солдат и, пропустив добрую чапуруху, рассказывает недоверчивым, но любопытным мужикам следующее: про литвина-колдуна, про хитрого немчина, про татарина, которого свинья родила, про хохла, который вороны глупей, да черта хитрей, про мордву толстопятую, да про Вязьму, которая в пряниках увязла, да про елатомцев-бабешников, да про моршанцев-сомятников, да про кадомцев-целовальников...

О, Русь... Огромный мир, необозримый, пестрый, вавилонь несусветная, бездонь немеченая. Созерцая эту гигантскую фреску, эту энциклопедию старорусской жизни, эту симфонию описей и номенклатур, – впрямь начинаешь думать: а может быть, секрет живучести мельниковской эпопеи – именно в этом музейном собирании одного к одному? Может, не без оснований окрестили его критики девятнадцатого века *великим этнографом*, чем невзначай и задвинули со всем величием в тот самый «второй ряд» русской классики, удел которого – быт и нравописание, фон и почва, но – не проблемы? Ведь и Пыпин Печерского в этнографы зачис-

¹ Не удержусь и я от сноски: теперешнее уголовное «по фене ботать» – не от «офени» ли древней? Неисповедимы пути культуры: спасительное катакомбное речение оборачивается уголовным жаргоном.

лил, и Скабичевский, и Венгеров – не последние ж имена в русской критике! И то сказать, а разве народный быт, вобравший в себя духовную память и повседневный опыт веков, – не является сам по себе величайшей ценностью? Разве не стоят «Черные доски» Владимира Солоухина и «Лад» Василия Белова сегодня в *первом* ряду нашего чтения о самих себе?

Стоят. Это правда. Но не вся правда. И даже, может быть, и не главная теперь правда: такая вот инвентаризация памяти. «Лад» Белова и солоухинские письма – вовсе не музейные описания (хотя бы и были те письма – «из Русского музея»). Это память, приведенная в действие внутренним духовным усилием. Потому и действует. Вне духовной задачи не работает в тексте ни одна этнографическая краска. Ни у Белова, ни у Солоухина. Ни, смею думать, и у Печерского.

У Печерского, особенно в первом романе, где он еще только нащупывает систему, этнография кое-где «отваливается», как штукатурка. Две-три главы стоят особняком: языческие обычаи, пасхальные гуляния, «Яр-Хмель»... Сразу чувствуется ложный тон: натужная экзальтация, восторги, сопровождаемые многозначительными вздохами, олеографические потеки на крепком письме... Эти места видны (я могу понять негодование Богдановича, издевавшегося над тем, что у Печерского что ни герой – то богатырь, что ни героиня – красавица писаная). Но много ли в тексте таких «масляных пятен»? Повторяю: две-три главы особых, специально этнографических. Ну, еще с десяток-другой стилистических завитков в других главах. Как же объяснить остальное: весь этот огромный художественный мир, дышащий этнографией и тем не менее *художественно живой*? Ведь не кажется же этнографической «вставкой» подробное описание обряда похорон после сцены смерти Насти, потому что сама смерть ее – картина огромной силы, стоящая, как я убежден, в ряду шедевров русской классики.

А в *чем* тут сила, не сразу и поймешь. Настя умирает оттого, что ее возлюбленный, Алексей Лохматов, слабодушен. Кончается любовь – Настя умирает. Мечтали о свадьбе, если не благословением родительским, так уходом. Алексей не решился – и она умирает. Грех сломал душу: понесла до венчанья – тятеньке сказать страшно. Нарушился обычай дедов и прадедов – и она умирает. Умирает, в сущности, оттого, что *должна* умереть, *хочет* умереть. Каждое движение ее, каждая фраза, каждый взгляд в сцене прощанья с близкими – ожидаемый. И, странным образом, потому он и действует на вас, что – ожидаемый. Ожидаешь даже и вот этого, самого пронзительного ее поступка: просит тятеньку не делать зла ее обидчику, не мстить ему...

Напрашивается параллель: тогда же, в начале семидесятых годов написанный Толстым эпизод из «Анны Карениной», смертельная болезнь Анны; ее просьба, чтобы Каренин и Вронский при ней помирились... У Толстого этого отнюдь не ждешь: ни такой просьбы, ни такого примирения. У Толстого – риск индивида, который чувствует в глубине своей неожиданность: мрак и тайну. И все словно ввинчивается в какую-то воронку. И Анна уже как бы после смерти начинает нечто странное, неожиданное: второй круг жизни – псевдожизнь с Вронским, антижизнь, мнимую жизнь.

У Печерского – наивность, ясность, прозрачность. Нет изматывающей психологической диалектики, нет обессиливающей рефлексии, нет «воронки» неисчерпаемого мгновения. Прозрачна графика рисунка, детски наивны краски.

«Вдруг слетела улыбка, и глаза стыдливо опустились. Слабо подняла она исхудавшую руку и провела ею по лбу, будто что вспоминая».

Это она вспомнила, что ей надо *умирать*!

Ясность письма и сознание неотвратимости, правильности совершающегося – вот загадочный стилевой магнетизм, позволяющий Печерскому плести бесконечное кружево повествования, в котором простейшие и ожидаемые жесты сцепляются в духовно-неотвратимые поступки, а простые судьбы – в национальный космос. Две краски вроде бы мешают этой ясности. Во-первых, былинная стилизация, о которой мы уже говорили: «белы рученьки», «резвы

ноженьки». Во-вторых, стилизация старокнижная, дьячково узорочье, темная церковнославянщина, «хрия инверза» щегольская. И что же? В целостном стилевом и композиционном контексте эти «наложенные» краски либо терпимы, либо начинают работать в неожиданном свете, как работают на иконах пробелы или золото. Или как ладятся в летописных иллюстрациях ритм одинаковых, условно согнутых фигур и не менее условная игра складок на одеждах.

Все-таки аналогии стилистике Андрея Печерского надо искать не столько в психологической прозе, сколько в старорусской живописи: в иконе и фреске. Ясность тонов, определенность красок, «заливка» и «плавь», игра – лишь в пределах канона. «Темные леса», «теплые горницы»... Взять пейзажи Печерского, самый их ритм: от них ощущение – как от иконописи: вот условные «палаты», вот рифмующиеся «древеса» и «лещады»...

Герой, проходящий через серию «испытаний», не столько развивается как характер или личность, сколько выявляет свое лицо, свою «тему», свою «судьбу» в разных положениях. Эпизоды нанизываются по логике «хождения». Жизнь Марко Даниловича Смолокурова, главного героя второго мельниковского романа, напоминает нить, на которую нанизываются «случаи»; в иных случаях мог бы действовать и какой-нибудь другой герой того же толка, например Патап Максимович Чапурин. Главное – сама нить судьбы, цепочка картинок. Логика, известная из иконописи: логика «клеим».

Роман разрастается, как дерево, выбрасывая все новые ветви, свободно раскидываясь в безграничность. Мельников, опытный беллетрист, намечает всякую линию загодя, дает завязаться «почке», дает мелькнуть «случайному лицу», чтобы потом, когда пойдет «ветка», когда это лицо окажется главным в действии целой обширной части, – мы восприняли бы его без удивления. Следя за тем, как живут «на горах» купец Смолокуров и его дочь Дуня, мы припоминаем, что эти двое уже мелькнули «в лесах» во время путешествия московского гостя Василия Борисовича ко святым местам светлоярским. Мы воспринимаем новых героев как знакомцев. И все-таки, когда все течение огромного романа заворачивает в эту боковую протоку, когда оно вольным плесом уходит в новую неожиданную сторону, – у нас возникает ощущение растекающегося моря... разрастающегося древа... бесконечной жизни, как бы не имеющей формы.

Салтыков-Щедрин припечатывает: «Мельников пишет... романы, которые можно без потери, с любой страницы начать читать...»

Это не перспектива, взятая из одной оптической точки, а как бы движение вдоль бесконечной ленты, без начала и конца, когда предметы не показываются один из-за другого, а идут *рядом* друг с другом, когда дальний план все время меняется местами с передним планом, располагается над ним, под ним. Композиционные ярусы. Логика фрески.

Это не ход событий, имеющих начало и конец, это течение бытия как бы из бесконечности в бесконечность. То, что Лесков собирался сделать в «Чающих движения воды» и не сделал. Жизнь всегдашняя, вечная, в основах своих неизменная. Эпос.

Так что же нас сегодня-то притягивает в огромном мельниковском повествовании? Ощущение вечного природного коловращения? Вариация «всегдашности», взятая в сто первом национальном варианте?

Нет, другое. В лоне «вечности» разыгрывается драма. Драма русского бытия. Она нас и держит.

Не в том же истинный смысл двухтысячестраничного повествования, что Мельников-Печерский разворачивает перед нами картину за картиной, из китежской заволжской чащобы ведет нас в муравейник нижегородской ярмарки и из низовой степи в степь рязанскую. Повествование потому и воспринимается как живое художественное целое, что в обводе русского горизонта таится некий *сюжет*. Иначе гигантский материал осел бы этнографическим балластом. Его держит драма, и эту драму нужно понять.

Пойдем от очевидного обстоятельства, которое в подобных случаях считается едва ли не писательским просчетом. Роман перенаселен. Герои дублируют друг друга. Крутой и хитрый «миллионщик» Марко Смолокуров в некоторых поворотах своих торговых дел весьма напоминает крутого и хитрого «тысячника» Патапа Чапурина, ходившего искать золото, которое «само из земли лезет»... То же и дочери: пылкая Дуня Смолокурова напоминает страстную Настю Чапурину. Но мы поторопились бы, если бы отнесли эти сдвоенные контуры на счет авторской недоработки. Недоработки в романе, конечно, есть, Мельников перемарывал десятки корректур и до конца, кажется, так и не дошлифовал текст, но с двоящимися контурами дело сложнее. Ощущение дублирующейся реальности – глубинный существенный лейтмотив романа. Двоящиеся контуры – черта этого мира. Иногда она делается явственной до наваждения. Зловещ бывает у Печерского смысл этого двоения. Дуня, околдованная хлыстовскими радениями, доходит до роковой черты, потому что претендующий на ее послушание «духовный супруг» *похож* на милого ее сердцу Петра Самоквасова. И таким же зловещим имитатором, вестником гибели является к несчастной Марье Гавриловне Алексей Лохматов, *похожий* на сгинувшего когда-то ее жениха Евграфа... Лейтмотив: подмена. Идеальное есть, но оно не может воплотиться. Оно воплощается – в мнимость, в обман, в морок. И это уже уникальная черта художественного мира, разворачиваемого Печерским, черта, отнюдь не следующая из общей эпической установки, а вытекающая скорее из опыта: двоение контуров, подмена воплощения, бесовский обман, ведущий душу.

Собственно, и композиция мельниковской эпопеи, на первый взгляд напоминающая вольно разливающийся плес или бесконтрольно растущее дерево, если вдуматься, содержит глубоко продуманную сквозную «фабулу». И это тоже фабула подмены.

Событийное зерно романа (и даже один из первоначальных заголовков его) – *свадьба уходом*. Настоящая свадьба уходом – самоосуществление сильной и глубокой страсти – срывается. Не выдерживает Алексей, умирает Настя. Но свадьба уходом все-таки осуществляется. Другая. Ленивую Парашу, Настину сестру, сводит озорница Флена с блудливым рогожским гостем Василием Борисовичем. *Эта* свадьба – шутовская, полускоморошья – реализуется.

В чем символический смысл такого взаимоотражения? Реальность истинная осуществиться не может. Осуществляется реальность облыжная, притворная. Они похожи одна на другую до полной иллюзии. И обе – опасны, или, как сказали бы керженецкие белицы да черницы, – опасны. Путь меж Сциллой и Харибдой? Или, как опять-таки лучше выразиться в духе романа, – проезд в хитрые ворота, где каждая веревка кажется прочной, но любая может оказаться подломана. «Линейная» композиция второго мельниковского романа – «На горах» – кажется вполне бесхитростной, но эта линейность: судьба Дуни Смолокуровой, опекаемой отцом ее Марком Даниловичем, – находится в весьма естественном композиционном соотношении с намеченными в первом романе «обманными воротами»: эпопея Печерского – книга о русской душе, идущей сквозь приворотные соблазны. Это и есть ее настоящий внутренний сюжет.

История души – не в том психологическом варианте, который разрабатывают классики «первого ряда»: Гончаров, Тургенев; и, конечно, не в том философском смысле, который извлекают из этой истории классики, скажем так, мирового ранга: Толстой и Достоевский. У Печерского особый склад художества и, соответственно, особая задача. История русской души – это не пути отдельных душ; это не путь, скажем, Дуни Смолокуровой, полюбившей Петю Самоквасова, расставшейся, а потом вновь соединившейся с ним, а кроме того, попавшей в сети хлыстовства и с трудом и риском из этих сетей освободившейся. Ошибка – подходить к характеру Дуни и вообще к героям Печерского с гончаровско-тургеньевскими психологическими мерками. У Печерского нет ситуации свободного выбора и нет ощущения характера, который созидает себя, исходя из той или иной идеи, или интенции, или ситуации. Здесь другое: ясное, логичное, ожидаемое, неизбежное и неотвратимое осуществление природы чело-

века, заложенной в него вечным порядком бытия. Судьба должна осуществиться, и она осуществляется. Человек не может уклониться от судьбы. Это – *природа вещей*.

Природа – не столько в судьбе и пути той или иной личности, сколько в состоянии всего мира – круга – окоема. Иначе говоря: русская судьба решается не столько в судьбе Дуни Смолокуровой (которая мало что *решает* как личность, а именно на *судьбу* уповает), сколько в согласной и совместной судьбе всего гигантского населения романа. При всем пестром, «этнографическом» многообразии точно описанных здесь фигур – в них прежде всего угадывается единое дыхание. Русская душа столько же выявляется в главной героине романа, сколько еще в дюжине «сквозных» персонажей первого ряда. И эта же тема, эта же судьба варьируется еще в трех дюжинах героев второго ряда, действующих на протяжении части, главы или эпизода. И она же, судьба русской души, светится, отсвечивает и посверкивает в огромном количестве мелькающих там и сям силуэтов и проходных фигур. Эта сквозная тема откликается в диалогах, описаниях, беглых замечаниях, мгновенных зарисовках, а главное – в прихотливой и резной речи героев. Это не психологическое исследование характеров и не философское самосозидание духа, это всеобщий, тотальный *ландшафт души*, взятой в органическом единстве с ландшафтом места: с лесами и горами по обе стороны Волги.

Теперь подумаем, что же нам сказано на эту тему.

Первая, ярчайшая, сразу в глаза бросающаяся, громко кричащая о себе черта русского человека в эпопее Печерского – твердость.

Твердость! Крутость!

Тверд, крут купец-тысячник. Истый медведь: «Сказано: хочу, и делу конец». Крута, неприступно величава скитская игуменья. Сила силу ломит: силе уступают с уважением. Купчиха, кроткая перед мужем: «Твоя воля, батюшка», – в свой черед тверда и крута с дочерью; старица, клонящая голову перед игуменьей, в свою очередь не прощает слабости молодой послушнице. Каменное давление! Ощущение окаменелой прочности схватывает весь этот старообразный мир, гордящийся вековыми, несдвигаемыми обычаями. Не нами повелось, не нами и кончится!

Чаще они говорят иначе: *без того нельзя*. Колотит отец дочку: без того нельзя. Встают две деревни стенка на стенку, до увечий бьются, до смертоубийства: без того нельзя. Покупает Марко Данилович у старинщика древние книги, обманывает, обсчитывает, обмишуливает честного торговца, к которому, в сущности, прекрасно относится, и совести не зазрит, и обижаться не велит, – а просто без того нельзя. Обманут самого Марка Даниловича – и то дело: а как же иначе? Иначе нельзя. Обиды совсем от другого бывают, а что от веку заведено, на то обижаться грех. Тузы-миллионщики на ярмарке у Макарья так подсиживают друг друга, что по миру пойти рискуют: банкротствами дело пахнет, – а все с видимыми улыбочками, чаек попивая... Потому что дело такое: коммерция – как без того? Без того нельзя.

В основе этой крутой беззастенчивости, этой несдвигаемой определенности, этой проломной безжалостности – ощущение прочного, неотменимого, от веков идущего порядка. Порядок – до мелочей, до последних ритуальных бантиков – скроен, сшит и завязан навеки, и блюдетсся он неукоснительно. Родитель-то в душе, может, и рад, что дочку окрутили уходом; и молодые знают, что старики рады; однако, уйдя, должны молодые прийти с повинной: пасть тятеньке в ноги, выть, плакать; тятенька же, все понимая, нехотя пойдет за плетью и станет охаживать ею беглецов, потому что таков обычай.

Обряд, чин, ритуал – святыня непосягаемая. Ты можешь вернуться с другого конца света, – но прежде, чем броситься к родному человеку, – будешь стоять и отбивать положенный «семипоклонный начал», иначе не подпустят. Сначала «уставные метания» и поклоны – потом чувства и действия. Не дай бог сбиться! «Нет грехов, которых бы не покрыло Божье милосердие. Один только грех не прощен у Создателя – аще кто отступит от святыя и непорочныя веры отец наших и отвергнет древнее благочестие». Вы слышите?! Обмануть – можно, оклеветать,

украсть, ограбить, обесчестить, убить – все можно, все простится от широкой души, но нельзя переложить персты при крестном знамении, нельзя надеть плат на шею, нельзя выпить кофею, ибо, кто пьет кофею, тот ков на Христа строит. При первом приближении все это кажется чистым безумием. Сидят два начетчика и спорят о каком-нибудь *слове* в Священном Писании, причем ни один из них этого слова не понимает и знает, что другой тоже не понимает. А яряся! До ненависти друг к другу! Так что же это такое? Где тут реальность? А вот где: не о смысле спор – о верности букве, обряду, закону. Что верней? Это и есть реальность. Дикое, историками церкви описанное *обрядоверие* русских осмыслено у Печерского как черта души, одновременно абсурдная и... неизбежная. Абсурдная – потому что от обрядоверия дробится народ на множество толков, один другого строже, один другого нетерпимее, от обрядоверия – все расколы, все междоусобия наши. Но что-то же толкает русского человека к этому абсурду! Так откуда этот страх уступить в букве, в чепухе, в малости? «В мале бо ся ослабший, в велице поболити, скорбя». Страшно отступить, не удержаться на малом, потому что, кроме как на малом, поправимом, удержаться и не на чем: приходится вцепляться во внешнее, элементарное, осязаемое, простейшее, всем понятное, и держаться крепко, потому что... тут мы подходим к главному: потому что, если оторвешься от очевидного и простейшего, – поплывет все, посыплется, повалится...

Глубинное и глобальное художественное открытие П. И. Мельникова-Печерского: русский человек потому и укрепляет себя с неукоснительной внешней жесткостью и мелочной цепкостью, что внутри души своей чувствует гибельную, предательскую мягкость; он потому так круто, так крепко сцепляет внешние границы своего бытия, что внутри нет границ, там – гуляющие вихри, неуправляемые и непредсказуемые, там – волюшка и неуследимый простор.

Сильнейшие моменты у Печерского-художника – моменты *перехода*. Из душевной хляби – в обрядовую твердь. Из гибельной жизненности – в мертвенное спасение.

Страшен момент, когда гордая красавица Матрена Чапурина, потерявшая любимого человека, сломленная родительским самодурством, оскорбленная и как женщина, и как мать, становится монахиней Манефой – матерью «от противного», от отрицания. Это окаменение духа, сам переход от наивной «спеси» к горькому, отрешенному величию – момент душераздирающий. Это – никто так не написал, как Мельников-Печерский.

И – вершинное его создание: Фленушка. Быстрая, как ртуть, озорная, лукавая, подвижная, любимица обители, огонь-девка, озорь-девка, угар-девка, баламутка и своевольница – как горько смиряет она себя, как скручивает, как мучительно душит в себе живое, склоняя голову под черный куколь. С жизнью прощается! «Сорная трава в огороде... Полют ее, Петенька... Понимаешь ли? Полют... С корнем вон... Так и меня». Хитростью отсылает Петеньку на три дня из обители, чтобы не видел *пострига*: Петенька такого не выдержит. Петенька – «жиденек сердцем»... Петенька потом кинется: «Фленушка!» – а Фленушки уже не будет, вместо Фленушки с каменной твердостью глянет сквозь него новопостриженная мать Филагрия: «Отыди от мене, сатано!»

И опять: написано все – наивными красками. И не без завитков: «черные думы», «горюшко-кручинушка». А воздействие на читательскую мою душу – страшное. Вроде бы и ожидаешь всего этого, а переворачивает. Не потому ли, что ощущение темной бездны, таящейся за душами героев Печерского, создается в тексте как бы в параллель, если не в отрицание их гулевой непобедимости? Я не удивился, когда в журнале «Русская старина» за 1887 год раскопал историю прототипов, с которых писана любовь Фленушки и Самоквасова. Нет, «забубенным гулянием», в котором утопил добрый молодец «горюшко-кручинушку», там не обошлось. В жизни-то Самоквасов иначе расстался с матерью Филагрией: он ее убил, труп запер, послушникам, уходя, сказал, что игуменья спит: не приказала-де беспокоить. Час спустя послушницы все-таки обеспокоились, взломали дверь и увидели игуменью, привязанную косой к самоварному крану и с ног до головы ошпаренную: она умерла от ожогов, не издав

ни звука. Следствия не было: во избежание скандала раскольницы дали кому следует «решето жемчуга», – и сошла в могилу мать Филагрия, она же огневая Фленушка, так же, как сходит в межу сорная трава, выполотая с огорода, – беззвучно и безропотно.

Мельников-Печерский работает густым наложением красок; и работает-то вроде бы голубыми тонами, но *знает*, что по черному грунту пишет, и непостижимым образом вы выносите из чтения его романа – это *знание*.

Оно-то и мучит. Переворачивает меня – этот переход от безудержного бунта к черному смирению. Душу кровавит мне – это наше почти неправдоподобное сочетание святости и изверства, самопожертвования и самоистязания, ослепительной чистоты и бездонного мрака.

Да как же это возможно? – думаешь, читая. Что же это за душа такая, что *сама себя* так варварски согласна укрощать? Что это за судьба: волю, отвагу, гордыню, любовь – все задавить с такою медвежьей беспощадностью? Где таится неизбежность этого отчаянного самоподавления?

Давайте вернемся к живой Фленушке. Почему обречена? Почему знает, что будет несчастна? Жиденек духом Петя Самоквасов? С сильным – убежала бы, со слабым – не решается? Ну, так. Мужик наш снаружи крут, а внутри мягок; держится жизнь – бабами. Но Фленушка-то не поколебалась бы повести за собой и слабодушного! Нет, ей еще и *другое* мешает. Боится она – мать Манефу убить своей изменой. Правильно боится: это старуху и убьет.

А та что же? Зла разве желает своей дочери мать Манефа? Сама когда-то иночеством в себе жизнь удушила, знает же, каково это. И все-таки всем существом своим молит, склоняет Фленушку к постригу. Какие же убийственные основания надо иметь, чтобы класть дочь на эту плаху?

Есть основания. И серьезнейшие.

Манефа рассуждает так: в случае пострижения Фленушка быстро становится игуменьей, хозяйкой скита. Ее жизнь обеспечена. А без пострижения? «Белицей останешься, не ужиться тебе в обители. Востра ты у меня паче меры. Матери поедом тебя заедят... Не гляди, что теперь лебезят, в глаза тебе смотрят... Лукав мир, Фленушка...»

Вот. Это и есть последняя истина, исходя из которой принимает мать Манефа свои крутые решения. Люди слабы: злобны, ненадежны, коварны, подлы. С миром не справиться. Мир лукав. Этого не переменишь. Это – почва, почва плывущая, обманная. Как на ней укрепиться? Каменная тяжесть куколя, крюкотворная, усыпляющая монотонность обряда, изверская скрупулезность смирения – это все попытки найти твердость среди всеобщей шаткости. Страшен мир – страшны меры, которыми он должен смирять себя. Иначе – гибель. Жизнь – это чарусы, вады, окна; сверху цветочки, а ступишь – дна нет. И Китеж-град уходит в бездну.

Ощущение неустойчивого, коварного, смертельно опасного *мира* создается в эпосе Печерского не только логикой поведения действующих фигур, так или иначе пытающихся преодолеть всеобщую шаткость, но всею тональностью фонов, логикой лейтмотивов, игрой попутных штрихов.

Работники ноне подшиблись, лежебоки стали, вольный сделался народ, обленился. Все воруют, все плутуют и все боятся остаться в дураках. Грешат напропалую. Скопом каются, скопом грешат. Да и как плутом не быть, ведь самого оплетут. Где тут грех, где покаяние? Все смешано, все подменено. Воры слезливы, плуты богомольны. Ходит человек, ощупывая потайной карман: цело ли еще? И ведь чем ловчей плут, тем больше ему завидуют: зависть тяжелым безликим облаком висит над этой жизнью, зависть зоркого, все знающего, все видящего *мира*. От людей не скроешься. Попал в стаю – лай не лай, а хвостом виляй. И лает человек, и виляет хвостом, и на миру живет, а при том все таится, все молчком что-то протаскивает. Все по *мурьям* да по *скрыням*, и все концы хоронит, и все что-то пытается спрятать, и все готов к тому, что спрятать не удастся, – растопчут, разнесут все – ветром, общей качающейся массой, «всем миром».

С миром не сладить. Сквозным лейтмотивом идет у Печерского тема *артели*, тема *общины*. Человек вне артели бессилён, в артели он укрывается от своего бессилия. По внешности артель – галдеж и бестолочь, дурь и гонор, упование на жребий, коллективное суеверие; по сути же артель – обережение от обид человека впечатлительного и неустойчивого, боящегося коварства и обмана и потому предпочитающего диктатуру артели случайностям шатающегося мира. Старшой в артели, пока его не выбрали, – само покорство, сама кротость; он в начальники «не хочет», он «слаб», он ломается и отказывается (все – по ритуалу), но как только его выбрали, да хоть бы и слепым жребием выметнуло ему быть старшим, – уж с ходу зверем смотрит, пугает, куражится. И все это терпят, и даже этого хотят; а иначе нельзя: ярмом артельным, круговой порукой только и можно смирить неуправляемую в людях гульбу.

Поведение человека в этой ситуации – тонкая смесь самоуничтожения и высокомерия. Все виды показного смирения: мы-де сиволапые, мы сырые, мы темные, наше дело лесное, мы все с волками да медведями, мы и взяты-то ни за что не умеем. И все это – с почти нескрываемым юродством, в котором угадывается подавленная спесь, и все это при ежесекундной готовности схоронить концы.

«Спесь» – одно из главных определений той безудержной самовольной силы, которую, по Печерскому, жестоко смиряет в себе русский человек. Есть у него и другое определение этой силы, на мой взгляд, более правильное: удаль. Человек может строить расчеты, самого себя убеждать в выгоде того или иного дела, праведного или греховного, но в конце концов сильнее всех расчетов и соображений оказывается безотчетное веселие сердца: самобытный риск, молодецкий задор – удаль.

Зачем окрутили с ленивой Паранькой блудливого Василия Борисовича? Цель какая, смысл? Петя Самоквасов убеждает себя, что надо насолить московским праведникам из Рогожского согласия: они-де в наше захолустье уставщика прислали, а он тут окрутился. Но в этом желании больше чистого озорства, чем ревности по вере. И Фленушка, которая подговаривает Петра сварганить свадьбу, тоже не во всем себе признается. Она думает: если мне счастья не видать, так хоть другим устрою. Но она не додумывает, не формулирует то, что знает о ней автор. *Раскуражиться* охота Фленушке напоследок! Огонь-девка, угар-девка – знай наших! Так все участники похищения невесты – от хитрой Фленушки до простодушного Пети Самоквасова и от лихого ямщика, подрядившегося угнать невесту, до случайно затесавшегося сюда ронжинского парня, которому охота подраться да потешиться, – все в конце концов устраивают озорной спектакль не из тех или иных «соображений», а потому что над всеми «соображениями» маячит последнее: «Хохоту что будет, хохоту!»

Что ж получается? Истина равна обману, святость неотделима от шутовства: сдвоена реальность, двоятся она, двудонная она, двужилвная. Иной раз это и обманом не назовешь. Иной раз это просто рекорд сноровки и чудо конспирации. В конце XVIII столетия, – профессорски замечает П. И. Мельников в сноске, – за оскудением старопечатных книг, многие запрещенные раскольничьи тексты печатались в местечке Клинцы Черниговской губернии в тайных типографиях. Обозначалось же на этих книгах, будто печатаны они в Почаеве, тогда еще не принадлежавшем России...

Почаев, означающий Клинцы, это, положим, патетический вариант русского хитроумия, это, скажем так, героическая страница борьбы староверия с никонианством. Но *иностранная вина ярославской выделки* или там... ямайский ром, который делают из «чихиря» братья Соболевы и Терликов с Зызыкиным, – это уж похлеще «молодых старочек» и «черных белиц»: тут, конечно, русское озорство в полном блеске.

Впрочем, тут и расчет. Тонкий расчет, исходящий из знания русской почвы, вернее, подпочвы. Система ориентации, проверенная веками. Как замечает Андрей Печерский, мужик, идущий лесовать, лешего боится, но компас знает. И хоть относит он действие компаса (матки,

по-старинному) насчет того, что там «одна только божья сила» и никакой механики, – пользуется он этой «божьей силой» вполне уверенно.

Фантастическое сочетание капитальной непросвещенности и беспокойного стремления к свету, понимаемому, конечно, весьма своеобразно.

Старичок-странник бродит по лесу в поисках невидимого града Китежа. Не сидит дома, бродит, ищет! И что же? Проваливается в болото, с трудом выбирается, потом натывается на медведя, едва уносит от него ноги, – но верит, что болото и есть невидимый град, а медведем обернулся во граде привратник!

О, наивность, спасительная в бездне болотной!

Барин, заметя способности в шустром крепостном мальчике, *наси́льно* забирает его учиться; родители заклинаят барина *не поганить* их детища; по отъезде сына мысленно его хоронят и уходят под «скрытие», в леса: свет для них меркнет с потерей сына. Их тьма есть для них – свет! Это они света ищут!

Фантастическое сочетание готовности к смертному греху и к жесточайшему добровольному каению.

Старенький дедушка идет в затвор, садится в темный подвал, двадцать лет там сидит, не видя белого света, во время пожара отказывается выйти: *хочет сгореть*, – и все это в покаянье; и все это – моление за упокой двадцати восьми душ, дедушкой когда-то в разбое загубленных: семерых помнит дедушка поименно, а остальных имена ты, Господи, веши. Кудеяров комплекс: душегуб, вор, а в душе – святой. Разбойничать пошел – с горя, в отместку злу: в пугачевщину бунтари жену с ребенком увели – пошел сам убивать. Потом живьем в гроб сошел, добровольно... Честных нет, но все – святые...

Где тут зло, где добро?

Охотясь зимой на тюленя в Каспии, русские удалыцы отрываются на льдине. Их несет, льдина тает, гибель близка, вся надежда на встречные лодки. Наконец, появляются в лодках спасители: «турухменцы с самопалами». Снимая несчастных со льдины, они вяжут каждому арканом руки за спиной: боятся, что спасенные, взбунтовавшись, перебьют их в лодках. Вы готовы ужаснуться этой чудовищной жестокости, этому звериному недоверию, не так ли? Напрасно. Спасенные и связанные русские удалыцы отнюдь не ужасаются: так и надо; не догадаться разбойники связать нас – мы связали бы их и захватили бы их вместе с лодками. Разбойники в этом мире – все, и каждый только выжидает, как у другого добычу отбить. А без того нельзя!

Фантастическое сочетание безрасчетной широты и жестокого упрямства, дикой воли и мелкой придиричивости, неумолимого фатализма и изворотливой предприимчивости: мечты словить «фарт», угадать, подгадать, выгадать.

Молодые торговцы рыбой на Макарьевской ярмарке делают неслыханное: продают рыбу оптом за бесценок. Старые бранятся и злорадствуют: бранятся, потому что молодые цену взвинтить не дают, не по обычаю, бесчинно торгуют; злорадствуют, потому что те в убытке. Старые не чувствуют, что выигрыш времени дороже выигрыша в копейках: молодые, быстро сбыв рыбу, успевают еще дважды обернуть вырученный капитал, а старики, «по обычаю», все торчат у Макарья и не дают друг другу ходу: виснут друг у друга на руках, чтоб никто в цене не вырвался. Здравое рассуждая, ситуация вопиющая по идиотизму: разумные люди возят товары к покупателям, то есть делают дело, а неразумные что делают? Сидят друг перед другом, пьют чай, ведут лукавые разговоры, выжидают, подсиживают, подлавливают – не дают друг другу *ходу*.

Это – дело или нет?

А как посмотреть.

Истый купец крепок и цепок по мелочи, в большом он полагается на «судьбу». Всякий барыш и выигрыш он громко относит на счет воли Божьей, зато всякий урон и проигрыш тихо

списывает на счет чьей-нибудь «порчи», на счет колдовства и вредительства, на счет басурманских ков или – что особенно характерно – на счет чьей-нибудь измены преданию. Этот фатализм кажется детски наивным, но он не так прост: это система ориентации в *непредсказуемой* реальности.

Дунечка-то Смолокурова, далекая от корысти, пылко и страстно борющаяся с духовными соблазнами, чистая и разумная душа, – в критический момент, когда надо решать: или – или, опускает руки! Пусть будет все по воле Божьей. То есть как «само» выйдет! Что это: пассивность? мудрость? интуиция? Все вместе.

Фантастическая система мироориентации героев Печерского только на внешне рациональный взгляд кажется нагромождением суеверий и дурным куражом. Под этими очевидностями – весьма тонкая техника самообладания, приспособленная для ситуации, в которой принципиально нельзя учесть все составляющие. Как удержать равновесие в обстоятельствах, когда по непредсказуемости вавилонского столпотворения и неизъяснимости светового представления, над душами висящего, это равновесие удержать невозможно? Как снискать высокое, когда непрерывно вязнешь в низком? Как спасти душу для горнего, когда тело фатально путается в лесном: в дремучем и темном, и это не ошибка, не слабость, это – *природа*, доставшаяся русскому человеку, и в условиях этой природы он должен биться и бороться за жизнь свою?

Ведь и хлыстовство: дикое радение плоти – тоже не что иное, как еще одна попытка вырваться из плена природной скованности, из плена плоти. Попытка наивная: преодолеть плоть, объявив ее абсурдом, воспарить ввысь, разом оторваться от зла мира. Печерский объясняет: русская душа, ленивая и впечатлительная, пытается сразу выскочить к последним высотам духа, минуя промежуточные ступени, – и впадает в чистое беснование. В хлыстовстве русский человек пытается преодолеть, сломать, «не заметить» те перегородки, которыми членят мир со своей стороны староверы, со своей – никониане; хлысты ищут путь к Богу для *каждого* человека: мгновенный, чудесно прямой путь. Но, пустившись на поиски немедленной всеобщей духовной благодати, опять впадает русская душа в очередной соблазн подмены и опять приходится ей хоронить концы, отделять себя от прочего мира сектантской тайной и, в сущности, вместо духовного воспарения окружать себя тяжелой стеной и каменеть еще покрепче, чем староверам. Староверы-то стену свою возводят осознанно: стену обрядоведения против бесконечного растекания и разгула. Хлысты – сплошная эйфория, забвенье, полет... но этот самогипноз – попытка вырваться из той же фатальной ситуации.

Печерский – великий знаток хлыстовства и старообрядства, но суть в том, что осмысляет он тему, несравнимо глубочайшую, нежели ее конфессиональные одежды: он осмысляет природу русской души. Ее дремучее обрядоведение – это обскурантизм и дикость с точки зрения просветительской; с точки зрения духовной диалектики этноса – это трагическая попытка остановиться в шатании. Изуверское смирение – это противовес дури и лукавству, воле и коварству «лесного» человека. Удадь отдельно – спасение отдельно. Безудержная удадь и беспощадное душеспасение. Крайность и крайность стоят рядом. Середины нет. Меры нет. Русская судьба.

Вольной гулевой силой дышит земля. Ищет человек последней истины, полной, совершенной, неспорченной. По миру идет за ней, все бросает! Легче полмира пройти, чем в себе отыскать. Во Иерусалиме ищет древнего благочестия, в Вифлееме, на святой реке Иордан – нигде правды нет! Плачет наш скиталец, видя сие, но дальше идет. Три хождения вершит: евфратское, египетское да беловодское – и опять плачет: все не то! Опоньского царства ищет – нет Опоньского царства: везде обман и порча!

И невдомек, что ищет-то – невоплотимого, неотмирного. Чтоб жизнь, скажем, была без властей и без забот. Без *мирского*. А как без мирского? – мир-то все равно догонит. И вот шатается святая душа, и гуляют по Руси бродяги под видом странников, ищут, где бы подкормиться да схорониться, а делают вид, что взыскуют града... да нет, не «делают вид»: в *самом деле* взыскуют! Одновременно: горним духом дышат, а лесными тропами плутают – плутуют.

И все бегут куда-то, колесом по миру катятся, аки трости колеблются, вбок не задаются, брюха не выставляют, в середке не мотаются...

Да не подумает читатель, что я, вослед нашим литературоведам, демонстрирую самоцветный русский язык Печерского ради чистой филологии: *таких* исследований о его романах написано у нас предостаточно; в основном у нас и изучают их – как практическую версию В. Даля: как арсенал русских речений и реалий, бесценные залежи слова и быта, – тут еще не на один десяток диссертаций запасено материалу. Я на эту работу не посягаю; я не фольклорный арсенал вижу в эпосе великого «краеоведа», я вижу в ней одиссею русской души. Поэтому выписки мои – не перечень, а срез, проба, лейтмотив, стилиевой спектр: как в описании Печерского гуляет по земле русский человек:

...гуляет, шатается, за Волгу бежит, в нетях обретається, через пень колоду валит, опаску держит, во спасение лжет, плутует, лукавит, таится, озорует, бунтует, мечтает, ни отказа ни согласия не дает, темнит, в глухую нетовщину впадает², соблазнами туманится, заносится, ласы точит да людей морочит, мертвой рукой обводит, на кривых объезжает, норовит обмишулить, ошукать, обкузьмить, объегорить, объемелить, из вора он кроен, из плута шит, мошенником подбит, дурака он валяет, под богом ходит, казанской сиротой прикидывается, жилит, тащит, нагревает, глаза отводит, ухо остро держит, под ноготь гнет, куражится, ломается, хороводится, блажит, кобенится, орехи лбом колотит, полено по брюху катает, на все плюет, душу отводит, проказит, себя кажет, слоняется, шмонается, гомозится, гулемыжничает, уросит...

Стоп. К последнему слову – профессорская сносочка:

«Уросливый: капризный, своенравный... От татарского *урус* – русский. Татары своенравных и причудливых людей зовут русскими».

Не скрою, добила меня эта сносочка. «Необязательный» штришок дотошного краеоведа. Так ведь *добавляет* же этот штришок П. И. Мельников-Печерский! И действует эта невозмутимость – художественно – с убойной силой! Штришок к русскому портрету с точки зрения татарского здравомыслия. Завершение портрета. Последняя точка. «Уросничать».

Впрочем, нет. Не в этом слове настоящее завершение темы. Ключевое слово, сквозным мотивом проходящее через все четыре тома мельниковской эпопеи, раз сорок употребленное им под всеми углами и тональностями, – слово «еретик».

«Еретик»! – табу, клеймо, попытка остановить ползущий хаос, заклясть шатающиеся души.

Еретик – старовер, признавший белокриницкое священство, – в глазах старовера, оного не признавшего. И наоборот.

Еретик – никонианин, приверженец смущенных церкви, – в глазах старовера. И наоборот.

Еретик – немецкая нехристь, табашник, всякий, кто носит кургузые одежды, а также артист, играющий в трактире на фортепьяне или арфе, – в глазах купца, регулярно посещающего этот трактир.

Еретица – знахарка в глазах стариц Манефиного скита. Еретица – в глазах тех же стариц – вдова, посмевавшая вторично выйти замуж. Еретики – родители, попускающие молодых искать себе суженых по сердцу, – в глазах свах.

Еретики – это все хлысты в глазах никониан и староверов и все староверы и никониане в глазах хлыстов.

Еретики, наконец, – это хлысты в глазах самого Мельникова-Печерского.

Последнее обстоятельство побуждает меня к некоторым размышлениям чисто психологического толка. Павел Иванович Мельников – человек, по складу характера отнюдь не склон-

² «Глухая нетовщина» – гениальная народная параллель суховатому, с европейского переведенному тургеневскому «нигилизму».

ный ни к ересям, ни к гонениям на ереси, но он всю жизнь поневоле играет то ту, то эту роль. Еретик от вольномыслия, с позором изгнанный, как сказал бы Щедрин, из либерального Эдема, он искореняет еретиков от православия. И вот он пишет: хлыстовство *хуже*, чем ересь, – это карикатура на христианство. Градации негодования, в которое впадает художник, от природы широкий и терпимый, позволяют выделить в его мироощущении, так сказать, систему узких взглядов: конфессионально-государственную концепцию П. И. Мельникова, находящуюся в достаточно сложном соотношении с художественным миром Андрея Печерского.

Концепция П. И. Мельникова – это концепция российского консерватора и православного ортодокса, с некоторым умеренным оттенком славянского почвенничества. Это мечта о прочном, устойчивом, едином, чисто русском мире, без лихоумных немцев, коварных греков и хитрых татар, о мире, который стоял бы «сам собой», помимо внешнего принуждения, держась органичной верой, преданием, традицией и порядком. Мечтая о «строгой простоте коренной русской жизни, не испорченной ни чуждыми быту нашему верованиями, ни противными складу русского ума иноземными новшествами, ни доморожденным тупым суеверием», Мельников четко градуирует степени порчи: хлыстов он изгоняет вообще за пределы истины, тогда как староверов склонен привести к примирению с ней, при условии, что и староверы, и их ортодоксальные противники откажутся от крайностей и изуверств.

Нетрудно представить себе, какую реакцию должна вызвать такая мироконцепция у передовых людей семидесятых годов XIX века, плохо верящих в примирение народа с существующим строем и еще менее – в организаторские потенции русской церкви. Настоящие же консерваторы, поющие народу осанну совсем в других видах, должны с неудовольствием почувствовать в эпопее Печерского смутную тревогу, бьющую из-под авторского «государственного оптимизма», ибо оптимизм этот, в сущности, выстроен на «чарусах», «вадьях» и «окнах», посреди лесных непролазных дебрей.

Но подождем забежать вперед: помимо узкой авторской концепции, здесь есть ведь еще весь гигантский объем художественной истины. И есть чудо искусства. Парадокс: именно Мельникову, гибкому чиновнику, «бесстрастному функционеру», «карателю поневоле», удалось то, что не удалось ни прямодушному и упрямому Писемскому, ни задиристому и упрямому Лескову: эпопея русской национальной жизни, глубинный, «подпочвенный», «вечный» горизонт ее, *над* которыми выстраиваются великие исторические эпопеи Толстого, Герцена и Достоевского. Для вышеописанной задачи, как видно, нужно еще кое-что, помимо упрямства и последовательности, может быть, как раз нужны широта и известная непоследовательность. И нужны, помимо уникальных этнографических знаний и умелого реалистического пера, еще и особый душевный склад, соответствующий задаче, и удивительная способность: совмещать несовместимое, оборачивать смыслы, сохранять равновесие. То, что брезжится Толстому в полувыдуманной фигуре Платона Каратаева, осуществлено в эпопее Мельникова в образе некоей всеобщей национальной преджизни, спокойно поглощающей очередные теории и обращающей на прочность очередные безумства исторического бытия. Если уж определять, что такое «русская загадка» по Мельникову-Печерскому, то загадка эта – сам факт природной русской живучести, невозмутимо сносящей свое «безумие». Эдакий родимый зверь с пушистым хвостом, – то, что Аполлон Григорьев силился когда-то извлечь из Писемского. В ту пору Мельников еще только подбирался к «зверю». Он в ту пору еще, так сказать, доносы писал в свое министерство да обличительные рассказы, которые Писемский, как известно, считал теми же доносами. Никому бы и в голову не пришло, да и самому Мельникову, – что же такое, в сущности, начинал он писать в форме своих служебных доносов.

Эпизод из творческой истории романа: прототип Патапа Чапурина – купец Петр Бугров, старовер Рогожского толка, крестьянин Семеновского уезда, заволжский богатей, с которым П. И. Мельников общался в пору «налета» на дом книготорговца Головастика и который, кстати, пытался подкупом и лестью отвести от скитов грозу: умиловить грозного

«зорителя». В служебных донесениях Мельникова есть подробная и выразительная характеристика Бугрова как одного из «коноводов» раскола. И что же? Не просто черты и черточки из «Отчета» 1853 года, но целые эпизоды переходят через двадцать лет в роман. Изумительно здесь, конечно, не то, что полицейский чиновник, обладающий литературным талантом, составляет свои отчеты со впечатляющей силой, и не то, что писатель, занимавшийся полицейским сыском, использует свой давний опыт. Изумительно *сосуществование* этих пластов в душе. Изумителен сам *оборот жанра*: донос, направленный на *изобличение* старообрядства, написан так, что при изменившихся обстоятельствах ложится в фундамент романа, который становится *памятником* старообрядству. И никакого «слома» концепции, никакого «поворота», никакой «смены» позиции...

То есть поворот-то у Мельникова происходит, но это скорее поворот ситуации, чем изменение его индивидуальной линии; наиболее же интересное – вовсе не «поворот линии», а именно этот вот «оборот жанра»: сам тип духовной ориентации, при которой оборотничество души, привыкшей к поворотам, оказывается в порядке вещей. И – ее живучесть, ее непредсказуемость, и сам тип мироотношения, при котором возможно быть не вполне «честным», но вполне «святым», возможно превратиться из «гонителя» и «зорителя» скитов в их летописца и спасителя для вечности. А возможно все это – от глубинных качеств самой духовной реальности, внутренняя лукавая живучесть которой равна ее внешней притворной неповоротливости, а непредсказуемая твердость спорит с непредсказуемой шаткостью.

В финале своей гигантской эпопеи, развязывая последние сюжетные узелки (впрочем, кое-где завязывая и бантики), А. Печерский выводит фигуру столичного чиновника, приезжающего в заволжские леса закрывать скиты. Загадочное благодушие, с каким описан этот не лишенный симпатичности чиновник, пробуждает во мне многие сложные мысли, но еще больше мыслей навевает то каменное спокойствие, с каким мать Манефа и ее дочь мать Филагрия наблюдают снос обителей, простоявших две сотни лет.

С такою же невозмутимостью Печерский сообщает нам, что, загодя предупрежденные о разгроме, матери успели построиться в другом месте и там, схороня концы, конечно же, возродят свои потайные молельни. Интонация, с которой сообщает это нам в финале своей эпопеи Андрей Печерский, – смесь «гомеровского» величавого спокойствия и загадочной, родной гоголевской ухмылки.

Возможно, что в данном случае историк раскола Мельников несколько недооценивает историческую ситуацию: пережившие налет начальства в 1850-е годы, скиты заволжские все-таки не переживут той исторической бури, которая налетит на них полвека спустя и приближение которой смутно ощущается в тревожных предчувствиях обитателей лесов и гор, в зловещих кликах стариц о наступающих «последних временах». Однако вот что важно: история меняет слова и обряды, сжигает книги и иконы, рушит здания и памятники, меняет формулы и каноны, но она не может вовсе уничтожить ту почву, которую сама же и пашет: почва эта восстанавливается самым неожиданным образом; не для нее, а от нее наступают решительные перемены и даже – для тех или иных пахарей – «последние времена», но нет последних времен для вечной и вечно возрождающейся национальной подпочвы.

Ее-то и исследует, ее и описывает Мельников-Печерский своим наивным пером, из простодушного обличительства перебегающим в простодушное, до олеографии, любование и обратно. Он впадает в этнографизм, но пишет отнюдь не этнографический атлас; он работает в традициях психологизма, но поражает отнюдь не психологическими решениями; он дает нечто небывалое, не совпадающее ни с философским романом, ни с историческим эпосом, – он дает *ландшафт национальной души*.

Тот самый «природный ландшафт» души, на русском Северо-Востоке с XIV века складывающийся, о котором пишет и историк В. О. Ключевский: «Невозможность рассчитать наперед, заранее сообразить план действий и прямо идти к намеченной цели заметно отразилась на

складе ума великоросса... Житейские неровности и случайности приучили его больше обсуждать пройденный путь, чем соображать дальнейший, больше оглядываться назад, чем заглядывать вперед... Он больше осмотрителен, чем предусмотрителен, он... задним умом крепок... Природа и судьба вели великоросса так, что приучили его выходить на прямую дорогу окольными путями. Великоросс мыслит и действует, как ходит. Кажется, что можно придумать кривее и извилистее великорусского проселка?.. А попробуйте пройти прямее: только проплутаете и выйдете на ту же извилистую тропу...»³

Ключевский пишет – чуть ли не по следам Мельникова-Печерского.

Романы Печерского – уникальный и вместе с тем универсально значимый художественный опыт русского национального самопознания. И потому они переходят рамки своего исторического времени, переходят границы узковатого авторского мировоззрения, переходят пределы музейного краеведения и вырываются на простор народного чтения, конца которому не видно.

И останутся эти романы в живой культуре столько, сколько будет существовать в ней русская тема. А может быть, и дольше. Может, столько будут жить романы Печерского, сколько будут в грядущих временах возникать ситуации, для которых русский духовный опыт покажется спасительным.

Меж тем зарубежных переводов удручающе мало. Два парижских галлимаровских издания в 1957 и 1967 годах, мадридский двухтомник 1961 года, берлинский двухтомник 1970 года, вышедший в полукатолическом-полугосударственном издательстве «Унион». Кажется, все...

Вполне допуская, что справочники и каталоги Всесоюзной государственной библиотеки иностранной литературы в Москве отражают столько же реальное положение дел, сколько и наше о том неведение, мы должны все-таки признать, что реальность немилостива к эпопее Печерского. Переводится «В лесах» – на «Горы» у переводчиков духу не хватает, и этот факт – психологически говорит о трудностях судьбы текста в иных языках даже больше, чем общее малое число переводов.

Впрочем, вопрос не очень ясен. Судьба эпопеи могла быть и иной. По-немецки первое издание «В лесах» появилось еще в 1878 году! В 1910 году голландцы в Амстердаме выпустили четырнадцатитомное (!) собрание сочинений Печерского (скорее всего, продублировав известное вольфовское издание 1897–1898 годов). Опять-таки: мы можем только гадать, в какой степени надо отнести этот факт на счет активности знаменитой голландской славистики и в какой – на счет интереса у европейских читателей собственно к Печерскому. Интерес явно намечался. В двадцатые годы «В лесах» вышли по-чешски в Праге и еще раз по-немецки – в Бреслау (что-то вроде дайджеста: «свободное переложение» Л. и Д. Олышнеров). Однако настоящего спроса все это не получило.

Что тому причиной? Огромный объем текста, в котором «вязнут» переводчики и издатели? Замкнуто-русский этнографический окрас его? Наверное, и то, и другое. Однако есть и третье обстоятельство, которое я бы счел наиболее важным. Дело в том, что эпопея П. И. Мельникова-Печерского не стала событием прежде всего в *русской* интеллектуальной жизни. Да, эта книга стала широким народным чтением, причем сразу. Но она так и не стала «духовной легендой», в то время как романы Достоевского, Толстого, Герцена, рассказы Щедрина, Чехова – стали. Вокруг Печерского в русском национальном сознании не сложился тот круг толкований, тот «исследовательский сюжет», тот «миф», который мог бы стать ключом к этой книге в руках мирового читателя. Не сработал прежде всего русский интеллектуальный механизм; а началось с того, что эпопея Печерского не получила духовно значимой интерпретации в отечественной критике.

³ Ключевский В.О. Курс русской истории. Часть I. М., 1937. С. 326.

Известный сборник материалов «В память П. И. Мельникова», изданный в Нижнем Новгороде в 1910 году, содержит итоговую статью Н. Саввина «П. И. Мельников в оценке русской критики».

Привожу по этой статье имена критиков, писавших о Печерском: О. Миллер, Д. Иловайский, А. Милюков, А. Пыпин, П. Усов, А. Скабичевский, С. Венгеров, А. Богданович, А. Измайлов.

Для полноты картины прибавлю еще с полдюжины: Н. Невзоров, Л. Багрецов, А. Зморзвич, Н. Игнатов, Л. Ильинский... ну, еще сам Н. Саввин.

Не говоря уже о неискушенном читателе: и у знатока-то тут глаз мало за кого зацепится. А если убрать мемуаристов (Усов), историков литературы (Миллер, Скабичевский, Венгеров), историков этнографии (Пыпин) и просто историков (Иловайский), оставив чистых литературных критиков, то картина и вовсе оскудеет: кроме Измайлова и Богдановича, никого сколько-нибудь заметного, да и эти двое (при всей моей симпатии к А. Измайлову) – все-таки в русской критике не первого ряда фигуры.

Александр Измайлов дает, я считаю, наиболее интересную версию. И наиболее справедливую оценку «грандиозного художественного создания» Печерского, которое стоит, с точки зрения критика, в одном ряду отнюдь не с этнографическими сочинениями, а с произведениями Островского, Толстого, Достоевского, прояснившими философию русской души. Это – настоящий контекст для Печерского. «Добролюбов был бы счастлив, если бы в ту пору, когда он писал... под его рукою оказалась первая половина эпопеи Печерского», – замечает Измайлов, – но эпопея появилась в ту пору, когда критика оскудела, поэтому русская мысль прошла мимо Печерского. Стараясь восполнить этот пробел, Измайлов прочитывает эпопею под углом зрения духовной проблематики; сквозь этнографическую поверхность текста он видит «страшную философию русской темной души... смертельно «испуганной» Богом». Измайлов чувствует здесь два плана: с одной стороны, – это мечтательность, «искание града», с другой – «закон обычая», который эту душу глушит, давит и сминяет. Или так: он видит мертвую религиозную доктрину, «налет деспотизма и самодурства», из-под которых «смотрит... славная русская душа». Связать эти планы, объяснить их взаимообусловленность, предположить, чем чревато такое сочетание, у Измайлова, похоже, не хватает решимости. Его прочтение, тонкое и чуткое, не вызывает настоящего критического обсуждения. Да оно и по времени запаздывает: работа А. Измайлова появляется в 1909 году в первом томе семитомного собрания сочинений Печерского, четверть века спустя после смерти писателя.

Почти одновременно, в 1908 году, книгоиздательство «Мир Божий» выпускает посмертный том статей А. Богдановича и в составе тома – статью о Мельникове, написанную и опубликованную лет за десять до того в журнале того же названия – «Мир Божий».

Ангел Богданович... «Мир Божий»... у неискушенного читателя может возникнуть чего-то религиозно-православного, эмоционально-кроткого... Ничего подобного! Перед нами наследник Писарева. Определенность, безжалостность, цепкость. Его приговор: Мельников – флюгер, двуликий Янус, сыщик-доброволец, «прирожденный искоренитель», «дошлый малый», который, однако, сумел перевернуться и сделать двойную карьеру: в романе он с любовью описывает то, что разрушал в роли чиновника, и описывает не как исследователь, а по-прежнему как чиновник, угадывающий спрос начальства. Если у Печерского и можно усмотреть какие-то идеалы, то это идеалы купецкие: деньги, сила, хитрость, удачливость в обмане. Письмо слащавое и пошлое, сплошь «добры молодцы» да «красны девицы», в общем – типичная суздальская мазня и никакого психологизма. К тому же много старческой болтовни и пустых анекдотов; в этом Печерский похож на Лескова: он не владеет материалом, а материал его «ведет». Смешно вспомнить, что при начале публикации роман «В лесах» ставили рядом с романами Тургенева и Гончарова, а Катков и его партия превозносили Печерского чуть ли не

как русского Гомера; порядочные люди тогда отмалчивались. Но теперь истина прояснилась, – итожит А. Богданович, – значение Печерского ничтожно, а в будущем он и вовсе будет забыт.

В сущности, это и есть ответ Измайлову.

Измайлов, при всей тонкости прочтения, недостаточно решителен – Богдановичу, как мы видим, решительности не занимать.

Двумя этими версиями, высказанными *постфактум*, исчерпывается активное прочтение серьезной русской критикой эпопеи Печерского: далее текст попадает в руки ученых – литературоведов и историков, которые начинают исследовать источники, фольклорные мотивы, язык и т. д. *Антефактум* же, или, лучше сказать, *префакто*, по ходу публикации – критика и вовсе мало что замечает.

Может быть, сказывается аберрация ожидания? В течение долгих десяти лет роман тянется в «Русском вестнике» и завершается... со смертью автора. Критическое осмысление, все откладывавшееся до окончания романа, переходит в надгробные речи.

Так или иначе, резонанс скуден и жалок.

Давайте вернемся к началу событий: к моменту, когда самые первые главы романа «В лесах» появляются в журнале Каткова в качестве то ли рассказов, то ли очерков.

Реплика газеты «Русский мир»:

– Публика читает их с увлечением и пользой, а критика не замечает. Жаль!

Критика еще, наверное, и разрезать-то не успела эти первые выпуски, а обвинение уже готово: словно бы наперед знает автор редакционного обзора, что критика ничего не заметит. Сам обозреватель по поводу новой публикации замечает следующее:

– Рассказ «В лесах» принадлежит автору, известному под псевдонимом «Андрей Печерский». Красота этого рассказа более в подробностях, чем в целом: перед нами ряд художественно-этнографических картин, имеющих к тому же научное достоинство. Никому еще не удавалось так живо изобразить костромские и нижегородские углы нашего отечества, столь разнообразного в бытовом, климатическом и иных отношениях. Для создания такой картины мало прочесть стилистические и другие исследования – г. Печерский явно все объездил сам и все увидел своими глазами. Он пишет простую и неиспорченную жизнь наших народных артелей, особенно отрадную на фоне фабричных центров, где обуреваемый невежеством народ саму эту скученность оборачивает себе во вред. Г. Печерский пишет артель крепкую, подчиненную единой связующей воле. Даже известная «Плотничья артель» Писемского бледнеет перед этими яркими страницами. Вот как надо писать этнографические очерки!

Эта газетная статья появляется в сентябре 1871 года.

Знатоки обуреваемых невежеством фабричных центров и те, кто пишет этнографические очерки не так, как их надо писать, не откликаются.

Полгода спустя, в апреле 1872 года, та же газета «Русский мир» повторяет вызов:

– Мы не забыли, конечно, превосходных рассказов г. Печерского и теперь с наслаждением читаем в «Русском вестнике» их продолжение. Могучая картина действительно народной жизни, даваемая г. Печерским без всякой предвзятой тенденции, противостоит жалким, искривленным и сочиненным иллюстрациям, которые новая школа Решетникова и гг. Успенских выдает за «народную жизнь». Жаль, что при отсутствии серьезной критики публика, идущая наобум, во все это не вникает.

На сей раз обзор подписан: «А. О.». Это уже расшифровывается: Василий Авсеенко. Постоянный критик все того же «Русского вестника», печатающийся также и в «Русском мире». Прозаик великосветского толка. Тот самый, о ком Достоевский вскоре скажет: «Романист перчаток, карет и лакеев». Это он задирает «новую школу», выдающую свои искривленные иллюстрации за «народную жизнь». Впрочем, за ним стоит и Лесков, солидарный с «А. О.»

Искривленные иллюстраторы продолжают, однако, хранить по поводу романа Печерского загадочное молчание.

Через пару месяцев в дело включается еще одна газета: «Journal de St.-Pétersbourg». Ее обозреватель подписывается латинскими буквами, но не надо думать, что это и впрямь нечто заграничное: под литерами «L.V.» скрывается русейший журналист Михаил Загуляев, равно, как и «Journal de St.-Pétersbourg» – нормальная питерская газета, только на французском языке. Пишет она на французском языке следующее:

– Продолжение романа месье Мельникова «В лесах» – вполне на уровне начала. Автор показывает себя мастером своего дела, он все более заинтересовывает читателя умелой картиной нравов наших диссидентов (L.V. тут же переводит это непонятное слово: «*raskolniki*», – поясняет он), которых мы еще так плохо знаем. На самом деле этот особый мир достоин пристального изучения, так как он во всех отношениях сохраняет в наибольшей чистоте многие симпатичные и достойные уважения следы древних русских нравов.

Опять никто не возражает. И еще почти год проходит в молчании. Тогда в марте 1873 года Василий Авсеенко в газете «Русский мир» еще раз берет слово. В обзоре текущей литературы он сопоставляет роман Печерского с очередной пьесой Писемского:

– Если г. Писемский замечает наиболее отрицательные стороны наблюдаемых им субъектов, то г. Печерский относится к числу немногих русских беллетристов, которым удаются симпатичные и притом вполне реальные типы. Жаль, что наша критика не отдает ему справедливости! Ну, да это и неудивительно: она игнорирует все, что не помазано постным елеем петербургского либерализма. Виноват, впрочем, отчасти и сам г. Печерский: он пишет жизнь особенную, обособившуюся, ушедшую в глухие леса, отделенную от наших *вопросов*, к тому же он пишет ее по несколько нестройному плану, печатая новые главы по мере написания, прежде, чем целое доведено до конца, а это вредит даже самым крупным дарованиям...

Критика, помазанная постным елеем петербургского либерализма, и на этот раз не реагирует на вызов Василия Авсеенко.

Тогда в январе 1874 года он выступает в самом журнале «Русский вестник». Статья называется «Художественное изучение раскола».

Вот опять: даже и при полном желании включить роман Печерского в *общий* контекст русской литературы – немедленно отделяют ему *особое* место, «специальный угол», и тем, в сущности, выводят за пределы того самого контекста, в который хотят включить. А ведь хотят вроде бы! Спор идет широкий, давний, острейше важный и далеко не частный, спор, характерный для десятилетия, которому суждено войти в историю русской мысли под знаком *народничества*. Авсеенко пишет как бы рецензию на Печерского. Но дело не в этом. Дело вот в чем:

– Петербургская печать обвиняет нас (то есть *либеральная* печать обвиняет нас, москвичей, *консерваторов*. – Л. А.) в том, что мы выдумываем какое-то свое понятие о народности, для которого якобы нет соответствующих выражений в европейских языках. Так мы готовы продемонстрировать практическое воплощение того, что мы будто бы «выдумали»: то трезвое и здоровое отношение к народу, которое возникло, наконец, у нас из столкновения крайних направлений, слава богу, обломавшихся и стершихся во взаимной борьбе. Мы не задаемся целью дать здесь полную критическую оценку романа Печерского (этой целью здесь и дальше не зададутся. – Л. А.), мы хотим только указать на выдающееся значение художественного и этнографического *материала*, здесь представленного, и отметить, так сказать, эпическое отношение автора к народной жизни. Эта жизнь не изобилует внутренним содержанием и не много дает уму, избалованному верхами образованности (ничего себе комплимент. – Л. А.), но она бесконечно много говорит чувству, освежаемому соприкосновением с простыми людьми и девственной природой...

Ох, Писарева нет, Добролюбова нет на эти освежающие прелести. Благодушно погрузившись в волны мельниковских описаний, критик «Русского вестника» приправляет свой пере-

сказ возгласами удовольствия. Привлекательна и заманчива скитская жизнь! Крепок уклад, обуздывающий легкомыслие и гордыню! Мудро домостроительство, и могуществен «отпор всякому новшеству, которое более всего на свете претит рассудительному русскому человеку...».

Таково понимание русского человека в журнале «Русский вестник».

«Петербургская печать» продолжает хранить молчание по поводу отрекламированного таким образом романа Печерского, которому Авсеенко, после некоторых смущенных извинений, присваивает – по признаку «безмятежной ясности и эпической созерцательности» – звание *Одиссеи великорусского раскола*.

Полтора года Авсеенко ждет ответа на свой вызов; через полтора года он еще раз с раздражением отмечает, что «петербургская критика» продолжает хранить о Печерском полное молчание.

Почти полное, – поправим мы его: два-три отклика все-таки есть. Но каких!

Уже знакомый нам Санкт-Петербургский француз Мих. Загуляев, встретивший начало заволжских очерков Печерского, как мы помним, с живою бодростью, к лету 1874 года в том же «Journal de St.-Pétersbourg» не без усталости констатирует:

– Что же до новой серии кусков бесконечного романа месье Печерского, то он, как всегда, блистает редкостными качествами повествования и твердостью мазка в картине характеров, но, к несчастью, все эти прекрасные качества в дурном смысле зависят от манеры публикации, когда текст идет малыми порциями, так что читатели имеют достаточно времени забыть прочитанное прежде, чем они дождутся счастливого случая напасть на продолжение. Даже в нашей литературе, сильно привыкшей к растянутым на долгие годы полотнам, этот роман представляет собой род шокирующей аномалии. Печатанье его тянется уже более трех лет, и ничто пока не дает оснований предвидеть, когда оно кончится.

Меж тем ждать недолго: несколько месяцев спустя, летом 1875 года, роман «В лесах» выходит отдельным изданием. Мельников, правда, немедленно начинает в «Русском вестнике» новую «струйку»: *рассказ «На горах»* – продолжение *рассказа «В лесах»*. Однако увесистый волюм, изданный тем же Катковым, дает критике повод к некоторым выводам.

«Санкт-Петербургские ведомости» роняют *несколько строк* о замечательной обрисовке «этнографических особенностей Поволжского края».

Роскошный исторический журнал Шубинского «Древняя и новая Россия» заявляет, что не намерен касаться литературного значения Печерского, а хочет только сказать, что эта книга заслуживает внимания и со стороны научной, именно: этнографической.

Петербургская газета «Голос» (в которой активно сотрудничает по библиографической части все тот же «француз» Михаил Андреевич Загуляев) откликается несколько менее отчужденно, но, по существу, в том же духе:

– Мы еще ничего не говорили о замечательном сочинении г. Печерского. Спешим восполнить этот пробел, тем более что имеем дело с действительно выдающимся явлением, а не с теми верхушками умственного движения, довольствоваться которыми приучила публику наша литература. Это сочинение печаталось несколько лет в «Русском вестнике» и не обратило на себя внимания, но теперь об отдельном издании заговорили...

Между прочим, знаменательное наблюдение. Популярность романа Мельникова начинает подыматься снизу, от широкого читателя. Пока текст мелькает в журнале, его видят преимущественно люди литературные, а они его как бы и не видят. Люди же нелитературные, как верно заметила французская газета, налетают на журнальные публикации «по счастливому случаю». Теперь они имеют книгу. И что же?

– Чистота какая, оказывается, в заволжских домах! Славят немцев за чистоту. Побывать бы тем славильщикам за Волгой – не то бы сказали!..

Простодушие этого отклика (я по-прежнему цитирую «Голос»), надо думать, соответствует тому настроению, с каким книга Печерского начинает читаться в широких кругах. Что же до профессиональной оценки, то она по-прежнему «не идет», и критик газеты «Голос» Владимир Чуйко, скрывшийся за псевдонимом «XYZ», толчется на том же месте:

– Литературный характер книги определить довольно трудно. Это не рассказы, не роман и не чисто этнографическое сочинение. Это так называемая «этнографическая беллетристика», возникшая в самое недавнее время. Раньше все-таки писались вещи крупные: Гончаров, Писемский, Тургенев; теперь все измельчало: писатели пошли «изучать народ»; появилась масса легкомысленных беллетристов народной школы. И вот, наконец, явился *настоящий этнограф*, настоящий знаток народа, не то что они...

Легкомысленные беллетристы народной школы по-прежнему не откликаются.

В марте 1876 года решает еще раз дать бой своим противникам Василий Авсеенко. В том же «Русском вестнике» он печатает статью «Опять о народности и о культурных типах». На сей раз, помимо либеральной петербургской прессы, уже задетой им ранее в связи с Печерским, он особо целит в Достоевского, именно: в недавно появившуюся статью «О любви к народу», где Достоевский призвал судить народ не по тем мерзостям, которые тот так часто делает, а по тем великим и простым вещам, по которым народ и в самой мерзости своей постоянно вздыхает. Статья Достоевского напечатана в феврале, Авсеенко отвечает в марте – полемика идет горячая. А Достоевский, надо сказать, уже давно недоволен статьями Авсеенко, писавшего и о «Бесах», и о «Подростке». И вот, придя в крайнее раздражение, Достоевский отвечает своему критику в очередном, апрельском выпуске «Дневника писателя» – отвечает пренебрежительным и уничтожающим разбором, вследствие чего, впрочем, В. Авсеенко получает несомненный шанс войти в историю русской мысли.

Нас интересует в этой полемике присутствие Мельникова-Печерского. Точнее, его отсутствие.

Вступив в спор с Достоевским, Авсеенко снова настойчиво ссылается на роман «В лесах». Для Авсеенко это по-прежнему главный довод. Он еще раз повторяет свой давнишний упрек *петербургской* критике, что она роман замалчивает. Он не стесняется напомнить своим оппонентам, что год назад уже обращал их внимание на эпопею Печерского.

В таком контексте *молчание*, которым Достоевский обходит имя Печерского, становится довольно выразительным. Напрашивалось два варианта: Достоевский мог бы дезавуировать Печерского, уведя почву из-под ног Авсеенко; он мог бы, напротив, опереться о Печерского, на *свое* толкование его романа, выбив оружие из рук противника. Но он не сказал о Печерском ни слова.

Не читал? Сомнительно: Достоевский – жадный читатель, мгновенно ориентирующийся в новом материале. Читал, но не составил мнения? Невозможно: Достоевский умеет истолковать для своей цели буквально все, что попадает в поле его зрения. Так что же? Затрудняется использовать романы Печерского в *данной ситуации*? Наверное, так...

Косвенное свидетельство проливает некоторый свет, довольно, впрочем, слабый, на точку зрения, которую Достоевский *мог бы* иметь или разделять насчет романа «В лесах»: как раз в эту пору роман рецензируется в газете «Гражданин».

Конечно, со времени, когда Достоевский сам вел эту газету, прошло три года. Но, с другой стороны, в «Гражданине» по-прежнему определяет тон Виктор Пуцыкович, давний соратник. Рецензия на роман «В лесах» появляется 6 июня 1876 года, всего два месяца спустя после того, как Достоевский изничтожает Авсеенко, – я думаю, что эта рецензия интересна именно как знак отношения к роману того круга, к которому Достоевский близок.

Вот этот отклик (я излагаю сжато):

– Русское общество старых времен чуралось народных нравов: гоголевские типы вызывали в России всеобщий хохот. Тургенев Гоголя дополнил; его очерки тоже полны комизма, но,

читая их, Россия уже не смеялась. Дальнейшее умственное движение стерло в жизни гоголевские типы. Затем стали стираться и черты, подмеченные Тургеневым. Но процесс обновления мало коснулся подлинно народной среды: широко раздвинутые слои народа остались непро- ницаемыми для общества, их трудно было разглядеть под мраком старых бытовых преданий. Печерский и заглянул в этот темный мир, никак не тронутый преобразованиями Петра; и оказа- лось, что народ там живет по-старому, упорно отрицая всякие немецкие новшества. Однако не тронутая цивилизацией натура заволжского жителя выражает себя в поступках более прав- диво и естественно, нежели испорченный и обессиленный характер цивилизованного человека. Печерский проник в глубь грубой, неразвитой народной натуры, он подметил все внутренние движения этой скрытой для нас души, окрепшей в различного рода страданиях.

Из уст Достоевского такое суждение, весьма нетривиальное и даже несколько злое, несомненно, было бы подхвачено в качестве если не истины, то пророчества. Но явившееся в одиозном «Гражданине» за неведомыми даже Масанову инициалами «И. О.», оно не получило отклика.

Еще год длится молчание критики. Летом 1877 года оно наконец прерывается. Но – по курьезному поводу. Дело в следующем: разойдясь с Катковым, Толстой на самом финале прекращает в «Русском вестнике» печатание «Анны Карениной». Роман оборван, публика взволнована, критики недоумевают. Не посвященные в суть разногласий Каткова с Толстым по Восточному вопросу и по проблеме русских добровольцев в Сербии, критики решают, что автор попросту морочит читателям голову. В этой связи возникает параллель... с Печерским.

«Северный вестник», 18 июня 1877 года:

– Лев Толстой неожиданно оборвал в финале «Анну Каренину». Можно ли бесцеремон- нее обойтись с читателем? что за манера писания романов под аршин: отрезают, сколько пона- добится! Другой усердный возделыватель подобной манеры, Андрей Печерский, выступает в той же майской книжке «Русского вестника» с продолжением своей бесконечной серии «На горах». Предшествующая ей серия «В лесах» имела, по крайней мере порой, известный этно- графический интерес. Продолжение лишено и этого достоинства, тем более что в исполнении чувствуется усталая и ленивая рука. Действие едва движется, под конец это просто становится нетерпимым. Язык вычурный и деланный; видно, что перед нами человек, изъездивший по особым поручениям Россию, наслушавшийся всякого говору и желающий блеснуть этим зна- нием. Если г. Печерский хоть поподробней опишет хлыстов, бытовая сторона покроет хрони- ческую скудость собственно романического содержания.

Г. Печерский хлыстов опишет, но это его не спасет от равнодушия критики. Газета «Голос», 16 июня:

– Вместо недоданной «Анны Карениной» «Русский вестник» подает нам капитальным блюдом продолжение «На горах» г. Мельникова, написанное тем бойким и образцовым языком и с тем глубоким знанием быта русского простонародья и купечества, которое составляет спе- циальность нашего даровитого писателя, у которого на первом плане стоит этнографическое, тщательное изучение бытовой жизни во всех подробностях ее.

«Санкт-Петербургские ведомости», 20 августа: вяло похвалив повествовательные досто- инства долготекущего романа г. Печерского, газета предлагает администрации распространять его дешевыми изданиями среди массы раскольников, дабы способствовать скорейшему про- свещению оной.

На этой попечительской ноте обсуждение романа Печерского умолкает еще на четыре года.

К лету 1881-го «Русский вестник» допечатывает наконец вторую часть второго мельни- ковского романа, и Маврикий Вольф выпускает всю дилогию отдельными книгами.

В газетах появляются вялые информации. Тот же «Голос», наскоро замаскировавшийся от цензуры под «Новую газету», отмечает видное на каждой странице знание обычаев и при-

вычек. «Нива» рекомендует почтеннейшей публике картину малоизвестного мира старообрядчества. Следует полемический намек: чтение таких книг способствует исправлению взгляда на наш народ, значительно искаженного разными тенденциозными произведениями нашей печати.

Наконец, высказывается один толстый журнал. Солидный, респектабельный, нетенденциозный, но вполне *петербургский*: «Вестник Европы». Здесь дается крошечная аннотация: вышло издание... имя автора хорошо известно публике... он изучает одну из любопытнейших сторон жизни нашего народа... мы надеемся в непродолжительном времени дать более обстоятельный разбор этого, во всяком случае, крупного (! – Л. А.) явления литературы.

Разбора не будет. Отчуждение, сквозящее в неузависимо корректной аннотации, ощущаешь по контрасту с соседней аннотацией, напечатанной на той же странице «Вестника Европы»: соседняя аннотация написана с *энергичным сочувствием* и посвящена впервые переизданным после шестидесятых годов «Невинным рассказам» Салтыкова-Щедрина.

И наконец, в августе 1881 года высказываются «Отечественные записки», журнал самого Щедрина. Бесподписная рецензия – в разделе библиографии. Автор? Судя по стилю, по прямолинейности, по грубоватой хватке – Скабичевский. В двух местах беспощадная точность удара позволяет предположить участие самого Щедрина; я эти два места выделю. Так или иначе, это первое за десять лет суждение о Печерском, оброненное прогрессивной русской критикой. И последнее.

– Нас обвиняют в крайней тенденциозности, – начинает журнал. – Но любопытно и замечательно то, что господа, вопиющие против тенденциозности, сами-то в своих писаниях неизменно проводят тенденцию и ничего предосудительного в том не видят. Откуда же их гонение на тенденциозность? А очень просто. Не тенденцию как таковую преследуют они, а *известную* тенденцию. Это они очищают таким образом место для своих собственных тенденций. Посмотрим же, какую такую драгоценность предлагают они взамен наших, может быть, и неосновательных «тенденций». Драгоценность эта – роман г. Печерского. Так вот: для читателя, вероятно, это ново услышать, однако роман г. Печерского – произведение в полном смысле слова тенденциозное, хотя, быть может, и помимо воли автора. Ибо г. Печерский не выставляет резко и твердо своих тенденций, он, так сказать, инсинуирует их читателю, *как бы чего-то робея или чего-то конфузясь* (Щедрин? – Л.А.). Au naturel г. Печерский – верный, способный и послушный сподвижник г. Каткова. Роман «В лесах», однако, преизобилует хотя бы описаниями быта нашего Заволжья, почти всегда интересными. Роман «На горах» не содержит и этого: г. Печерский, очевидно, исчерпал материал и переписывает самого себя. Результаты получаются истинно комические: это такое дешевое, заурядное шарлатанство, что о художественности не может быть и речи: новый роман г. Печерского – не «продолжение», а скучное и вялое размазывание прошлого его романа.

– Зато любопытны здесь идеалы и тенденции, – замечает далее критик «Отечественных записок». – Бывают, мол, люди богатые, *то есть* умные и добрые, а бывают люди бедные, *то есть* глупые, жадные и завистливые. Богатые у г. Печерского очень много кутят и все время считают деньги. Никому из них, однако, даже и тени мысли не приходит в голову, что кутят они на чужую кровь и чужой пот, что деньги их – разбойничьи, а благосостояние воровское. И ведь ни одного самодура, известного нам по темному царству Островского! Напротив, какая-то умилительная нежность душ. Островский, наверное, клеветал на нашу жизнь, и мы напрасно ему верили...

– Наконец, что это за желание во что бы то ни стало доказать превосходство «великороссийской» церкви над старообрядством! – итожит журнал. – Не будем говорить о том, насколько сообразны с действительностью эти гуртовые обращения раскольников, старых, бывалых, закаленных людей. Укажем лишь на нехудожественность, более того, на нелитературность приемов г. Печерского. Заставить людей заужать самих себя, затаптывать свои верования, осмеи-

вать свой – ложный или истинный, но дорогой сердцу культ – все это, может быть, прилично в каком-нибудь застенке, но это неприлично в литературе. По существу, в этих приемах нет ничего нового. Ими пользуется и теперь вся та *литературная тля* наша (опять рука Щедрина. – Л. А.), которая считает своим призванием изобличение всяких «измов». Но положение г. Печерского – особенное. Как-никак, он является перед читателем чем-то вроде авторитетного эксперта, вооруженного специальными знаниями, неизвестными документами и проч. Читатель вследствие этого почти безоружен перед г. Печерским, как беззащитны перед автором и те люди, о которых он повествует. Если г. Печерский надеялся такими средствами послужить интересам нашей церкви или возвеличить ее достоинство, он этого не достиг нисколько, а доказал только, что понятие об истинном достоинстве далеко превосходит его разумение.

Таков приговор русской демократической критики.

Воздействие его оказывается весьма сильным: в ничтожном отзыве биржевой газетки, пару месяцев спустя решившей отдать должное «почтенному беллетристу-этнографу», можно уловить следы радиации, которой прожег Печерского щедринский журнал, хотя биржевка и укутывает эти идеи в привычный стиль, попутно отрешиваясь на всякий случай и от якобинской заразы:

– Почтенный беллетрист-этнограф ярко изображает в последней своей книге хлыстовщину: общинную, точнее, коммунистическую (так! – Л. А.) жизнь хлыстов. Автора можно упрекнуть только в крайней буржуазности его собственных взглядов, затуманенных вдобавок славянофильством дурной пробы: он почти любовно относится к кулакам-купцам и маклакам, которые ничего не могут возбуждать, кроме отвращения (это пишет биржевая газета! – Л. А.). Но живописание народного быта здесь ценно...

Кажется, это последний отклик. Следующий, 1882-й год проходит без критики, а с февраля 1883-го газеты уже печатают некрологи, в которых впервые возникает слово «великий», неотрывное, впрочем, от слова «этнограф».

Щедринский приговор продолжает негласно висеть над Мельниковым. Семнадцать лет спустя его подхватывает Богданович; еще десять лет спустя статью Богдановича переиздают Короленко и Куприн. Попытка Измайлова изменить ситуацию, как мы помним, успеха не имеет. Имя Печерского бесповоротно закатывается во второй ряд русской классики.

Станным образом это отвержение критики сочетается в последнее десятилетие жизни Мельникова с непрерывно растущей популярностью в широких читательских кругах. «Широкие круги» для XIX века – понятие несколько иное, чем то, что привычно для нас в XX: в низовую массу раскольников, несмотря на советы «Санкт-Петербургских ведомостей», романы Печерского, наверное, не проникают, зато образованная публика, включая и так называемый бомонд, принимает их на ура.

В 1874 году И. А. Гончаров, занимаясь драматургией Островского, обнаруживает пригорбную безучастность к нему со стороны высших классов; не без ревности он отмечает, что куда охотнее читаются в этих кругах «Соборяне» Лескова и «В лесах» Печерского.

Выход первого отдельного издания год спустя делает имя Печерского положительно модным, и он не без иронии докладывает жене в одном из писем, что фрейлины восхищаются его сиволапыми мужиками и раскольниковскими монахинями.

Хорошо понимая логику такого успеха, «верноподданный Мельников» испрашивает у государя-наследника цесаревича Александра Александровича позволения посвятить первое издание романа «В лесах» его августейшему имени. Позволение получено.

Журналы стараются переманить вошедшего в фавор автора. Министр народного просвещения предполагает составить из его текстов хрестоматийную подборку для школ. Срезневский поддерживает его кандидатуру в Академию наук на место умершего А. К. Толстого. Выпуск хрестоматии срывается из-за войны с Турцией. В академики Мельников не проходит.

Но он и так «член чуть ли не всех ученых обществ в Москве», его и так «носят на руках»: жизнь Мельникова в это последнее десятилетие протекает среди приглашений, приемов и оваций, которые он приемлет с благосклонностью.

Складывается, наконец, и мифология, а поскольку вокруг фигуры Печерского нет настоящей критической драки, – мифология приобретает скорее бытовой, нежели литературный характер. Мы помним этот миф: лукавый книжник наслаждается чтением старинных фолиантов, от чего отрывает его время от времени неумолимая супруга с известием, что деньги на исходе; при этом вторжении летописец старообрядства восстает с дивана, переходит к письменному столу и, наращивая очередные тома своей эпопеи, с невероятной скоростью пишет главу за главой.

Многописание Мельникова делается осевой темой его легенды. Лесков, отстаивая в «Русском вестнике» свой роман от вымарок, ссылается на «утомляющие длинноты Мельникова», которому-де все можно. Щедрин реагирует еще злее: в письме к Анненкову он предлагает читать романы Мельникова с любой страницы, без ущерба для впечатления... И все же масштаб учтен: «Суворин, Маркевич, Катков!» – с яростью перечисляет Щедрин главных реакционеров в письме к тому же Анненкову; рядом с ними «Лесков, Мельников – все это голубицы чистоты, а Писемский, он же Никита Безрылов, – просто приятнейший и образованнейший собеседник...».

Старые брани теплятся, помнятся. Но «обличитель номер два», изгнанный когда-то «обличителем номер один» из прогрессивного лагеря, уже прочно заслонен в глазах новых поколений добродушным книгочеем, который раздает советы и консультации (тому же Писемскому для романа «Масоны» подарена картина хлыстовского радения) и так же щедро множит свои собственные бесконечные главы: шесть корректур! наборщики в отчаянии! Катков удерживает 25 рублей с каждой трех сотен гонорара – в погашение бесконечных вписок и переделок! За обликом благодушного московского «литературного генерала» теряется и блекнет память о легком на подъем и скором на руку чиновнике, лихо взлетевшем когда-то из Нижнего на питерские министерские высоты.

Однако в 1879 году шестидесятилетний старик находит в себе охоту принять конфиденциальное поручение от московского генерал-губернатора: в преддверии очередной ярмарки он едет все в тот же Нижний, дабы собрать сведения о разного рода сходбищах и донести о том властям во избежание и пресечение могущих возникнуть беспорядков.

Два года спустя Мельников-Печерский окончательно переселяется в Нижний Новгород – подальше от столиц, поближе к деревенскому имению своему, Ляхову.

Здесь вскоре настигает его болезнь бездвижности: подагра.

Последние свои страницы он сведенными губами диктует жене, и та с трудом разбирает слова.

Вспоминает ли он давнее? Жизнь свою? Молодость свою?

Когда-то, в годы первых успехов, в Нижнем, был он на городском гулянии. Мимо прошла молодая дама с девочкой. Близорукий Мельников прищурился вслед (из щегольства он отказывался носить очки) и заметил своему спутнику:

– А хороша!

Тот смутился:

– Помилуйте, Павел Иванович, да это же ваша жена с дочкой!

Не узнал... То-то смеху было.

С тех пор столько переменилось: другая жена, другая жизнь.

Нет, «обличитель номер два» не подходил по характеру ни в мизантропы, ни в еретики. Это был человек пластичный, жизнелюбивый и в высшей степени *нормальный*. Еретики он ловил – по службе. Сам в еретики попадал – по вечному российскому закону, когда шагающий

не в ногу – опасен. И так он менял ногу, и эдак. И по русской земле, по старинной древней почве, пошел поначалу – с командами.

А потом всмотрелся: «Хороша!»

И вот он у двери гроба: бездвижный, страдающий, добрый, над грудой старинных книг и бумаг, – хочет еще сказать что-то – и уже нет сил.

И времени нет.

Он умирает в своем родном городе 1 февраля 1883 года.

Его с пышностью хоронят – на монастырском кладбище, у начала арзамасского тракта, ведущего к Ляхову и далее в те места, где гуляли когда-то по лесам и горам его любимые герои.

Земля Поволжья, породившая питерского чиновника и московского романиста, забирает его обратно.

В лесах

Часть первая

Глава первая

Верховое Заволжье – край привольный. Там народ досужий, бойкий, смышленный и ловкий. Таково Заволжье сверху от Рыбинска вниз до устья Кёрженца. Ниже не то: пойдет лесная глушь, луговая черемиса, чуваша, татары. А еще ниже, за Камой, степи раскинулись, народ там другой: хоть русский, но не таков, как в Верховье. Там новое заселение, а в Заволжском Верховье Русь исстари уселась по лесам и болотам. Судя по людскому наречному говору – новгородцы в давние Рюриковы времена там поселились. Преданья о Батыевом разгроме там свежи. Укажут и «тропу Батыеву» и место невидимого града Китежа на озере Светлом Яре. Цел тот город до сих пор – с белокаменными стенами, златоверхими церквами, с честными монастырями, с княженицкими узорчатыми теремами, с боярскими каменными палатами, с рубленными из кондового, негниющего леса домами. Цел град, но невидим. Не видать грешным людям славного Китежа. Сокрылся он чудесно, Божьим повеленьем, когда безбожный царь Батый, разорив Русь Суздальскую, пошел воевать Русь Китежскую. Подошел татарский царь ко граду Великому Китежу, восхотел дома огнем спалить, мужей избить либо в полон угнать, жен и девиц в наложницы взять. Не допустил Господь басурманского поруганья над святыней христианскою. Десять дней, десять ночей Батыевы полчища искали града Китежа и не могли сыскать, ослепленные. И досель тот град невидим стоит, – откроется перед страшным Христовым судилищем. А на озере Светлом Яре, тихим летним вечером, виднеются отраженные в воде стены, церкви, монастыри, терема княженицкие, хоромы боярские, дворы посадских людей. И слышится по ночам глухой, заунывный звон колоколов китежских.

Так говорят за Волгой. Старая там Русь, исконная, кондовая. С той поры как зачиналась земля Русская, там чуждых насельников не бывало. Там Русь сисстари на чистоте стоит, – какова была при прадедах, такова хранится до наших дней. Добрая сторона, хоть и смотрит сердито на чужанина.

В лесистом Верховом Заволжье деревни малые, зато частые, одна от другой на версту, на две. Земля холодна, неродима, своего хлеба мужику разве до Масленой хватит, и то в урожайный год! Как ни бейся на надельной полосе, сколько страды над ней ни принимай, круглый год трудовым хлебом себя не прокормишь. Такова сторона!

Другой на месте заволжанина давно бы с голода помер, но он не лежебок, человек досужий. Чего земля не дала, уменьем за дело взяться берет. Не побрел заволжский мужик на заработки в чужу-дальнюю сторону, как сосед его вязниковец, что с пуговками, с тесемочками и другим товаром кустарного промысла шагает на край света семье хлеб добывать. Не побрел заволжанин по белу свету плотничать, как другой сосед его галка⁴. Нет. И дома сумел он приняться за выгодный промысел. Вареги зачал вязать, поярок валять, шляпы да сапоги из него делать, шапки шить, топоры да гвозди ковать, весовые коромысла чуть не на всю Россию делать. А коромысла-то какие! Хоть в аптеку бери – сделаны верно.

Леса заволжанина кормят. Ложки, плошки, чашки, блюда заволжанин точит да красит; гребни, донца, веретена и другой щепной товар работает, ведра, ушаты, кадки, лопаты,

⁴ Крестьяне Галицкого и других уездов Костромской губернии. (Все примечания, данные в сносках, принадлежат автору. – *Ред.*)

коробья, весла, лейки, ковши – все, что из лесу можно добыть, рук его не минует. И смолу с дегтем сидит, а заплатив попенные, рубит лес в казенных дачах и сгоняет по Волге до Астрахани бревна, брусья, шесты, дрючки, слег и всякий другой лесной товар. Волга под боком, но заволжанин в бурлаки не хаживал. Последнее дело в бурлаки идти! По Заволжью так думают: «Честней под оконом Христовым именем кормиться, чем бурлацкую лямку тянуть». И правда.

Живет заволжанин хоть в труде, да в достатке. Сыстари за Волгой мужики в сапогах, бабы в котах. Лаптей видом не видано, хоть слыхом про них и слыхано. Лесу вдоволь, лыко нипочем, а в редком доме кочедык найдешь. Разве где такой дедушка есть, что с печки уж лет пяток не слезает, так он, скуки ради, лапотки иной раз ковыряет, нищей братье подать либо самому обуться, как станут его в домовину обряжать. Таков обычай: летом в сапогах, зимой в валенках, на тот свет в лапотках...

Заволжанин без горячего спать не ложится, по воскресным дням хлебает мясное, изба у него пятистенная, печь с трубой; о черных избах да соломенных крышах он только слышал, что есть такие где-то «на Горах»⁵. А чистота какая в заволжских домах!.. Славят немцев за чистоту, русского корят за грязь и неряшество. Побывать бы за Волгой тем славильщикам, не то бы сказали. Кто знаком только с нашими степными да черноземными деревнями, в голову тому не придет, как чисто, опрятно живут заволжане.

Волга – рукой подать. Что мужик в неделю наработает, тотчас на пристань везет, а поленился – на соседний базар. Больших барышей ему не нажить; и за Волгой не всяк в «тысячники» вылезет, зато, как ни плоха работа, как работников в семье ни мало, заволжанин век свой сыт, одет, обут, и податные за ним не стоят. Чего ж еще?.. И за то слава те, Господи!.. Не всем же в золоте ходить, в руках серебро носить, хоть и каждому русскому человеку такую судьбу няньки да мамки напевают, когда еще он в колыбели лежит.

Немало за Волгой и тысячников. И даже очень немало. Плохо про них знают по дальним местам потому, что заволжанин про себя не кричит, а если деньжонок малу толику скопит, не в банк кладет ее, не в акции, а в родительску кубышку, да в подполье и зароем. Миллионщиков за Волгой нет, тысячников много. Они по Волге своими пароходами ходят, на своих паровых мельницах сотни тысяч четвертей хлеба перемалывают. Много за Волгой таких, что десятками тысяч капиталы считают. Они больше скупкой горянщины⁶ да деревянной посуды промышляют. Накупят того, другого у соседей, да и плыват весной в Понизовье. Барыши хорошие! На иных акциях, пожалуй, столько не получишь.

Один из самых крупных тысячников жил за Волгой в деревне Осиповке. Звали его Патапом Максимычем, прозывали Чапуриным. И отец так звался и дедушка. За Волгой и у крестьян родовые прозвания ведутся, и даже свои родословные есть, хотя ни в шестых, ни в других книгах они и не писаны. Край старорусский, кондовый, коренной, там родословные прозвища встарь бывали и теперь в обиходе.

Большой, недавно построенный дом Чапурина стоял середь небольшой деревушки. Дом в два жилья, с летней светлицей на вышке, с четырьмя боковушками, двумя светлицами по сторонам, с моленной в особой горнице. Ставлен на каменном фундаменте, окна створчатые, стекла чистые, белые, в каждом окне занавеска миткалевая с красной бумажной бахромкой. На улицу шесть окон выходило. Бревна лицевой стены охрой на олифе крашены, крыша красным червляком. На свесах ее и над окнами узорчатая прорезь выделана, на воротах две маленькие расшивы и один пароход ради красы поставлены. В доме прибрано все на купецкую руку. Пол крашеный, – олифа своя, не занимать стать; печи-голландки, кафельные, с горячими лежанками; по стенам, в рамках красного дерева два зеркала да с полдюжины картин за стеклом повешено. Стулья и огромный диван красного дерева крыты малиновым трипом, три клетки с

⁵ «Горами» зовут правую сторону Волги.

⁶ Горянщиной называется крупный щепной товар: обручи, дуги, лопаты, оглобли и т. п.

канарейками у окон, а в углу заботливо укрыты платками клетки: там курские певуны – соловьи; до них хозяин охотник, денег за них не жалеет.

По краям дома пристроены светелки. Там хозяйские дочери проживали, молодые девушки. В передней половине горница хозяина была, в задней моленная с иконостасом в три тѣбла. Канонница с Керженца при той моленной жила, по родителям «негасимую» читала. Внизу стряпушая, подклет да покои работников да работниц.

У Патапа Максимыча по речкам Шишинке и Чернушке восемь токарен стояло. Посуду круглую: чашки, плошки, блюда в Заволжье на станках точат – один работник колесо вертит, другой точит. К такому станку много рук надо, но смысленый заволжанин придумал, как делу помочь. Его сторона место ровное, лесное, болотное, речек много множество. Больших нет, да нет и таких, что «на Горах» водятся: весной корабли пускай, в межень курица не напьется. В песчаных ложах заволжских речек воды круглый год вдосталь; есть такие, что зимой не мерзнут: летом в них вода студеная, рука не терпит, зимой пар от нее. На таких-то речках и настроили заволжские мужики токарен: поставит у воды избенку венцов в пять, в шесть, запрудит речонку, водоливное колесо приладит, привод веревочный пристегнет, и вертит себе такая меленка три-четыре токарных станка зараз. Работа не в пример спорее. Таких токарен у осиповского тысячника было восемь, на них тридцать станков стояло; да, кроме того, дома у него, в Осиповке, десятка полтора ручных станков работало. Была своя красильня посуду красить, на пять печей; чуть не круглый год дело делала. Работников по сороку и больше Патап Максимыч держал. Да по деревням еще скупал крашоновую и некрашоновую посуду. Горянщиной сам в Городце торговал. Две крупчатки у него в Красной Рамени было, одна о восьми, другая о шести поставках. Расшивы свои по Волге ходили, из Балакова да из Новодевичья пшеницу возили, на краснораменских крупчатках Чапурин ее перемалывал. Мукой в Верховье он торговал: славная мука у него бывала – чистая, ровно пух; покупатели много довольны ей оставались.

У Макарья Патап Максимыч две лавки снимал, одну в щепяном, другую в мучном ряду. Вот уж тридцать лет, как он каждый год выправляет торговое свидетельство и давно слывет тысячником. Денег в мошне у него никто не считал, а намолвка в народе ходила, что не одна сотня тысяч есть у него. И в казенны подряды пускался Чапурин, но большого припену от них не видал. Говаривал подчас приятелям: «Рад бы бросил окаянные эти подряды, да больно уж я затянулся; а помирать Бог приведет, крепко-накрепко дочерям закажу, ни впредь, ни после с казной не вязались бы, а то не будь на них родительского моего благословения».

Почет Патапу Максимычу ото всех был великий. По Заволжью никто его без поклона не миновал; окольные мужики, у которых Чапурин посуду скупал, в глаза и за глаза называли его «наш хозяин». Доверие он имел не в одном крестьянстве, но и в купеческом обществе. Да вот какой случай раз приключился. Мостил Чапурин в городе мостовую, подряд немалый, одного залога десять тысяч было представлено им. Кончил работу, сдал как следует и поехал в город заработанную плату да залоги получать. Дорогой узнает, что назавтра торги на перевозку казенной соли в Рыбинск назначены. Посчитал, посчитал, раскинул умом-разумом, видит – побставка будет с руки: расшива без дела, бурлаки недороги, паводок девять четвертей. Приехал в город прямо на торги. Соляные чиновники так и ахнули, увидав Патапа Максимыча, – знали его. «Вот принес незваного-непросьного», – тихонько меж собой поговаривают, – а дело-то у них с другими было полагено. Проведали, однако ж, соляные, что денег у Чапурина в наличности нет, упростили приятелей в строительной комиссии залогов ему не выдавать, пока на соль переторжка не кончится. Пошли в строительной водить Патапа Максимыча за нос, водят день, водят другой: ни отказа, ни приказа: «Завтра да завтра: то да се, подожди да повремени; надо в ту книгу вписать, да из того стола справку забрать». Известно дело!.. Чапурина невтерпещ... Дотянули строительные до того, что час один до переторжки остается, а денег не выдают. Смекнул Чапурин каверзы, видит, хотят его в дураки оплести. «Так врешь же, барин, – думает себе, – ты у меня погоди». Да, отвесив поклон строительным, вон из присутствия. Те: «Куда,

да зачем, да постой»; а он ломит себе, да прямо в гостиный двор. Там короткой речью сказал рядовичам, в чем дело, да, рассказавши, снял шапку, посмотрел на все четыре стороны и молвил: «Порадейте, господа купцы, выручите!» Получаса не прошло, семь тысяч в шапку ему накидали. «Будет, будет!... – кричит Патап Максимыч. – Спаси вас Христос». Духу не переводя, поскакал на переторжку. Там ему первым словом:

– Залоги?

– Вот они! – молвил Патап Максимыч.

Отдал деньги и пошел цену сносить. Снес чуть не половину, а четыре копейки нажил на рубль. Очень недовольны соляные остались.

Патап Максимыч с семьей старинки придерживался, раскольникчал, но закоснелым изувером никогда не бывал. Не держался правила: «С бритоусом, с табашником, щепотником и со всяким скобленным рылом не молись, не водись, не дружись, не бранись». И раскольникчал-то Патап Максимыч потому больше, что за Волгой издавна такой обычай велся, от людей отставать ему не приходилось. Притом же у него расколом дружба и знакомство с богатыми купцами держались, кредита от раскола больше было. Да, кроме того, во время отлучек из дому по чужим местам жить в раскольникчих домах бывало ему привольней и спокойней. На Низ ли поедет, в верховы ли города, в Москву ли, в Питер ли, везде и к мало знакомому раскольнику идет он, как к родному. Всячески его успокоят, все приберегут, все сохранят и всем угодят. И то льстило Патапу Максимычу, что после родителя был он попечителем городецкой часовни, да не таким, что только по книгам значатся, для видимости полиции, а «истовым», коренным. От часовенного общества за то ему почет был великий. А почет Чапурин любил.

Семья у него небольшая, сам с женой да две дочери. Богоданная дочка была еще, Груня-сиротка, сызмальства Чапуриным призренная, – та уж замуж выдана была в деревню Вихорево за тысячника. Родные дочери тоже на возрасте были: старшей, Настасье, восемнадцать минуло, другая, Прасковья, годом была помоложе. Только что воротились они в родительский дом от тетки родной, матери Манефы, игуменьи одной из Комаровских обителей. Гостили девушки у тетки без мала пять годов, обучались Божественному писанию и скитским рукодельям: бисерны лестовки вязать, шелковы кошельки да пояски ткать, по канве шерстью да синелью вышивать и всякому другому белоручному мастерству. Отец тысячник выдаст замуж в дома богатые, не у квашни стоять, не у печки девицам возиться, на то будут работницы; оттого на белой работе да на книгах больше они и сидели. Настя да Параша в обители матушки Манефы и «часовник» и все двадцать кафизм псалтыря наизусть затвердили, отеческие книги читали бойко, без запинки, могли справлять уставную службу по «Минее месячной», петь по крюкам, даже «развод демественному и ключевому знамени» разумели. Выучились уставом писать и, живя в скиту, немало «Цветников» да «сборников» переписали и перед великим праздником посылали их родителям в подарок. А Патап Максимыч любил на досуге душе-спасительных книг почитать, и куда как любо было сердцу его родительскому перечитывать «Златоструи» и другие сказанья, с золотом и киноварью переписанные руками дочерей-мастериц. Какие «заставки» рисовала Настя в зачале «Цветников», какие «финики» по бокам золотом выводила – любо-дорого посмотреть!

Настя с Парашей, воротясь к отцу, к матери, расположились в светлицах своих, а разукрасить их отец не поскупился. Вечерком, как они убрались, пришел к дочерям Патап Максимыч поглядеть на их новоселье и взял рукописную тетрадку, лежавшую у Насти на столике. Тут были «Стихи об Иоасафе царевиче», «Об Алексее Божьем человеке», «Древня гроб сосновый» и рядом с этой псалмой «Похвала пустыне». Она начиналась словами:

Я в пустыню удаляюсь
От прекрасных здешних мест.
Сколько горести напрасно

Я в разлуке с милым должна снести...

Перевернул Патап Максимыч листок, там другая псальма:

Сизенький голубчик,
Армейский поручик.

Поморщился Патап Максимыч, сунул тетрадку в карман и, ни слова не сказав дочерям, пошел в свою горницу. Говорит жене:

– Ты, Аксинья, за дочерьми-то приглядывай.

– Чего за ними, Максимыч, приглядывать? Девки тихие, озорства никакого нет, – отвечала хозяйка, глядя удивленными глазами на мужа.

– Не про озорство говорю, – сказал Патап Максимыч, – а про то, что девки на возрасте, стало быть, от греха на вершок.

– Что ты, Максимыч! Бога не боишься, про родных дочерей что говоришь! И в головоньку им такого мотыжничества не приходило; птенчики еще, как есть слетышки!

– Гляди им в зубы-то! Нашла слетышков! Настасье-то девятнадцатый год, глянь-ка ей в глаза-то – так мужа и просит.

– Полно грешить-то, Максимыч, – возвысила голос Аксинья Захаровна. – Чтой-то ты? Родных дочерей забижать!.. Клепlesh на девуку!.. Какой ей муж?.. Обе ничегохонько про эти дела не разумеют.

– Держи карман!.. Не разумеют!.. В Комарове-то, поди, всякие виды видали. В скитах завсегда грех со спасеньем по-соседски живут.

– Да полно ж грешить-то тебе!.. – еще больше возвысила голос Аксинья Захаровна. – Как возможно про честных стариц такую речь молвить? У матушки Манефы в обители спокон века худого ничего не бывало.

– Много ты знаешь!.. А мы видали виды... Зачем исправник-от в Комаров каждую неделю наезжает... Даром, что ли?.. В Московкиной обители с белицами-то он от Писанья, что ли, беседует?.. А Домне головщице за что шелковы платки дарит?.. А купчики московские зачем к Глафириным ездят?.. А?..

– Полно тебе, старый хрен, хульные словеса нести, – с озлобленьем вскричала Аксинья Захаровна. – Слушать-то грех!.. Совсем обмирщился!.. Аль забыл, что всяко праздно слово на последнем суде взыщется?.. Повелся с табашниками-то!.. Вот и скружился. На святые обители хулу нести!.. А?.. Бога-то, видно, в тебе не стало... Знамо дело, зачем в Комаров люди ездят: на могилку к честному отцу Ионе от зубной скорби помолиться, на поклоненье могилке матушки Маргариты. Мало ль в Комарове святыни!.. Ей христиане и приезжают поклоняться. А по лесу сколько святых мест на старых скитах, разоренных!

– Уж исправник-от не тем ли святым местам ездит поклоняться? – усмехаясь, спросил жену Патап Максимыч. – Домашка головщица, что ли, ему в лесу-то каноны читает?.. Аль за те каноны Семен-от Петрович шелковы платки ей дарит?

Не вытерпела Аксинья Захаровна, плюнула и вон пошла. Сама за Чапурина из скитов «уходом» бежала, и к келейницам сердце у ней лежало всегда.

Поспорь эдак Аксинья Захаровна с сожителем о мирском, был бы ей окрик, пожалуй, и волосник бы у ней Патап Максимыч поправил. А насчет скитов да лесов и всего эдакого духовного – статья иная, тут не муж, а жена голова. Тут Аксиньина воля; за хульные словеса может и лестовкой мужа отстегать.

Так исстари ведется. Раскол бабами держится, и в этом деле баба голова, потому что в каком-то писании сказано: «Муж за жену не умолит, а жена за мужа умолит».

Сел за стол Патап Максимыч. Хотел счета за год подводить, но счета не шли на ум. Про дочерей раздумывал.

«Хоть и жаль расставаться, а лучше к месту скорей, – думал он. – Дочь чужое сокровище: пой, корми, холь, разуму учи, потом в чужие люди отдай. Лучше скорей тем делом повернуть. Для чего засиживаться?.. Мне же Данило Тихоныч намерен насчет сына загадку загадал... Что ж?.. Дом хороший, люди богобоязные, достаток есть... Отчего не породниться?.. Настасья с Прасковьей не бесприданницы; с радостью возьмут. Жених, кажись, малый складный: и речист, и умен, дело из рук у него не валится... На крещенском базаре потолкуем и, Бог даст, порешим... А долго девок дома не держать... Долго ль до греха?»

Глава вторая

Вечер крещенского сочельника ясный был и морозный. За околицей Осиповки молодые бабы и девки собирали в кринки чистый «крещенский снежок» холсты белить да от сорока недугов лечить. Поглядывая на ярко блиставшие звезды, молодницы заключали, что новый год белых ярок породит, а девушки меж себя толковали: «Звезды к гороху горят да к ягодам; вдоволь уродится, то-то загуляем в лесах да в горохах!»

Старые старухи и пожилые бабы домовничали; с молитвой клали они мелом кресты над дверьми и над окнами ради отогнания нечистого и такую думу держали: «Батюшка Микола милостливый, как бы к утрею-то оттепело, да туман бы пал на святую Ердань, хлебушка бы тогда вдоволь нам уродилось!» Мужики вокруг лошадей возились: известно, кто в крещенский сочельник у коня копыта почистит: у того конь весь год не будет хромать и не случится с ним иной болести. Но, веря своей примете, мужики не доверяли бабым обрядам и, ворча себе под нос, копались среди дворов в навозе, глядя, не осталось ли там огня после того, как с вечера старухи пуки лучины тут жгли, чтоб на том свете родителям было теплее. В избах у красного угла толпились ребятишки. Притаив дыхание, глаз не спускали они с чашки, наполненной водою и поставленной у божницы: как наступит Христово крещение, сама собой вода колыхнется и небо растворится; глянь в раскрытое на один миг небо и помолись Богу: чего у него ни попросишь, все даст.

– Пусти нас, мамынька, с девицами снежок пополоть, – просилась меньшая дочь у Аксины Захаровны.

– В уме ль ты, Паранька? – строго ответила мать, набожно кладя под окнами мелом кресты. – Приедет отец да узнает, что тогда?

– Да ведь мы не одни! Все девицы за околицей... И мы бы пошли, – заметила старшая, Настасья.

– Пущу я вас ночью, с девками!.. Как же!.. С ума своротила, Настенка! Ваше ль дело гулять за околицей?

– Другие пошли же.

– Другие пошли, а вам не след. Худой славы, что ль, захотели?

– Какой же славы, мамынька? – приставала Параша.

– А вот как возьму лестовку да ради Христова праздника отстегаю тебя, – с притворным негодованием сказала Аксины Захаровна, – так и будешь знать, какая слава!.. Ишь что вздумала!.. Пусти их снег полоть за околицу!.. Да теперь, поди чай, парней-то туда что навалило: и своих, и из Шишинки, и из Назаровой!.. Долго ль до греха?.. Девки вы молодые, дочери отечские: след ли вам по ночам хвосты мочить?

– Да пошли же другие, – настаивала Настя. Очень ей хотелось поиграть с девицами за околицей.

– Коли пошли, так туда им и дорога, – ответила мать. – **А вам с деревенскими девками себя на ряду считать не доводится.**

– Отчего ж это, мамынька?.. Чем же мы лучше их?.. – спросила Настасья.

– Тем и лучше, что хорошего отца дочери, – сказала Аксинья Захаровна. – Связываться с теми не след. Сядьте-ка лучше да псалтырь ради праздника Христова почитайте. Отец скоро с базара приедет, утренью будем стоять; помогли бы лучше Евпраксеюшке моленну прибрать... Дело-то не в пример будет праведнее, чем за околицу бегать. Так-то.

– Да, мамынька... – заговорила было Настя, – нам бы с девушками посмеяться, на морозце поиграть.

– Сказано, не пушу! – крикнула Аксинья Захаровна. – Из головы выбрось снег полоть!.. Ступай, ступай в моленну, прибирайте к утрени!.. Эки бесстыжие, эки вольные стали – матери не слушают!.. Нет, девки, приберу вас к рукам... Что выдумали! За околицу!.. Да отец-то съест меня, как узнает, что я за околицу вас ночью отпустила... Пошли, пошли в моленную!

Помялись девушки и со слезами пошли в моленную.

– Ишь что баловницы выдумали!.. – ворчала Аксинья Захаровна, оставшись одна и кладя меловые кресты над входами и выходами, – ишь что выдумали – снег полоть!.. Статочно ли дело?.. Сведает, что Патапа Максимыча дочери по ночам за околицу бегают, что в городе скажут по купечеству?.. Срам один... Просто срам... Долго ль девкам навек ославиться?.. Много недобрых-то людей... Как пить дадут – наплетут, намочалят невесть чего!.. И что им, глупым, захотелось за околицу?.. Чего не видали?.. Снег полоть, холсты белить!.. Да придется разве им холсты-то белить?.. Слава Богу, всего припасено, не бесприданницы... А теперь, поди, у девок за околицей смеху-то, балованья-то что!.. Была и я молода, хаживала и я под Крещение снежок полоть... Точим балясы до вторых петухов; парни придут с балалайками... Прибаутками со смеху так и морят... И чего-то, чего не бывало!.. Ох, согрешила я, грешница!.. А хочется девонькам за околицу... Ну, да им нельзя, хорошего отца дети; нельзя!.. Ох, девичья пора!.. Веселья все хочется, воли... Девоньки мои, девоньки!.. и пустила б я вас, да как сам-то придет, как сам-то узнает... Тогда что?..

В то время гурьба молодежи валила мимо двора Патапа Максимыча с кринками, полными набранного снега. Раздалась веселая песня под окнами. Пели «Авсень», величая хозяйских дочерей:

Среди Москвы,
Ворота пестры,
Ворота пестры,
Вереи красны,
Ой Авсень, Таусень!..

У Патапа на дворе,
У Максимыча в дому
Два теремушка стоят,
Золотые терема.
Ой Авсень, Таусень!..

Как во тех теремах
Красны девицы сидят,
Свет душа Настасьюшка,
Свет душа Прасковьюшка.
Ой Авсень, Таусень!..

– О, чтоб вас тут, непутные!.. – вздрогнув от первых звуков песни, заворчала Аксинья Захаровна, хоть величанье дочерей и было ей по сердцу. По старому обычаю, это не малый

почет. – О, чтоб вас тут!.. И свят вечер не почитают, греховодники! Вечор нечистого из деревни гоняли, сегодня опять за песни... Страху-то нет на вас, окаянные!

Гурьба парней и девок провалила. Какой-то отсталой хриплым, нестройным голосом запел под окнами:

Я тетерку гоню,
Полевую гоню:
Она под куст,
А я за хвост!
Авсень, Таусень!
Дома ли хозяин?

– Мать Пресвята Богородица! – всплеснув руками, вскрикнула Акси́нья Захаровна. – Микешка беспутный!.. Его голос!.. Господи! Да что ж это такое?..

Пьяный голос слышен был у ворот. Кто-то стучался. Сбежав в подклет, Акси́нья Захаровна наказывала работникам не пускать на двор Микешку.

– Хоть замерзни, в дом не пушу. Не пушу, не пушу! – кричала она.

Заскрипел снег под полозьями. Стали сани у двора Патапа Максимыча.

– Приехал, – весело молвила Акси́нья Захаровна и засуетилась. – Матренушка, Матренушка! Сбери поскорей самоварчик!.. Патап Максимыч приехал.

В горницу хозяин вошел. Жена торопливо стала распоясывать кушак, повязанный по его лисьей шубе. Прибежала Настя, стала отряхивать заиндевелую отцовскую шапку, меж тем Параша снимала вязанный из шерсти шарф с шеи Патапа Максимыча. Ровно кошечки, ластились к отцу дочери, спрашивали:

– Привез гостинцу с базару, тятенька?

– Тебе, Параня, два привез, – шутил Патап Максимыч, – одну плетку ременную, другу шелковую... Котору прежде попробовать?

– Нет, тятенька, ты не шути, ты правду скажи.

– Правду и говорю, – отвечал, улыбаясь, отец. – А ты, Параня, пока плеткой я тебя не отхлыстал, поди-ка вели работнице чайку собрать.

– Сказано, уж сказано, – перебила Акси́нья Захаровна и пошла было в угловую горницу.

– Ты, Акси́нья, погоди, – молвил Патап Максимыч. – Руки у тебя чисты?

– Чисты. А что?

– То-то. На, прими, – сказал он, подавая жене закрытый бурак, но, увидя входившую канонницу, отдал ей, примолвив: – Ей лучше принять, она свят человек. Возьми-ка, Евпраксеюшка, воду богоявленную.

Акси́нья Захаровна с дочерьми и канонница Евпраксия с утра не ели, дожидаясь святой воды. Положили начал, прочитали тропарь и, налив в чайную чашку воды, испили понемножку. После того Евпраксия, еще три раза перекрестясь, взяла бурак и понесла в моленну.

– В часовне аль на дому у кого воду-то святили? – садясь на диван, спросила у мужа Акси́нья Захаровна.

– У Михайла Петровича у Галкина, в деревне Столбовой, – ответил Патап Максимыч.

– Кто святил? Отец Афанасий, что ли? – спросила Акси́нья Захаровна.

– Из острога, что ли, придет? – молвил Патап Максимыч. – Чай, не пустят?.. Новый поп святил.

– Какой же новый поп? – с любопытством спросила Акси́нья Захаровна.

– Матвея Корягу знаешь?

– Как не знать Матвея Корягу? Начитанный старик, силу в Писании знает.

– Он самый и святил.

– Как же святить ему, Максимыч? – с удивлением спросила Аксинья Захаровна.

– Как святят, так и святил. На Николин день Коряга в попы поставлен. Великим постом, пожалуй, и к нам приедет... «Исправляться» у Коряги станем, в моленной обедню отслужит, – с легкой усмешкой говорил Патап Максимыч.

– Ума не приложу, Максимыч, что ты говоришь. Право, уж я и не знаю, – разводя руками и вставая с дивана, сказала Аксинья Захаровна. – Кто ж это Корягу в попы-то поставил?

– Епископ. Разве не слыхала, что у нас свои архиереи завелись? – сказал Патап Максимыч.

– Австрийские-то, что ли? Сумнительны они, Максимыч. Обливанцы, слышь, – молвила Аксинья Захаровна.

– Пустого не мели. Ты, что ли, их обливала?.. – сказал Патап Максимыч.

– У нас, в Комарове, иные обители австрийских готовы принять, – вмешалась в разговор Настя. – Глафирины только сомневаются, да еще Игнатьевы, Анфисины, Трифинины, а другие обители все готовы принять, и Оленевские, и в Улангере, а и в Чернухе – везде, везде по скитам.

– Из Москвы, из Хвалыни, из Казани пишут про епископа, что как есть совсем правильный, – молвил Патап Максимыч. – Все мои покупатели ему последуют. Не ссориться с ними из-за таких пустяков... Как они, так и мы. А что есть у иных сомнение, так это правда, точно есть. И в Городце не хотят Матвея в часовню пускать, зазорен, дескать, за деньги что хочешь сделает. Про епископа Софрония тоже толкуют... Кто их разберет?.. Ну их к Богу – чайку бы поскорей.

Как утка переваливаясь, толстая работница Матрена втащила ведерный самовар и поставила его на прибранный Настей и Парашей стол. Семья уселась чайничать. Позвали и канонницу Евпраксию. Пили чай с изюмом, потому что сочельник, а сахар скоромен: в него-де кровь бычачью кладут.

* * *

Патап Максимыч дела свои на базаре кончил ладно. Новый заказ, и большой заказ, на посуду он получил, чтоб к весне непременно выставить на пристань тысяч на пять рублей посуды, кроме прежде заказанной; долг ему отдали, про который и думать забыл; письма из Балакова получил: приказчик там сходно пшеницу купил, будут барыши хорошие; вечерню выстоял, нового попа в служении видел; со Снежковым встретился, насчет Настиной судьбы толковал; дело, почитай, совсем порешили. Такой ладный денек выпал, что редко бывает.

Удачно проведя день, Чапурин был в духе и за чаем шутики шутил с домашними. По этому одному видно было, что съездил он подобиру-поздорову, на базаре сделал оборот хороший; и все у него клеилось, шло как по маслу.

– Ты, Аксинья, к себе на именины жди дорогих гостей. Обещались пироги есть у именинницы.

– Кого звал? – вскинув на мужа глазами, спросила Аксинья Захаровна.

– Скорняков Михайло Васильич с хозяйкой обещались, кум Иван Григорыич с Груней, Данило Тихоныч с сыном, Снежков прозывается.

– Не знаю такого. Что за Снежков? – сказала Аксинья Захаровна.

– Не знала, так узнаешь, – молвил Патап Максимыч. – Приятель мой, дружище, одно дельце с ним заведено: подай, Господи, хорошего совершенья.

– Откуда сам-то?

– Самарский... Мужик богатый: свои гурты из степи гоняет, салотопленный завод у него в Самаре большущий, в Питер сало поставляет. Капиталу сто четыре тысячи целковых, а не то и больше; купец, с медалью; хороший человек. Сегодня вместе и вечерню стояли.

– Так он из наших, из христиан? – спросила Аксинья Захаровна.

– Известно. Чужого разве пустил бы Михаил Петрович на освящение воды. Старинные старообрядцы: и деды и прадеды жили по древнему благочестию... С сыном Данило Тихоныч приедет; сын – парень умный, из себя видный, двадцать другой год только пошел, а отцу уж помощь большая. Вот и теперь посылает его в Питер по салу, недели через две воротится, как раз к твоим именинам. Хорошенько надо изготавиться; не ударь лицом в грязь на угощение. Ну-ка, девки-грамотейницы, книжные келейницы, смекните, в какой день материны именины придутся? В скоромный аль в постный?

– Хоть в среду, да на сплошной, – ответила Настя.

– Ну, и ладно. Мясным, стало быть, потчевать станем. А рыбки все-таки надо подать. Без рыбы нельзя. Из скитов ждешь кого?

– Матушка Манефа обещалась, – ответила Аксинья Захаровна.

– Значит, и мясное надо и рыбное. Стряпка одна не управится? Пошли в Ключову за Никитишной, знатно стряпает, что твой московский трактир. Подруги, чай, тоже приедут из Комарова к девкам-то?

– Марья Гавриловна обещалась, – сказала Аксинья Захаровна, – да еще Фленушка.

– Эту бы, пожалуй, и не надо. Больно озорна.

– Ах, тятенька, что это ты? Фленушка девица во всем самая распрекрасная, – вступилась за приятельницу Настя.

– Ладно, знаем и мы что-нибудь, – молвил Патап Максимыч. – Слухом земля полнится.

– Полно, батюшко, постыдись, – вступилась Аксинья Захаровна. – Про Фленушку ничего худого не слышно. Да и стала бы разве матушка Манефа с недоброй славой ее в такой любви, в таком приближении держать? Мало ль чего не мелют пустые языки! Всех речей не переслушаешь; а тебе, старому человеку, девицу обижать грех: у самого дочери растут.

– Да я ничего, – молвил Патап Максимыч. – Пусть ее приезжает. Только уж, спорь ты, Аксинья, не спорь, а келейницей Фленушка не глядит.

– А по-твоему, девицам бирюком надо глядеть, слова ни с кем не сметь вымолвить? Чай, ведь и они тоже живые, не деревянные, – вступилась Аксинья Захаровна.

– Ну, ты уж зачнешь, – сказал Патап Максимыч. – Дай только волю. Лучше б еще по чашечке налила.

– Кушай, батюшка, на здоровье, кушай, воды в самоваре много. Свеженького не засыпать ли? – молвила Аксинья Захаровна.

– Засыпь, пожалуй, – сказал Патап Максимыч. – А к именинам надо будет в городе цветочного взять, рублей этак от шести. Важный чай!

– От ярмарки шестирублевого-то осталось, – сказала Аксинья Захаровна.

– Свежего купим. Гости хорошие, надо, чтоб все по гостям было. Таковы у нас с тобой, Аксинья, будут гости, что не токмо цветочного чаю, детища родного для них не пожалею. Любую девку отдам! Вот оно как!

Девушки переглянулись меж собой и с матерью. Канонница глаза потупила.

– Уж что ни скажешь ты, Максимыч, – сказала Аксинья Захаровна. – Про родных дочерей неподобные слова говоришь! Бога-то побоялся бы да людей постыдился бы.

– Что сказал, то и сделаю, когда захочу, – решительно молвил Патап Максимыч. – Перечить мне не смеет никто.

Настя, ласкаясь к отцу, с притворным смехом спросила:

– Что ж ты с нами поделаешь, тятенька?

– Тебя ожарить велю, – сказал, смеясь, Патап Максимыч, – а Параша тебя пожирней, ее во щи. И стану вами гостей угощать!

– Пожалеешь, тятенька, не изжаришь.

– А вот увидишь.

– Полно-ка вам вздор-от молоть, – принимаясь убирать чайную посуду, сказала Аксинья Захаровна. – Не пора ль начинать утрению? Ты бы, Евпраксеюшка, зажигала покаместь свечи в моленной-то. А вы, девицы, ступайте-ка помогите ей.

Канонница с хозяйскими дочерьми вышла. Аксинья Захаровна мыла и прибирала чашки. Патап Максимыч зачал ходить взад и вперед по горнице, заложив руки за спину.

– Братец-от любезный, Никифор-от Захарыч, опять в наших местах объявился, – сказал он вполголоса.

– Объявился, батюшка Патап Максимыч, точно что объявился, – горьким голосом ответила Аксинья Захаровна. – Слышала я давеча под окнами голос его непутный... Ох, грехи, грехи мои!.. – продолжала она, вскидывая на мужа полные слезами глаза.

– Песнями у ворот меня встретил, – молвил Патап Максимыч. – Кому сочельник, а ему все еще Святки.

– И не говори, батюшка!.. Что мне с ним делать-то?.. Ума не приложу... Не брат, а враг он мне... Век бы его не видала. Околел бы где-нибудь, прости Господи, под оврагом.

– Пустого не мели, – отрезал Патап Максимыч. – Мало пути в Никифоре, а пожалуй, и вовсе нет, да все же тебе брат. Своя кровь – из роду не выкинешь.

– Ох, уж эта родня!.. Одна сухота, – плачущим голосом говорила Аксинья Захаровна. – Навязался мне на шею!.. Одна остуда в доме. Хоть бы ты его хорошенько поначалил, Максимыч.

– Не учил отец смолоду, зятю не научить, как в коломенску версту он вытянулся, – сказал на то Патап Максимыч. – Мало я возился с ним? Ну, да что поминать про старое? Приглядывать только надо, опять бы чего в кабак со двора не стащил.

– Батюшка ты мой!.. Сама буду глядеть и работникам закажу, чтоб глядели, – вопила Аксинья Захаровна. – А уж лучше бы, кормилец, заказал ты ему путь к нашему дому. Иди, мол, откуда пришел.

– Не дело говоришь, Захаровна. Велик перед Богом грех родного человека из дома выгнать, – молвил Патап Максимыч. – От людей зазорно, роду-племени покор! У добрых людей так не водится. Слава Богу, нас не обьест. Лишь бы не дурил да хмельным делом поменьше зашибался. Парень он не дурак, руки золотые, рыло-то, на беду, погано. По нашим местам, думаю я, Никифору в жизнь не справиться, славы много; одно то, что «волком» был; все знают его вдоль и поперек, ни от кого веры нет ему на полушку. А вот послушай-ка, Аксинья, что я вздумал: сегодня у меня на базаре дельце выгорело – пшеницу на Низу в годы беру, землю то есть казенную на сроки хочу нанимать. Старые приятели Зубковы сняли на годы в Узеньях казенны земли, пшеницу сеять. Набрали дела через силу; хочу я у них хутора два годов на шесть взять. По весне, пожалуй, самому сплыть туда придется, осмотреть все, хозяйство завести. Кого приказчиком послать – придумано. У того приказчика на другом хуторе будет ему подначальный. И пало мне на ум: в подначальные-то Никифора. От того хутора, где думаю посадить его, кабака кругом верст на сорок нет. А Никифор, как не пьет, золото. Так я и решил его – в Узени. Что скажешь на это?

– Что тебе, Максимыч, слушать глупые речи мои? – молвила на то Аксинья Захаровна. – Ты голова. Знаю, что ради меня, не ради его, непутного, Микешку жалеешь. Да сколь же еще из-за него, паскудного, мне слез принимать, глядя на твои к нему милости? Ничто ему, пьянице, ни в прок, ни в толк нейдет. Совсем, отятой, сбился с пути. Ох, Патапушка, голубчик ты мой, кормилец ты наш, не кори за Микешку меня, горемычную. Возрадовалась бы я, во гробу его видючи в белом саване...

– Нишкни. Пустых речей не умножай. Грех! Кто тебя, глупую, корит? – так заговорил Патап Максимыч. – Эх, Аксинья, Аксиныюшка! Не знаешь разве, что за брата сестра не ответчица?.. Хоть и пьяница Никифор, хоть и вором приличился, хоть «волком» по деревням водили его, все же он тебе брат. Что ни делай, из родни не выкинешь. Значит, не чужу остуду на

себя беру, своего рода сухоту на плеча кладу. Лишнего толковать нечего, пошлем его в Узени. Все хорошей рукой облажу; и толковать про то больше не станем... А тебе, Аксиньюшка, вот какое еще слово молвлю: не даром девкам-то загадку загнул, что ради гостя дорогого любой из них не пожалею. С Данилой Тихонычем Снежковым мы совсем, почитай, решили.

– Что решили? – спросила Аксинья Захаровна, пристально глядя на мужа.

Он остановился перед ней у стола и сказал:

– Насчет судьбы Настиной.

У Аксиньи руки опустились. Жаль ей было расставаться с дочерьми, и не раз говаривала она мужу, что Настя с Парашей не перестарки, годика три-четыре могут еще в девках посидеть.

– Не раненько ли задумал, Максимыч? – сказала. – Надоела, что ль, тебе Настасья али объела нас?

– Пустого не говори, а что не рано я дело задумал, так помни, что девке пошел девятнадцатый, – сказал Патап Максимыч.

– Пожалей ты ее, голубушку! – молвила Аксинья Захаровна.

– Чего жалеть-то! Худа, что ли, отец ей хочет? – резко и громко сказал Патап Максимыч. – Слушай: у Данилы Тихоныча четыреста тысяч на серебро капитала, опричь домов, заводов и пароходов. Два сына у него да три ли, четыре ли дочери, две-то замужем за казанскими купцами, за богатыми. Старшему сыну Михайле Данилычу, жениху-то, отец капитал отделяет и дом дает, хочешь с отцом живи, хочешь свое хозяйство правь. Стало быть, Настасье ни све-крови со свекром, ни золовок с деверями бояться нечего. Захочет, сама себе хозяйкой заживет. А Михайло Данилыч – парень добрый, рассудливый, смывленный, хмелем не зашибается, худо-жеств никаких за ним нет. А из себя видный, шадровит маленько, оспа побила, да с мужнина лица Настасье воду не пить; муж-от приглядится, Бог даст, как поживет с ним годик-другой...

– Ох, батюшка, Патап Максимыч, повремени хоть маленько, – твердила свое Аксинья Захаровна. – Скорбно мне расставаться с Настенкой. Повремени, кормилец!

– И повременю, – молвил Патап Максимыч. – В нынешнем мясоеде свадьбы сыграть не успеть, а с весны во все лето, до осенней Казанской, Снежковым некогда да и мне недосуг. Раньше Михайлова дня свадьбы сыграть нельзя, а это чуть не через год.

– Так зачем же сговором-то торопиться? Время бы не ушло, – сказала Аксинья Захаровна.

– Кто тебе про сговор сказал? – ответил Патап Максимыч. – И на разум мне того не приходило. Приедут гости к имениннице – вот и все. Ни смотрин, ни сговора не будет; и про то, чтоб невесту пропить, не будет речи. Поглядят друг на дружку, повидаются, поговорят кой о чем и ознакомятся, оно все-таки лучше. Ты покаместь Настасье ничего не говори.

Узнав, что не близка разлука с дочерью, Аксинья Захаровна успокоилась и, прибрав чайную посуду, пошла в моленную утреню слушать.

Патап Максимыч взял счеты и долго клал на них.

«Работников пятнадцать надо принанять, а то не управишься», – подумал он, кладя на полку счеты.

Потом взял свечу и пошел на заднюю половину Богу молиться. Едва вышел в сени, повалился ему в ноги какой-то человек.

– Не оставь ты меня, паскудного, отеческой своей милостью, батюшка ты мой, Патап Максимыч!.. Как Бог, так и ты – дай теплый угол, дай кусок хлеба!.. – так говорил тот человек хриплым голосом.

Он был в оборванной шубенке, в истоптанных валенках, голова всклокочена.

– Встань, Никифор, встань! Полно валяться, – строго сказал ему Патап Максимыч.

Никифор поднялся. Красное от пьянства лицо было все в синяках.

– Где, непутный, шатался? – спросил Чапурин.

– Где ночь, где день, батюшка Патап Максимыч, и сам не помню, – отвечал Никифор.

– Ах ты, непутный, непутный! – качая головой, укорял шурина Патап Максимыч. – Гляди-ка, рожу-то тебе как отделали!.. Ступай, проспись... Из дому не гоню с уговором: брось ты, пустой человек, это проклятое винище, будь ты хорошим человеком.

– Кину, батюшка Патап Максимыч, кину, беспременно кину, – стал уверять зятя Никифор. – Зарок дам... Не оставь только меня своей милостью. Чего ведь я не натерпелся – и холодно... и голодно...

– Ладно, хорошо. Ступай покаместь в подклет, проспись хорошенько, завтра приходи – потолкуем. Может статься, пригодишься, – молвил Чапурин.

– Рад тебе по гроб жизни служить, кормилец ты мой!.. – заплакал Никифор. – Только вот – сестра лиходейка... Заест меня...

– Ну, ступай, ступай – проспись... Да ступай же!.. – прикрикнул Патап Максимыч, заметив, что Никифор и не думает выходить из сеней.

Мыча что-то под нос, слегка покачиваясь, пошел Никифор в подклет, а Патап Максимыч – в моленну к богоявленской заутрене. За ним туда же пошли жившие у него работники и работницы, потом старики со старухами, да из молодых богомольные. Сошлись они из Осиповки и соседних деревень. Чапурин на большие праздники пускал себе в моленну и посторонних. На то он попечитель городецкой часовни, значит ревнитель. Когда собрались богомольцы и канонница, замолитвовав, стали с хозяйскими дочерьми править по «Минее» утрению, Аксиныя Захаровна торопливо вышла из моленной и в сенях, подозвав дюжего работника, старика Пантелея, что смотрел за двором и за всеми живущими по найму, тревожно спросила его:

– Запер ли, Пантелеюшка, ворота-то? Поставил ли на задах караульных-то?

– Не беспокойся, матушка Аксиныя Захаровна, – отвечал Пантелей. – Все сделано, как следует, – не впервые. Слава те, Господи, пятнадцать лет живу у вашей милости, порядки знаю. Да и бояться теперь, матушка, нечего. Кто посмеет тревожить хозяина, коли сам губернатор знает его?

– Не говори, Пантелеюшка, – возразила Аксиныя Захаровна. – «Не надейся на князи и сыны человеческие». Беспременно надо сторожким быть... Долго ль до греха?.. Ну, как нас на службе-то накроют... Суды пойдут, расходы. Сохрани, Господь, и помилуй.

– Ничего такого статься не может, Аксиныя Захаровна, – успокаивал ее Пантелей. – Никакого вреда не будет. Сама посуди: кто накроет?.. Исправник аль становой?.. Свои люди. Невыгодно им, матушка, трогать Патапа Максимыча.

– Нет, Пантелеюшка, не говори этого, родимой, – возразила хозяйка и, понизив голос, за тайну стала передавать ему: – Свибловский поп, приходский-то здешний, Сушилу знаешь? – больно стал злобствовать на Патапа Максимыча. Беспременно, говорит, накрою Чапурина в моленной на службе, ноне-де староверам воля отошла: поеду, говорит, в город и докажу, что у Чапуриных в деревне Осиповке моленна, посторонни люди в нее на богомолье сходятся. Накроют-де, потачки не дадут. Пускай, дескать, Чапурин поминает шелковый сарафан да парчовый холодник!

– Какой сарафан, какой холодник? – спросил Пантелей.

– А видишь ли, Пантелеюшка, – отвечала хозяйка, – прошлым летом Патап Максимыч к Макарью на ярманку ехал, и попадись ему поп Сушила на дороге. Слово за слово, говорит поп Максимычу: «Едешь ты, говорит, к Макарью – привези моей попадье шелковый, гарнитуровый сарафан да хороший парчовый холодник». А хозяин и ответь ему: «Не жирно ли, батька, будет? Тебе и то с меня немало идет уговорного; со всего прихода столько тебе не набрать». Осерчал Сушила, пригрозил хозяину: «Помни, говорит, ты это слово, Патап Максимыч, а я его не забуду, – такое дело состряпаю, что бархатный салоп на собольем меху станешь дарить попадье, да уж поздно будет, не возьму». С той поры он и злобится. «Беспременно, говорит, накрою на моление Чапуриных. В острог засажу», говорит.

– В острог-от не засадит, – с усмешкой молвил Пантелей, – а покрепче приглядывать не мешает. Поэтому – может напугать, помешать... Пойду-ка я двоих на задах-то поставлю.

– Ступай, Пантелеюшка, поставь двоих, а не то и троих, голубчик, вернее будет, – говорила Аксинья Захаровна. – А наш-от хозяин больно уж бесстрашен. Смеется над Сушилой да над сарафаном с холодником. А долго ль до греха? Сам посуди. Захочет Сушила, проймет не мытьем, так катаньем!

– Это так. Это от него может статья, – заметил Пантелей и, направляясь к лестнице, молвил: – Троих поставлю.

– Поставь, поставь, Пантелеюшка, – подтвердила Аксинья Захаровна и медленную поступью пошла в моленную.

Тревога была напрасна. Помолвились за утреней как следует и часы, не расходясь, прочитали. Патап Максимыч много доволен остался пением дочерей и потом чуть не целый день заставлял их петь тропари Богоявлению.

Глава третья

Верстах в пяти от Осиповки, среди болот и перелесков, стоит маленькая, дворов в десяток, деревушка Поромово. Проживал там удельный крестьянин Трифон Михайлов, прозвищем Лохматый. Исправный мужик был: промысел шел у него ладно, залежные деньжонки водились. По другим местам за богатея пошел бы, но за Волгой много таких.

Было у Трифона двое сыновей, один работник матерый, другой только что вышел из подростков, дочерей две девки. Хоть разумом те девки от других и отстали, хоть болтали про них непригожие речи, однако ж они не последними невестами считались. В любой дом с радостью б взяли таких спорых, проворных работниц. Девки молодые, сильные, здоровенные: на жнитве, на сенокосе, в токарне, на овине, аль в избе за гребнем, либо за тканьем, дело у них так и горит: одна за двух работает. Лохматый замуж девок отдавать не торопился, самому нужны были. «Не перестарки, – думал он, – пусть год, другой за родительский хлеб на свою семью работают. Успеют в чужих семьях нажиться».

Старший сын Трифона, звали Алексеем, парень был лет двадцати с небольшим, слыл за первого искусника по токарной части. И красавец был из себя. Роста чуть не с косую сажень, стоит, бывало, среди мужиков на базаре, всех выше головой; здоровый, белолицый, румянец во всю щеку так и горит, а кудрявые темно-русые волосы так и выются. Таким молодцом смотрел, что не только крестьянские девки, поповны на него заглядывались. Да что поповны! Была у станового свояченица, и та по Алеше Лохматом встосковалась... Да так встосковалась, что любовную записочку к нему написала. Ту записку становой перехватил, свояченицу до греха в другой уезд к тетке отправил, а Трифону грозил:

– Быть твоему Алешке под красной шапкой, не миновать, подлецу, бритого лба.

– Да за что ж это, ваше благородие? – спросил Трифон Лохматый. – Кажись, за сыном дурных дел не видится.

– Хоть дурных дел не видится, да не по себе он дерево клонит, – говорил становой.

Не разгадал Трифон загадки, а становой больше и говорить не стал. И злобился после того на Лохматых, и быть бы худу, да по скорости его под суд уехали.

Бывало, по осени, как супрядки начнутся, деревенские девки ждут не дождутся Алешу Лохматого; без него и песен не играют, без него и веселья нет. И умен же Алеша был, рассудлив не по годам, каждое дело по крестьянству не хуже стариков мог рассудить, к тому же грамотой Господь его умудрил. Хоть за Волгой грамотеи издавна не в диковину, но таких, как Алексей Лохматый, и там водится немного: опричь Божественных книг, читал гражданские и до них большой был охотник. Деньгу любил, а любил ее потому, что хотелось в довольстве, в богат-

стве, во всем изобилие пожить, славы, почета хотелось... Не говаривал он про то ни отцу с матерью, ни другу-приятелю; один с собой думу такую держал.

Жил старый Трифон Лохматый да Бога благодарил. Тихо жил, смирно, с соседями в любви да в совете; добрая слава шла про него далеко. Обиды от Лохматого никто не видал, каждому человеку он по силе своей рад был сделать добро. Пуще всего не любил мирских пересудов. Терпеть не мог, как иной раз дочери, набравшись вестей на супрядках аль у колодца, зачнут языками косточки кому-нибудь перемывать.

– Расшумелись, как воробьи к дождю! – крикнет, бывало, на них. – Люди врут, а вы вранье разносить?.. Потараторьте-ка еще у меня, сороки, сниму плетъ с колка, научу уму-разуму.

Девки ни гугу. И никогда, бывало, ни единой сплетни или пересудов из Трифиновой избы не выносилось.

Без горя, без напасти человеку века не прожить. И над Трифоном Лохматым сбылось то слово, стряслась и над ним беда, налетела напасть неожиданно, нежданно. На самое Вздвиженье токарня у него сгорела с готовой посудой ста на два рублей. Работали в токарне до сумерек, огня и в заводах не было. В самую полночь вспыхнула. Стояла токарня на речке, в полуверсте от деревни, – покуда проснулись, покуда прибежали – вся в огне. В одно слово решили мужики, что лихой человек Трифону красного петуха пустил. Долго Лохматый умом-разумом по миру раскидывал, долго гадал, кто бы таков был лиходей, что его обездолил. Никого, кажись, Трифон не прогневал, со всеми жил в ладу да в добром совете, а токарню подпалили. Гадал, гадал Трифон Михайлыч, не надумал ни на кого и гадать перестал.

– Подавай становому объявление, – говорил ему удельного приказа писарь Карп Алексеич Морковкин. – Произведут следствие, сыщут злодея.

Ни слова Трифон не молвил в ответ писарю. На миру потом такую речь говорил:

– Ни за что на свете не подам объявления, ни за что на свете не наведу суда на деревню. Суд наедет, не одну мою копейку потянет, а миру и без того туго приходится. Лучше ж я как-нибудь, с Божьей помощью, перебыюсь. Сколочусь по времени с деньжонками, нову токарню поставлю. А злодея, что меня обездолил, – суди Бог на страшном Христовом судилище.

Любовно принял мир слово Трифиново. Урядили, положили старики, если объявится лиходей, что у Лохматого токарню спалил, потачки ему, вору, не давать: из лет не вышел – в рекруты, вышел из лет – в Сибирь на поселенье. Так старики порешили.

С одной бедой трудовому человеку не больно хитро справиться. Одну беду заспать можно, можно и с хлебом съесть! Но беда не живет одна. Так и с Лохматым случилось. С самого пожара пошел ходить по бедам: на Покров пару лошадей угнали, на Казанскую воры в клеть залезли. Разбили злодеи укладку у Трифона, хорошу одежду всю выкрали, все годами припасенное дочерям приданое да триста целковых наличными, на которые думал Трифон к весне токарню поставить. Обобрали беднягу, как малинку, согнуло горе старика, не глядел бы на вольный свет, бежал бы куда из дому: жена воет не своим голосом, убивается; дочери режут, причитают над покраденными сарафанами, ровно по покойникам. Сыновья как ночь ходят. Что делать, как беде пособить? Денег нет, перехватить разве у кого-нибудь? Но Трифон в жизнь свою ни у кого не займовал, знал, что деньги занять – остуду принять.

– Прихвати, Михайлыч, сколько ни на есть деньжонок, – говорила жена его, Фекла, баба тихая, смиренная, внезапным горем совсем почти убитая. – И токарню ведь надо ставить, и без лошадок нельзя...

– Рад бы прихватить, Абрамовна, да негде прихватить-то; ни у которого человека теперь денег для чужого кошель не найдешь. Хоть проси, хоть нет – все едино.

– Да вот хотя у писаря, у него деньги завсегда водятся, – подхватила Фекла, – покутиться бы тебе у Карла Алексеича. Даст.

Молчит Трифон, лучину щепает; Фекла свое.

– Что ж, Михайлыч? Заем дело вольное, любовное: бесчестья тут никакого нет, а нам, сам ты знаешь, без токарни да без лошадок не прожить. Подь поклоняйся писарю, – говорила Фекла мужу, утирая рукавом слезы.

– Не пойду, – отрывисто, с сердцем молвил Трифон и нахмурился. – И не говори ты мне, старуха, про этого мироеда, – прибавил он, возвысив голос, – не вороти ты душу мою... От него, от паскудного, весь мир сохнет. Знаться с писарями мне не рука.

– Да что же не знаться-то?.. Что ты за тысячник такой?.. Ишь гордыня какая налезла, – говорила Фекла. – Чем Карп Алексеич не человек? И денег вволю, и начальство его знает. Глянь-ка на него, человек молодой, мирским захребетником был, а теперь перед ним всяк шапку ломит.

– Ну и пусть их ломают, а я, сказано, не пойду, так и не пойду, – молвил Трифон Лохматый.

– А я что говорила тебе, то и теперь скажу, – продолжала Фекла. – Как бы вот не горе-то наше великое, как бы не наше разоренье-то, он бы сватов к Параньке заслал. Давно про нее заговаривал. А теперь, знамо дело, бесприданница, побрезгует...

Прасковья, старшая дочь Трифона, залилась слезами и стала причитать.

– Плети захотела? – крикнул отец.

Смолкла Прасковья, оглядываясь и будто говоря: «Да ведь я так, я, пожалуй, и не стану реветь». Вспомнила, что корову доить пора, и пошла из избы, а меньшая сестра следом за ней. Фекла ни гугу, перемывает у печи горшки да Иисову молитву творит.

Нащепав лучины, обратился Трифон к старшему сыну, что во все время родительской перебранки молча в углу сидел, оттачивая токарный снаряд.

– Алеха! Неча, парень, делать, надо в чужи люди идти, в работники. Сказывают, Патап Максимыч Чапурин большой подряд на посуду снял. Самому, слышь, управиться сила не берет, так он токарей приискивает. Порядися с ним на лето аль до зимнего Николы. Десятков пять, шесть, Бог даст, заработаешь, к тому ж и с харчей долой. У Чапурина можно и вперед денег взять, не откажет; на эти деньги токарню по весне справили бы, на первое время хоть не больно мудрящую. А Саввушку, думаю я, Фекла, в Хвостиково послать, он мастер ложкарить. Заработает сколько-нибудь. А сами, Бог милостив, как-нибудь перебьемся.

– Я, батюшка, всей душой рад послужить, за твою родительскую хлеб-соль заработать, сколько силы да уменья хватит, и дома радехонек и на стороне – где прикажешь, – сказал красавец Алексей.

– Спасибо, парень. Руки у тебя золотые, добывай отцу, – молвил Трифон. – Саввушка, а Саввушка! – крикнул он, отворив дверь в сени, где младший сын резал из баклуш ложки.

– Чего, тятенька? – весело потряхнув кудрями, спросил красивый подросток, лет пятнадцати, входя в избу.

– Избным теплом, сидя возле материна сарафана, умен не будешь, Саввушка. Знаешь ты это? – спросил его отец.

– Знаю, – бойко ответил Саввушка, вопросительно глядя на отца.

– Поживя в чужих людях, умнее будешь. Так али нет?

– Ты, тятя, лучше меня знаешь, – отвечал Саввушка, ясно и любовно глядя на отца.

Бросила горшки свои Фекла; села на лавку и, ухватясь руками за колена, вся вытянулась вперед, зорко глядя на сыновей. И вдруг стала такая бледная, что краше во гроб кладут. Чужим теплом Трифоновы дети не грелись, чужого куска не едали, родительского дома отродясь не покидали. И никогда у отца с матерью на мысли того не бывало, чтобы когда-нибудь их сыновьям довелось на чужой стороне хлеб добывать. Горько бедной Фекле. Глядела, глядела старуха на своих сокольников и заревела в источный голос.

– Чего завыва? Не покойников провожаешь! – сердито попрекнул ей Трифон, но в суровых словах его слышалось что-то плачевное, горестное. А не задать бабе окрику нельзя; не плакать же мужику, не бабиться. – Фекла, – сказал Трифон жене поласковой, – подь-ка, помолись!

И Фекла покорно пошла в заднюю, где была у них небольшая моленна. Взявши в руку лестовку, стала за налой. Читая канон Богородице, хотелось ей забыть новое, самое тяжкое из всех постигших ее, горе.

– Уж вы порадейте, ребятки, пособи́те отцу, – говорил Трифон. – Пустил ли бы я вас в чужие люди, как бы не беда наша, не последнее дому разоренье? Уж вы порадейте. А живите в людях умненько, не балуйте, работайте путем. Не знаю, как в Хвостикове у ложкарей, Саввушка, а у Чапурина в Осиповке такое заведение, что, если который работник, кроме положенной работы, лишков наработает, за те лишки особая плата ему сверх ряженой. Чапурин – человек добрый, обиды никому не сделает. Служи ему, Алексей, как родному отцу; он тебя и впредь не покинет. Порадей же хорошенько, Алексеюшка, постарайся побольше денег заработать. Справиться бы нам поскорей! Тебе же подходит пора и закон совершить, так надо тебе, Алексей, об отце с матерью порадеть.

Долго толковал Трифон с сыновьями, как им работу искать. Порешили Алексею завтра ж идти в Осиповку рядиться к Патапу Максимычу, а в среду, как на соседний базар хвостиковские ложкари приедут, порядить и Саввушку.

Спать улеглись, а Фекла все еще клала в моленной земные поклоны. Кончив молитву, вошла она в избу и стала на колени у лавки, где, разметавшись, крепким сном спал любимец ее, Саввушка. Бережно взяла она в руки сыновнюю голову, припала к ней и долго, чуть слышно, рыдала.

Рано поутру, еще до свету, на другой день Алексей собрался в Осиповку. Это было как раз через неделю после Крещения. Помолившись со всею семьей Богу, простившись с отцом, с матерью, с братом и сестрами, пошел он рядиться. К вечеру надо было ему назад к отцу в Поромово прийти повестить, на чем в ряде сошлись. Был слух, что Чапурин цены дает хорошие, что дело у него наспех, сам-де не знает, успеет ли к сроку заподряженный товар поставить. Все работники, что были по околотку, нанялись уж к нему; кроме того, много работы роздано было по домам, и задатки розданы хорошие.

Светало, когда Алексей, напутствуемый наставлениями отца и тихим плачем матери, пошел из дому. Выйдя за ворота, перекрестился он на все стороны и, поникнув головой, пошел по узенькой дорожке, проложенной меж сугробов. Не легко человеку впервые оставлять теплое семейное гнездо, идти в чужие люди хлеб зарабатывать. Много было передумано Алексеем во время медленного пути. Думал он, что-то ждет его в чужом дому, ласковы ль будут хозяева, каковы-то будут до него товарищи, не было б от кого обиды какой, не нажить бы ему чьей злобы своей простотой; чужбина ведь неподатлива – ума прибавит, да и горя набавит.

Патап Максимыч выходил из токарного завода, что стоял через улицу от дома за амбарами, когда из-за околицы показался Алексей Лохматый. Не доходя шагов десяти, снял он шапку и низко поклонился тысячнику. Чапурин окликал его:

– Здорово, парень! Куда Бог несет?

– До вашей милости, Патап Максимыч, – не надевая шапки, отвечал Алексей.

– Что надо, парень? Да ты шапку-то надевай, студено. Да пойдем-ка лучше в избу, там потеплей будет нам разговаривать. Скажи-ка, родной, как отец-от у вас справляется? Слышал я про ваши беды; жалко мне вас... Шутка ли, как злодеи-то вас обидели!..

– В разор разорили, Патап Максимыч, совсем доконали. Как есть совсем, – отвечал Алексей.

– Богу надо молиться, дружок, да рук не покладывать, и Господь все сызнова пошлет, – сказал Патап Максимыч. – Ты ведь, слышал я, грамотей, книгочей.

– Читаем помаленьку, – молвил Алексей.

– А чел ли ты книгу про Иева многострадального, про того, что на гноищи лежал? Побогаче твоего отца был, да всего лишился. И на Бога не возроптал. Не возроптал, – прибавил Патап Максимыч, возвыся голос.

– Это я знаю, читал, – отвечал Алексей. – Зачем на Бога роптать, Патап Максимыч? Это не годится; Бог лучше знает, чему надо быть; любя нас наказует...

– Это ты хорошо говоришь, дружок, по-Божьему, – ласково взяв Алексея за плечо, сказал Патап Максимыч. – Господь пошлет; поминай чаще Иева на гноищи. Да... все имел, всего лишился, а на Бога не возроптал; за то и подал ему Бог больше прежнего. Так и ваше дело – на Бога не ропщите, рук не жалейте да с Богом работайте, Господь не оставит вас – пошлет больше прежнего.

Разговаривая таким образом, Патап Максимыч вошел с Алексеем в подклет; там сильно олифой пахло: крашеная посуда в печи сидела для просухи.

– По каким делам ко мне пришел? – спросил Патап Максимыч, скидая тулуп и обтирая сапоги о брошенную у порога рогожку.

– Слышно, ваша милость работников наймете... – робким голосом молвил Алексей.

– Наймем. Работники мне нужны, – сказал Патап Максимыч.

– Так я бы...

Патап Максимыч улыбнулся.

Самый первый токарь, которым весь околоток не нахвалится, пришел наниматься незваный, непрощенный!.. Не раз подумывал Чапурин спсылать в Поромово к старику Лохматому – не отпустит ли он, при бедовых делах, старшего сына в работу, да все отдумывал... «Ну, а как не пустит, да еще после насмеется, ведь он, говорят, мужик крутой и заносливый...» Привыкнув жить в славе и почете, боялся Патап Максимыч посмеиху от какого ни на есть мужика.

– В работники хочешь? – сказал он Алексею. – Что же? Милости просим. Про тебя слава идет добрая, да и сам я знаю работу твою: знаю, что руки у тебя золото... Да что ж это, парень? Неужели у вас до того дошло, что отец тебя в чужи люди посылает? Ведь ты говоришь, отец прислал. Не своей волей ты рядиться пришел?

– Как же можно без родительской воли, Патап Максимыч? Этого никак нельзя, – сказал Алексей.

– Так сами-то вы разве уж и подняться не можете?

– Не можем, Патап Максимыч; совсем злые люди нас обездолили; надо будет с годок в людях поработать, – отвечал Алексей. – Родители и меньшого брата к ложкарям посылают; знатно режет ложки; всякую, какую хошь, и касатую, и тонкую, и боскую, и межеумок, и крестовую режет. К пальме даже приучен – вот как бы хозяин ему такой достался, чтобы пальму точить...

– Доброе дело, – перебил Алексея Патап Максимыч. – Да ты про себя-то говори. Как же ты?

– Да как вашей милости будет угодно, – отвечал Алексей. – Я бы до Михайлова дня, а коли милость будет, так до Николы...

– До Николы так до Николы. До зимнего, значит? – сказал Патап Максимыч.

– Известно, до зимнего, – подтвердил Алексей.

– А насчет ряды, как думаешь? – спросил Чапурин.

– Да уж это как вашей милости будет угодно, – сказал Алексей. – По вашей добродетели бедного человека вы не обидите, а я рад стараться, сколько силы хватит.

Такое слово любо было Патапу Максимычу. Он назначил Алексею хорошую плату и больше половины выдал вперед, чтобы можно было Лохматым помаленьку справиться по хозяйству.

– Молви отцу, – говорил он, давая деньги, – коли нужно ему на обзаведенье, шел бы ко мне – сотню другу-третью с радостью дам. Разживетесь, отдадите, аль по времени ты заработаешь. Ну, а когда же работать начнешь у меня?

– Да по мне хоть завтра же, Патап Максимыч, – отвечал Алексей. – Сегодня домой схожу, деньги снесу, в бане выпарюсь, а завтра с утра к вашей милости.

– Ну, ладно, хорошо. Приходи...

Алексей хотел идти из подклета, как дверь широко распахнулась и вошла Настя. В голубом ситцевом сарафане с белыми рукавами и широким белым передником, с алым шелковым платочком на голове, пышная, красивая, стала она у двери и, взглянув на красавца Алексея, потупилась.

– Тятенька, самовар принесли, – сказала отцу.

И голос у нее оборвался.

– Ладно, – молвил Патап Максимыч. – Так завтра приходи. Как, бишь, звать-то тебя? Алексеем, никак?

– Так точно, Патап Максимыч.

– Молви отцу-то, Алексеюшка, – нужны деньги, приходил бы. Рад помочь в нужде.

Помолился Алексей, поклонился хозяину, потом Насте и пошел из подклета. Отдавая поклон, Настя зарделась как маков цвет. Идя в верхние горницы, она, перебирая передник и потупив глаза, вполголоса спросила отца, что это за человек такой был у него?

– В работники нанялся, – равнодушно ответил отец.

Возвращаясь в Поромово, не о том думал Алексей, как обрадует отца с матерью, принеся неожиданные деньги и сказав про обещанье Чапурина дать взаймы рублей триста на разживу, не о том мыслил, что завтра придется ему прощаться с домом родительским. Настя мерещилась. Одно он думал, одно передумывал, шагая крупными шагами по узенькой снежной дорожке: «Зародилась же на свете такая красота!»

Глава четвертая

К именинам Аксины Захаровны приехала в Осиповку золовка ее, комаровская игуменья, мать Манефа. Привезла она с собою двух послушниц: Фленушку да Анафролию. Марья Гавриловна, купеческая вдова из богатого московского дома, своим коштом жившая в Манефиной обители и всеми уважаемая за богатство и строгую жизнь, не поехала в гости к Чапуриным. Это немного смутило Патапа Максимыча; приятнью Марьи Гавриловны он дорожил, родственники ее люди были первостатейные, лестно было ему знакомство их. И по торговле имел с ними дела.

Молодая, красивая, живая как огонь Фленушка, приятельница дочерей Патапа Максимыча, была девица-белоручка, любимица игуменьи, обительская баловница. Она выросла в обители, будучи отдана туда ребенком. Выучилась в скиту Фленушка грамоте, рукодельям, церковной службе, и хоть ничем не похожа была на монахиню, а приводилось ей, безродной сироте, век оставаться в обители. Из скитов замуж въявь не выходят – позором было бы это на обитель, но свадьбы «уходом» и там порой-временем случаются. Слюбится с молодцом белица, выдаст ему свою одежду и убежит венчаться в православную церковь: раскольниковый поп такую чету ни за что не повенчает. Матери засуетятся, забегают, погони разошлют, но дело поправить нельзя. Посердятся на беглянку с полгода, иногда и целый год, а после смирятся. Беглянка после мировой почасту гостит в обители, живет там, как в родной семье, получает от матерей вспоможение, дочерей отдает к ним же на воспитание, а если овдовеет, воротится на старое пепелище, в старицы пострижется и станет век свой доживать в обители. Таких примеров много было, и Фленушка, поминая эти примеры, думала было обвенчаться «уходом» с молодым казанским купчиком Петрушей Самоквасовым, но матушки Манефы было жалко ей – убило бы это ее воспитательницу...

Другая послушница, привезенная Манефой в Осиповку, Анафролия, была простая крестьянская девка. В келарне больше жила, помогая матушке-келарю кушанье на обитель стряпать и исправляя черные работы в кельях самой игуменьи Манефы. Это была из себя больно некрасивая, рябая, неуклюжая как ступа, зато здоровенная девка, работала за четверых и ни

о чем другом не помышляла, только бы сытно пообедать да вечером, поужинав плотную, выпасться хорошенько. В обители дурой считали ее, но любили за то, что сильная была работница и, куда ни пошли, что ей ни вели, все живой рукой обделает безо всякого ворчанья. Безответна была, голоса ее мало кто слышал.

Мать Манефу Аксинья Захаровна поместила в задней горнице, возле моленной, вместе с домашней канонницей Евпраксией да с Анафролией. Манефа, напившись чайку с изюмом, – была великая постница, сахар почитала скоромным и сроду не употребляла его, – отправилась в свою комнату и там стала расспрашивать Евпраксию о порядках в братнином доме: усердно ли Богу молятся, сторого ли посты соблюдают, по сколько кафизм в день она прочитывает; каждый ли праздник службу правят, приходят ли на службу сторонние, а затем свела речь на то, что у них в скиту большое расстройство идет из-за епископа Софрония, а другие считают новых архиереев обливанцами и слышать про них не хотят.

– На прошлой неделе, Евпраксеюшка, грех-от какой случился. Не знаю, как и замолят его. Матушка Клеопатра, из Жжениной обители, пришла к Глафириным и стала про австрийское священство толковать, оно-де правильно, надо-де всем принять его, чтоб с Москвой не разорваться, потому-де, что с Рогожского пишут, по Москве-де все епископа приняли. Измарагдушка заспорила: обливанцы, говорит, они – архиереи-то. Спорили матери, спорили, да обе горячие, слово за слово, ругаться зачали, друг с дружки иночество сорвали, в косы. Такой грех – насилиу розняли! И пошли с той поры ссоры да свары промеж обителей, друг с дружкой не кланяются, друг дружку еретицами обзывают, из одного колодца воду брать перестали. Грех да и только.

– А вы как, матушка, насчет австрийского священства располагаете? – робко спросила Евпраксия.

– Мы бы, пожалуй, и приняли, – сказала Манефа. – Как не принять, Евпраксеюшка, когда Москва приняла? Чем станем кормиться, как с Москвой разорвемся? Ко мне же сам батюшка Иван Матвеевич с Рогожского писал: принимай, дескать, матушка Манефа, безо всякого сомнения. Как же духовного отца послушаться?.. Как наши-то располагают, на чем решаются?.. Помоему, и нам бы надо принять, потому что в Москве, и в Казани, на Низу и во всех городах приняли. Разориться Патапушка может, коль не примет нового священства. Никто дел не захочет вести с ним; кредиту не будет, разорвется с покупателями. Так-то!

– Патап Максимыч, кажется мне, приемлет, – отвечала Евпраксия.

– Думала я поговорить с ним насчет этого, да не знаю, как приступить, – сказала Манефа. – Крутенок. Не знаешь, как и подойти. Прямой медведь.

– Он всему последует, чему самарские, – заметила Евпраксия. – А в Самаре епископа, сказывают, приняли. Аксинья Захаровна сумлевалась спервоначала, а теперь, кажется, и она готова принять, потому что сам велел. Я вот уж другу неделю поминаю на службе и епископа и отца Михаила; сама Аксинья Захаровна сказала, чтоб поминать.

– Какого это отца Михаила? – с любопытством, взглянув на канонницу, спросила мать Манефа.

– Михайлу Корягу из Колоскова, – сказала канонница. – Ведь он в попы ставлен.

– Коряга! Михайло Коряга! – сказала Манефа, с сомнением покачивая головой. – И нашим сказывали, что в попы ставлен, да веры неймется. Больно до денег охоч. Стяжатель! Как такого поставить?

– Поставили, матушка, истинно, что поставили, – говорила Евпраксия. – На Богоявление в Городце воду святил, сам Патап Максимыч за вечерней стоял и воды богоявленской домой привез. Вон бурак-от у святых стоит. Великим постом Коряга, пожалуй, сюда наедет, исправлять станет, обедню служить. Ему, слышь, епископ-от полотняную церковь пожаловал и одикон, рекше путевой престол Господа Бога и Спаса нашего...

– Коряга! Михайло Коряга! Попом! Да что ж это такое! – в раздумье говорила Манефа, покачивая головой и не слушая речей Евпраксии. – А впрочем, и сам-от Софроний такой же стяжатель – благодатью духа святого торгует... Если иного епископа, благочестивого и Бога боящегося, не поставят – Софрония я не приму... Ни за что не приму!..

Меж тем в девичьей светлице у Насти с Фленушкой шел другой разговор. Настя расспрашивала про скитских приятельниц и знакомых, гостя чуть успевала ответы давать. Про всех переговорили, про все новости бойкая, говорливая Фленушка рассказала. Расспросам Насти не было конца – хотелось ей узнать, какая белица сарафан к праздникам сшила, дошила ль Марья головщица канвовую подушку, отослала ль ту подушку матушка Манефа в Казань, получили ли девицы новые бисера́ из Москвы, выучилась ли Устинья Московка шелковы пояски с молитвами из золота ткать. Осведомившись обо всем, стала Настя Фленушку расспрашивать, как поживала она после отъезда их из обители.

– Что моя жизнь! – желчно смеясь, ответила Фленушка. – Известно какая! Тоска и больше ничего; встанешь, чайку попьешь – за часы пойдешь, пообедаешь – потом к правильным канонам, к вечерне. Ну, вечером, известно, на супрядки сбегает; придешь домой, матушка, как водится, начальце зачнет, зачем, дескать, на супрядки ходила; ну, до ужина дело-то так и проволочишь. Поужинаешь и на боковую. И слава те, Христе, что день прошел.

– А к заутрене будют?

– Перестали. Отбилась. Ленива ведь я, Настасья Патаповна, Богу-то молиться. Как прежде, так и теперь, – смеялась Фленушка.

– А супрядки нонешнюю зиму бывали? – спросила ее Настя.

– Как же! У Жжениных в обители каждую среду по-прежнему. Завела было игуменья у Жжениных такое новшество: на супрядках «пролог» читать, жития святых того дня. Мало их в моленной-то читают! Три среды читали, игуменья сама с девицами сидела, чтобы, знаешь, слушали, не баловались. А девицы не промах. «Пролог»-от скрали да в подполье и закопали. Смеху-то что было!.. У Бояркиных по пятницам сходились, у Московкиной по вторникам, только не каждую неделю; а в нашей обители, как и при вас бывало, – по четвергам. Только матушка Манефа с той поры, как вы уехали, все грозит разогнать наши беседы и келарню по вечерам запирает, чтобы не смели, говорит, собираться девицы из чужих обителей. А песенку спеть либо игру затеять – без вас и думать не смей; пой Алексея человека Божьего. Как племянницы, говорит матушка, жили да Дуня Смолокурова, так я баловала их для того, что девицы они мирские, черной ризы им не надеть, а вы, говорит, должны о Боге думать, чтобы сподобиться честное иночество принять... Да ведь это она так только пугает. Каждый раз поворчит, поворчит да и пошлет мать Софию, что в ключах у ней ходит, в кладовую за гостинцами девицам на угощение. Иной раз и сама придет в келарню. Ну, при ней, известно дело, все чинно да пристойно: стихиры запоем, и ни единая девица не улыбнется, а только за дверь матушка, дым коромыслом. Смотришь, ан белицы и «Гусара» запели...

И, увлекшись воспоминаньями о скитских супрядках, Фленушка вполголоса запела:

Гусар, на саблю опираясь... —

давно уже проникший на девичьи беседы в раскольникы скиты.

– А у Глафириных супрядков разве не было? – спросила Настя.

– Как не бывать! – молвила Фленушка. – Самые развеселые были беседы, парни с деревень прихаживали... С гармониями... Да нашим туда теперь ходу не стало.

– Как так? – удивилась Настя.

– Да все из-за этого австрийского священства! – сказала Фленушка. – Мы, видишь ты, задумали принимать, а Глафирины не приемлют, Игнатьевы тоже не приемлют. Ну и разорвались во всем: друг с дружкой не видятся, общения не имеют, клянут друг друга. Намедни Клео-

патра от Жжениных к Глафириным пришла, да как сцепится с кривой Измарагдой; бранились, бранились, да вповолочку! Такая теперь промеж обителей злоба, что смех и горе. Да ведь это одни только матери сварятся, мы-то потихоньку выдаемся.

– Где же веселее бывало на супрядках? – спрашивала Настя.

– У Бояркиных, – ответила Фленушка. – Насчет угощения бедно, зато парни всегда почти. Ну, бывали и приезжие.

– Откудова? – спросила Настя.

– Из Москвы купчик наезжал, матушки Таисеи сродственник; деньги в раздачу привозил, развеселый такой. Больно его честили; келейница матушки Таисеи – помнишь Варварушку из Кинешмы? – совсем с ума сошла по нем; как уехал, так в прорубь кинуться хотела, руки на себя наложить. Еще Александр Михайлыч бывал, станowego письмоводитель, – этот по-прежнему больше все с Серафимушкой; матушка Таисея грозит уж ее из обители погнать.

– А из Казани гости бывали? – с улыбкой спросила Фленушку Настя.

– Были из Казани, да не те, на кого думаешь, – сказала Фленушка.

– Петр Степаныч разве не бывал? – спросила Настя.

– Не был, – сухо ответила Фленушка и примолвила: – Бросить хочу его, Настенька.

– Что так?

– Тоска только одна!.. Ну его... Другого полюблю!

– Зачем же другого? Это нехорошо, – сказала Настя, – надо одного уж держаться.

– Вот еще! Одного! – вспыхнула Фленушка. – Он станет насмехаться, а ты его люби. Да ни за что на свете! Ваську Шибаева полюблю – так вот он и знай, – с лукавой усмешкой, глядя на приятельницу, бойко молвила Фленушка.

– Какой Шибаев? Откуда?

– Эге-ге! – вскрикнула Фленушка и захохотала. – Память-то какая у тебя короткая стала, Настасья Патаповна! Аль забыла того, кто из Москвы конфеты в бумажных коробках с золотом привозил? Ай да Настя, ай да Настасья Патаповна! Можно чести приписать! Видно, у тебя с глаз долой, так из думы вон. Так, что ли?.. А?..

– Ничего тут не было, – потупясь и глухим шепотом сказала Настя.

– Как ничего? – быстро спросила Фленушка.

– Глупости одни, – с недовольной улыбкой ответила Настя. – Ты же все затевала.

– Ну, ладно, ладно, пушай я причиной всему, – сказала Фленушка. – А все-таки скажу, что память у тебя короткая стала. С чего бы это?.. Аль кого полюбила?..

Настя вся вспыхнула. Сама ни слова.

– Что? Зазнобушка завелась? – приставала к ней Фленушка, крепко обняв подругу. – А?.. Да говори же скорей – сора из избы не вынесем... Аль не знаешь меня? Что сказано, то во мне умерло.

Как кумач красная, Настя молчала. На глазах слезы выступили, и дрожь ее схватывала.

– Да говори, говори же! – приставала Фленушка. – Скажи!.. Право, легче будет. Увидишь!..

Настя тяжело дышала, но крепилась, молчала. Не могла, однако, слез сдержать, – так и полились они по щекам ее. Утерла глаза Настя передником и прижалась к плечу Фленушки.

– Полюбила... Впрямь полюбила? – допрашивала та. – Да говори же, Настенька, говори скорей. Облегчи свою душеньку... Ей-Богу, легче станет, как скажешь... От сердца тягость так и отвалит. Полюбила?

– Да, – едва слышно прошептала Настя.

– Кого же?.. Кого?.. – допытывалась Фленушка. – Скажи, кого? Право, легче будет... Ну, хоть зовут-то как?

Молчала Настя и плакала.

– Говорят тебе, скажи, как зовут?.. Как только имя его вымолвишь, так и облегчишься. Разом другая станешь. Как же звать-то.

– Алексеем! – шепотом промолвила Настя и, зарыдав, прижалась к плечу Фленушки...

Глава пятая

Ведется обычай у заволжских тысячников народу «столы строить». За такими столами угощают они окольных крестьян сытным обедом, пивом похмельным, вином зеленым, чтоб «к себе прикормить», чтоб работники из ближайших деревень домашней работы другим скупщикам не сбывали, а коль понадобятся тысячнику работники наспех, шли бы к нему по первому зову. У Патапа Максимыча столы строили дважды в году: перед Троицей да по осени, когда из Низовья хозяин домой возвращался. Угощение у него бывало на широкую руку, мужик был богатый и тороватый, любил народ угостить и любил тем повеличаться. Ста по полутора за столами у него кормилось; да не одни работники, бабы с девками и подростки в Осиповку к нему пить-есть приходили.

На радостях, что на крещенском базаре по торгам удача выпала, а больше потому, что сватовство с богатым купцом наклевывалось, Патап Максимыч задумал построить столы не в очередь. И то у него на уме было, что, забрав чересчур подрядной работы, много тысяч посуды надо ему по домам заказать. Для того и не мешало ему прикормить заранее работников. Но главный замысел не тот был: хотелось ему будущим сватушке да зятю показывать, каков он человек за Волгой, какую силу в народе имеет. «Пускай посмотрит, – раздумывал он, заложив руки за спину и расхаживая взад и вперед по горнице, – пускай поглядит Данило Тихоныч, каково Патап Чапурин в своем околотке живет, как «подначальных крестьян» хлебом-солью чувствует и в каком почете мир-народ его держит».

В той стороне помещичьи крестьяне хоть исстари бывали, но помещиков никогда в глаза не видали. Заволжские поместья принадлежат лицам знатым, что, живя в столице либо в чужих краях, никогда в наследственные леса и болота не заглядывают. И немцев управляющих не знавал там народ. Миловал Господь. Земля холодная, песчаная, неродимая, запашку заводить нет зачета. Оттого помещики и не сажали в свои заволжские вотчины немцев-управляющих, оттого и спас Господь милостливый Заволжский край от той саранчи, что русской сельщине-деревенщине во времена крепостного права приходилась не легче татарщины, лихо-летия и длинного ряда недородов, пожаров и моровых поветрий. Все крестьяне по Заволжью были оброчные, пользовались всей землей сполна и управлялись излюбленными миром старостами. При отсутствии помещиков и управляющих так называемые тысячники пользовались большим значеньем. Вся промышленность в их руках, все рядовые крестьяне зависят от них и никак из воли их выйти не могут. Такой тысячник, как Патап Максимыч, – а работало на него до двадцати окольных деревень, – жил настоящим барином. Его воля – закон, его ласка – милость, его гнев – беда великая... Силен человек: захочет, всякого может в разор разорить.

«Ну-ка, Данило Тихоныч, погляди на мое житье-бытье, – продолжал раздумывать сам с собой Патап Максимыч. – Спознай мою силу над «моими» деревнями и не моги забирать себе в голову, что честь мне великую делаешь, сватая за сына Настю. Нет, сватушка дорогой, сами не хуже кого другого, даром что не пишемся почетными гражданами и купцами первой гильдии, а только государственными крестьянами».

Поутру на другой день вся семья за ведерным самоваром сидела. Толковал Патап Максимыч с хозяйкой о том, как и чем гостей потчевать.

– Беспременно за Никитишной надо подводу гнать, – говорил он. – Надо, чтоб кума такой стол состряпала, какие только у самых набольших генералов бывают.

– Справится ли она, Максимыч? – молвила Аксинья Захаровна. – Мастерица-то мастерица, да прихварывает, силы у ней против прежнего вполовину нет. Как в последний раз

гостила у нас, повозится-повозится у печи, да и приляжет на лавочке. Скажешь: «Полно, кумушка, не утруждайся», – не слушается. Насчет стряпни с ней сладить никак невозможно: только приехала, и за стряпню, и хоть самой неможется, стряпка к печи не смей подходить.

– Помаленьку как-нибудь справится, – отвечал Патап Максимыч. – Никитишне из праздников праздник, как стол урядить ее позовут. Вот что я сделаю: поеду за покупками в город, заверну к Ключову, позову куму и насчет того потолкую с ней, что искупить, а воротясь домой, подводу за ней пошлю. Да вот еще что, Аксиныюшка: не запамятуй послезавтра спсылать Пантелея в Захлыстино, стяг свежины на базаре купил бы да две либо три свиные туши, баранины, солонины...

– На что такая пропасть, Максимыч? – спросила Аксинья Захаровна.

– Столы хочу строить, – ответил он. – Пусть Данило Тихоныч поглядит на наши порядки, пущай посмотрит, как у нас, за Волгой, народ угощают. Ведь по ихним местам, на Низу, такого заведения нет.

– Не напрасно ли задумал, Максимыч? – сказала Аксинья Захаровна. – На Михайлов день столы строили. Разве не станешь на Троицу?

– Осень – осенью, Троица – Троицей, а теперь само по себе... Не в счет, не в уряд... Сказано: хочу, и делу конец – толковать попусту нечего, – прибавил он, возвыся несколько голос.

– Слышу, Максимыч, слышу, – покорно сказала Аксинья Захаровна. – Делай, как знаешь, воля твоя.

– Без тебя знаю, что моя, – слегка нахмурясь, молвил Патап Максимыч. – Захочу, не одну тысячу народу сгоню кормиться... Захочу, всю улицу столами загорожу, и все это будет не твоего бабьего ума дело. Ваше бабье дело молчать да слушать, что большак приказывает!.. Вот тебе... сказ!

– Да чтой-то, родной, ты ни с того ни с сего расходился? – тихо и смиренно вмешалась в разговор мужа с женой мать Манефа. – И слова сказать нельзя тебе, так и закипишь.

– А тебе тоже бы молчать, спасенная душа, – отвечал Патап Максимыч сестре, взглянув на нее исподлобья. – Промеж мужа и жены советниц не надо. Не люблю, терпеть не могу!.. Слушай же, Аксинья Захаровна, – продолжал он, смягчая голос, – скажи стряпухе Арине, взяла бы двух баб на подмогу. Коли нет из наших работниц ловких на стряпню, на деревнях поискала бы. Да вот Анафролю можно прихватить. Ведь она у тебя больше при келарне? – обратился он к Манефе.

– Келарничает, – отвечает Манефа, – только ведь кушанья-то у нас самые простые да постные.

– Пускай поможет; не осквернит рук скоромятиной. Аль грех, по-вашему?

– Какой же грех, – сказала мать Манефа, – лишь бы было заповеданное. И у нас порой на мирских людей мясное стряпают, белицам тоже ину пору. Спроси дочерей, сажались ли они у меня на обед без курочки аль без говядины во дни положеные.

– Не бойся, спасена душа, – шутливо сказал Патап Максимыч, – ни зайцев, ни давленных тетерок на стол не поставлю; христиане будут обедать. Значит, твоя Анафроля не осквернится.

– Уж как ты пойдешь, так только слушай тебя, – промолвила мать Манефа. – Налей-ка, сестрица, еще чайку-то, – прибавила она, протягивая чашку к сидевшей за самоваром Аксинье Захаровне.

– Слушай же, Аксинья, – продолжал Патап Максимыч, – народу чтоб вдоволь было всего: студень с хреном, солонина, щи со свежиной, лапша со свиной, пироги с говядиной, баранина с кашей. Все чтоб было сготовлено хорошо и всего было бы вдосталь. За вином спсылать, ренского непьющим бабам купить. Пантелей обделаает. Заедок девкам да подросткам купить: рожков, орехов кедровых, жемков, пряников городецких. С завтрашнего дня брагу варить да сыченые квасы ставить.

– Пряников-то да рожков и дома найдется, посылать не для чего. От Михайлова дня много осталось, – сказала Акси́нья Захаровна.

– Коли дома есть, так и ладно. Только смотри у меня, чтобы не было в чем недостачи. Не орами, – сказал Патап Максимыч. – Не то, знаешь меня, – гости со двора, а я за расправу.

– Не впервые, батько, столы-то нам строить, порядки знаем, – отвечала Акси́нья Захаровна.

– То-то, держи ухо востро, – ласково улыбаясь, продолжал Патап Максимыч. – На славу твои именины справим. Танцы заведем, ты плясать пойдешь. Так али нет? – прибавил он, весело хлопнув жену по плечу.

– Никак ошалел ты, Максимыч! – воскликнула Акси́нья Захаровна. – С ума, что ли, спятил?.. Не молоденький, батько, заигрывать... Прошло наше время!.. Убирайся прочь, непутный!

– Ничего, сударыня Акси́нья Захаровна, – говорил, смеясь, Патап Максимыч. – Это мы так, шутку, значит, шутим. Авось плечо-то у тебя не отломится.

– Нашел время шутки шутить, – продолжала ворчать Акси́нья Захаровна. – Точно я молоденькая. Вон дочери выросли. Хоть бы при них-то постыдился на старости лет бесчинничать.

– Чего их стыдиться-то? – молвил Патап Максимыч. – Обожди маленько, и с ними мужья станут заигрывать еще не по-нашему. Подь-ка сюда, Настасья!

– Что, тятенька? – сказала Настя, подойдя к отцу.

– Станешь серчать, коли муж заигрывать станет? А? – спросил у нее Патап Максимыч.

– Не будет у меня мужа, – сдержанно и сухо ответила Настя, перебирая конец передника.

– Ан вот не угадала, – весело сказал ей Патап Максимыч. – У меня женишок припасен. Любо-дорого посмотреть!.. Вон на материных именинах увидишь... первый сорт. Просим, Настасья Патаповна, любить его да жаловать.

– Не пойду я за него, – сквозь зубы проговорила Настя. Краска на щеках у ней выступила.

– Знамо, не сама пойдешь, – спокойно отвечал Патап Максимыч. – Отец с матерью вживе – выдадут. Не век же тебе в девках сидеть... Вам с Паранькой не хлеб-соль родительскую отбавывать, – засиживаться нечего. Эка, подумаешь, девичье-то дело какое, – прибавил он, обращаясь к жене и к матери Манефе, – у самой только и на уме, как бы замуж, а на речах: «не хочу» да «не пойду».

– Не приставай к Настасье, Максимыч, – вступилась Акси́нья Захаровна. – И без того девке плохо можется. Погляди-ка на нее хорошенько, ишь какая стала, совсем извелась в эти дни. Без малого неделя бродит как очумелая. От еды откинуло, невеселая такая.

– Кровь в девке ходит, и вся недолга, – заметил Патап Максимыч, – увидит жениха, хворь как рукой снимет.

– Да полно ж тебе, Максимыч, мучить ее понапрасну, – сказала Акси́нья Захаровна. – Ты вот послушай-ка, что я скажу тебе, только не серчай, коли молвится слово не по тебе. Ты всему голова, твоя воля, делай как разумеешь, а по моему глупому разуменью, деньги-то, что на столы изойдут, нищей бы братии раздать, ну хоть ради Настина здоровья да счастья. Доходна до Бога молитва нищего, Максимыч. Сам ты лучше меня знаешь.

– Разве заказано тебе оделять нищую братию? Нищие нищими, столы столами, – сказал Патап Максимыч. – Слава Богу, у нас с тобой достатков на это хватит. Подавай за Настю, пожалуй, чтоб Господь послал ей хорошего мужа.

– Заладил себе, как сорока Якова: муж да муж, – молвила на то Акси́нья Захаровна. – Только и речей у тебя. Хоть бы пожалел маленько девку-то. Ты бы лучше вот послушал, что матушка Манефа про скитских «сирот» говорит. Про тех, что меж обителей особняком по своим кельям живут. Старухи старые, хворые; пить-есть хотят, а взять неоткуда.

– Да, – вступилась мать Манефа, – в нынешнее время куда как тяжело приходится жить сиротам. Дороговизна!.. С каждым днем все дороже да дороже становится, а подавания сиро-

там, почитай, нет никакого. Масленица на дворе – ни гречневой мучки на блины, ни маслица достать им негде. Такая бедность, такая скудость, что един только Господь знает, как они держатся.

– Сколько у вас сиротских дворов? – спросил Патап Максимыч.

– Тридцать пять, – отвечала Манефа.

– Вот тебе тридцать пять рублей, – молвил тысячник, вынимая десятирублевую и отдавая ее Манефе. – Деньги счел по старине, на ассигнации. Раздай по рублю на двор, – примолвил сестре.

– Спаси ты Христос, – сказала Манефа, перекрестясь и завязывая бумажку в уголок носового платка.

– Ну, вот и слава Богу, – весело проговорила Аксинья Захаровна. – Будут сироты с блинами на Масленице. А как же бедные-то обители, Максимыч? – продолжала она, обращаясь к мужу. – И тамошним старицам блинков тоже захочется.

– За них, сударыня моя, не бойся, с голоду не помрут, – сказал Патап Максимыч. – Блины-то у них масляней наших будут. Пришипелись только эти матери, копни их хорошенько, пошарь в сундуках, сколь золота да серебра сыщешь. Нищатся только, лицемерят. Такое уж у них заведение.

– Ах нет. Праздного слова, братец, не говори, – вступилась Манефа. – В достаточных обителях точно – деньжонки кой-какие водятся, говорить про то нечего, а по бедным не богаче сирот живут. Вот хоть у нас в Комарове взять: налицо осталось двенадцать обителей, в семито, дай Бог здоровья благодетелям, нужды не терпим, грех на Бога роптать. А в пяти остальных такая, братец, скудость, такая нищета, что – верь ты, не верь моему слову – ничем не лучше сиротских дворов. Напольных взять, Марфиных, Заречных, покойницы матушки Солоники, Рассохиных... Чем питаются, един Господь ведает. Совсем не стало им теперь подаяния. Оскудела рука христиан, стали больше о суете думать, чем о душеспасенье. Так-от, родной. С тех пор как на Керженце у Тарасия да в Осиновском у Трифины старцы да старицы от старой веры отшатнулись, благодетельная рука христиан стала неразогбенна. Зачали, слышь ты, на Москве все наши заволжские обители в подозренье держать, все-де мы за Керженцом да за Осинками в это единоверие последуем. Заподозрили и присылать перестали. Вот оно что, а ты еще говоришь: лицемерят. Какое тут лицемерие, как есть-то нечего. Хоть нашу обитель взять. Ты не оставляешь, в Москве и в Питере есть благодетели, десять канонниц по разным местам негасиму читают, три сборщицы по городам ездят, ну, покуда Бог грехам терпит, живем и молимся за благодетелей. Бояркины тоже, Жженины, Глафирины, Игнатьевы, Московкины, Таисеины, все благодетелями не оставлены. А другие совсем до конца дошли. Говорю тебе: пить-есть нечего. Рассохиных взять: совсем захудела обитель, а какая в стары годы была богатая. Матушка Досифея, ихня игуменья, с горя да с забот в рассудке инда стала мешаться...

– Запоем, слышь, пьет, – заметил Патап Максимыч.

– Не грехи напрасно, братец, – возразила Манефа. – Мало ль чего люди не наплетут! Какое питье, когда жевать нечего, одеться не во что!

– Зачала Лазаря! – сказал, смеясь, Патап Максимыч. – Уж и Рассохиным нечего есть! Эко слово, спасенная душа, ты молвила!.. Да у них, я тебе скажу, денег куча; лопатами, чай, гребут. Обитель-то ихняя первыми богачами строена. У вас в Комарове они и хоронились, и постригались, и каких за то вкладов не надавали! Пошарь-ка у Досифеи в сундуках, много тысяч найдешь.

– Оно точно, братец, в прежнее время Рассохиных обитель была богатая, это правда и по всему христианству известно, – сказала Манефа. – Одних инокинь бывало у них по пятидесяти, а белиц по сотне и больше. До пожара часовня ихняя по всем скитам была первая; своих попов держали, на Иргиз на каждого попа сот по пяти платили. Да ведь такое пространное житие было еще при стариках Рассохиных. А теперь, сам ты знаешь, каковы молодые-то стали. Стару веру

покинули, возлюбили новую, брады побрили, вышли в господа и забыли отчие да дедные гробы. Как есть одна копейка, и той от них на родительскую обитель не бывало. Слава мира обуяла Рассохиных; про обитель Комаровскую, про строение своих родителей, и слышать не хотят, гнушаются... Ну, и захудала обитель: беднеть да беднеть зачала. К тому ж Господь дважды посетил ее – горели.

– Сундуки-то, чать, повытаскали? – спросил Патап Максимыч.

– Не успели, – молвила Манефа. – В чем спали, в том и выскочили. С той поры и началось Рассохиным житье горе-горькое. Больше половины обители врозь разбрелось. Остались одни старые старухи и до того дошли, сердечные, что лампадки на большой праздник нечем затеплить, масла нет. Намедни, в рождественский сочельник, Спасову звезду без сочива встречали. Вот до чего дошли!

Патап Максимыч подумал немного. Молча достал бумажник, вынул четвертную⁷ и, отдавая Манефе, сказал:

– Получай. Дели поровну: на пять обителей по пяти целковых. Пускай их едят блины на Масленице. Подлей чайку-то, Захаровна. А ты, Фленушка, что не пьешь? Пей, сударыня: не хмельное, не вредит.

– Много благодарна, Патап Максимыч, – с ужимочкой ответила Фленушка. – Я уж очень довольна, пойду теперь за работу.

– За какую это работу? – спросил Патап Максимыч.

– Пелену шью, – ответила Фленушка. – Матушка приказала синелью да шерстями пелену вышить, к Масленице надо кончить ее непременно. Для того с собой и пяльцы захватила.

– Ступай-ка в самом деле, Фленушка, – сказала мать Манефа, – пошей. Времени-то немного остается: на Сырной неделе okazия будет в Москву, надо непременно отослать. На Рогожское хочу пелену-то послать, – продолжала она, обращаясь к Патапу Максимычу. – Да еще хочу к матушке Пульхерии отписать, благословит ли она епископу омофор вышивать да подушку, на чем ему в службе сидеть. Рылась я, братец, в книгах, искала на то правила, подobaет ли в шитом шерстями да синелью омофоре епископу действовать, – не нашла. Хоть бы единое слово в правилах про то было сказано. Остаюсь в сумнении, парчовые ли только омофоры следует делать, али можно и шитые. Вот и отписываю, – матушка Пульхерия знает об этом доподлинно.

Фленушка пошла из горницы, следом за ней Параша. Настя осталась. Как в воду опущенная, молча сидела она у окна, не слушая разговоров про сиротские дворы и бедные обители. Отцовские речи про жениха глубоко запали ей на сердце. Теперь знала она, что Патап Максимыч в самом деле задумал выдать ее за кого-то незнаемого. Каждое слово отцовское как ножом ее по сердцу резало. Только о том теперь и думает Настя, как бы избыть грозящую беду.

– А тебе, Настасья, видно, и в самом деле неможется? – спросил ее отец. – Подь-ка сюда.

Опустя голову и перебирая угол передника, подошла Настя к дивану, где сидел Патап Максимыч.

– Совсем девка зачала изводиться, – вступилась Манефа. – Как жили они в обители, как маков цвет цвела, а в родительском дому и румянец с лица сбежал. Чудное дело!

– Уж пытала я, пытала у ней, – заметила Аксинья Захаровна, – скажи, мол, Настя, что болит у тебя? «Ничего, говорит, не болит...» И ни единого слова не могла от нее добиться.

– Сядь-ка рядом, потолкуем ладком, – сказал Патап Максимыч, сажая Настю рядом с собой и обнимая рукою стан ее. – Что, девка, раскручинилась? Молви отцу. Может, что и присоветует.

Не отвечала Настя. То в жар, то в озноб кидало ее, на глазах слезы выступили.

⁷ Двадцатипятирублевый кредитный билет.

– Чего молчишь? Изрони словечко. Скажи хоть на ушко, – продолжал Патап Максимыч, наклоняя к себе Настину голову.

– Тошнехонько мне, тятя, – вполголоса сказала Настя. – Пусти ты меня, в светлицу пойду.

– Эту тошноту мы вылечим, – говорил Патап Максимыч, ласково приглаживая у дочери волосы. – Не плачь, радость скажу. Не хотел говорить до поры до времени, да уж, так и быть, скажу теперь. Жениха жди, Настасья Патаповна. Прикатит к матери на именины... Слышишь?.. Славный такой, молодой да здоровенный, а богач какой!.. Из первых... Будешь в славе, в почете жить, во всяком удовольствии... Чего молчишь?.. Рада?..

У Насти в три ручья слезы хлынули.

– Не пойду за него... – молвила, рыдая и припав к отцовскому плечу. – Не губи меня, голубчик тятенька... не пойду...

– Отец велит, пойдешь, – нахмурясь, строгим голосом сказал Патап Максимыч, отстраняя Настю.

Она встала и, закрыв лицо передником, горько заплакала. Акси́нья Захаровна бросила перемывать чашки и сказала, подойдя к дочери:

– Полно, Настенька, не плачь, не томи себя. Отец ведь любит тебя, добра тебе желает. Полно же, пригожая моя, перестань!

Настя отерла слезы передником и отняла его от лица. Изумились отец с матерью, взглянув на нее. Точно не Настя, другая какая-то девушка стала перед ними. Гордо подняв голову, величаво подошла она к отцу и ровным, твердым, сдержанным голосом, как бы отчеканивая каждое слово, сказала:

– Слушай, тятя! За того жениха, что сыскал ты, я не пойду... Режь меня, что хочешь делай... Есть у меня другой жених... Сама его выбрала, за другого не пойду... Слышишь?

– Что-о-о? – закричал Патап Максимыч, вскакивая с дивана. – Жених?.. Так ты так-то!.. Да я разражу тебя! Говори сейчас, негодница, какой у тебя жених завелся?.. Я ему задам...

Акси́нья Захаровна так и обомлела на месте. Матушка Манефа, сидя, перебирала лестовку и творила молитву.

– Не достанешь, тятя, моего жениха, – с улыбкой молвила Настя.

– Кто таков?.. Сказывай, покамест цела, – в неистовстве кричал Патап Максимыч, поднимая кулаки.

– Христос, Царь Небесный, – отступая назад, отвечала Настя. – Ему обещалась... Я в кельи, тятя, иду, иночество приму.

Патап Максимыч на сестру накинудся:

– Твои дела, спáсенница?.. Твои дела?.. Ты ей в голову такие мысли набила?

– Никогда я Настасье про иночество слова не говорила, – спокойно и холодно отвечала Манефа, – беседы у меня с ней о том никогда не бывало. И нет ей моего совета, нет благословения идти в скиты. Молода еще, голубушка, – не снесешь... Да у нас таких молодых и не постригают.

– А коль я к воротам твоим, тетенька, босая приду да, стоя у вереи в одной рубахе, громко, именем Христовым, зачну молить, чтобы допустили меня к жениху моему?.. Прогонишь?.. Запрешь ворота?.. А?..

– Нет, не могу ворот запереть, – отвечала игуменья. – Нельзя... Господь сказал: «Грядущего ко мне не изжену»... Должна буду принять.

– Так слушай же ты, спасенная твоя душа, – закричал Патап Максимыч сестре. – Твоя обитель мной только и дышит... Так али нет?

– Так точно, – отвечала Манефа.

– Знаешь ты, какие строгие наказы из Питера насланы?.. Все скиты вконец хотят порешить, праху чтоб ихнего не осталось, всех стариц да белиц за караулом по своим местам разослать... Слыхала про это?

– Как не слышать! – спокойно сказала Манефа.

– А кто от вас эту беду до поры до времени, покуда сила да мочь есть, отводит? – продолжал Патап Максимыч. – Кто за вас у начальства хлопочет?.. Знаешь?..

– Знаю, что ты наш заступник. Тобой держимся, – молвила Манефа.

– Так помни же мое слово и всем игуменьям повести, – кипя гневом, сказал Патап Максимыч, – если Настасья уходом уйдет в какой-нибудь скит, – и твоей обители и всем вашим скитам конец... Слово мое крепко... А ты, Настасья, – прибавил он, понизив голос, – дурь из головы выкинь... Слышишь?.. Ишь какая невеста Христова проявилась!.. Чтоб я не слышал таких речей...

Сказав это, Патап Максимыч вышел из горницы и крепко хлопнул за собой дверь...

* * *

На другой день после того у Чапуриных баню топили. Хоть дело было и не в субботу, но как же приехавших из Комарова гостей в баньке не попарить? Не по-русски будет, не по старому завету. Да и сам Патап Максимыч такой охотник был попариться, что ему хоть каждый день баню топи.

Баня стояла в ряду прочих крестьянских бань за деревней, на берегу Шишинки, для безопасности от пожара и чтобы летом, выпарившись в бане, близко было окунуться в холодную воду речки. Любит русский человек, выпарившись, зимой на снегу поваляться, летом в студеной воде искупаться. Перед сумерками пошла париться Аксинья Захаровна с дочерьми и Фленушкой, Матрена работница шла с ними для послуши. Из дому в баню надо идти мимо тока-рен, от них узенькая тропинка пролежала среди сугробов к чапуринской бане. Высокая, белая⁸, светлая, просторная, она и снаружи смотрела дворянскою, а внутри все было чисто и хорошо прибрано. Липовые полки, лавки и самый пол по несколько раз в год строгались скобелем, окна в бане были большие, со стеклами, и чистый предбанник прирублен был.

Фленушка вышла из дому последняя, и когда вошла в предбанник, Аксинья Захаровна с Парашей уже разделись и ушли в баню, где Матрена полки и лавки подмывала. Настя еще раздевалась.

– Сейчас узнала, в которой токарне чей-то милый дружок работает, – вполголоса сказала ей вошедшая Фленушка, – вторая с краю, от нее тропинка к бане проложена.

– Зачем узнавала, Фленушка? – спросила Настя.

– Да так, на всякий случай. Может быть, пригодится, – отвечала Фленушка. – Ну, к примеру сказать, весточку какую велишь передать, так я уж и знаю, куда нести.

– Какие весточки? С ума ты, что ли, сошла?

– Да разве сохнуть тебе? – сказала Фленушка. – Надо же вас свести; жива быть не хочу, коль не сведу. Надо и его пожалеть. Пожалуй, совсем ума решится, тебя не выдаючи.

– Может быть, он и думать-то про меня не хочет, – сказала Настя.

– Дурак он, что ли? – отвечала Фленушка. – Кто от этакой красоты отворотится? Смотри-ка какая!.. – прибавила она, глядя на раздевавшуюся девушку. – Жизнь бы свою Алешка отдал, глазком бы только взглянуть теперь на свою сударушку. Ишь какая пышная, сдобная, белая!.. Точно атлас в пуху.

И принялась щекотать Настю.

– Да полно же тебе, безумная! – крикнула Настя и побежала в баню.

Часа через полтора настали сумерки. В токарнях зашабашили. Алексей остался в своей, чтобы маленько поизладить станок, он подводил к нему новый ремень. Провозился он с этим делом долго; все токари по своим местам разошлись, и токарни были на запоре. Когда вышел

⁸ Белою называется баня с дымовою трубой, а не курная, которую зовут обыкновенно черною.

он и стал запирасть свою токарню, почти совсем уже стемнело. Кругом ни души. Оглянувшись назад, увидел Алексей, что по тропинке из бани идет какая-то женщина в шубе, укрытая с головы большим шерстяным платком, и с веником под мышкой. Когда она подошла поближе, он узнал Фленушку. Акси́нья Захаровна с дочерьми давно уж домой прошла.

– Здоровенько ль поживаешь, Алексей Трифоныч? – сказала Фленушка, поравнявшись с ним.

– Слава Богу, живем помаленьку, – отвечал он, снимая шапку.

– Кланяться тебе велели, – сказала она.

– Кто велел кланяться? – спросил Алексей.

– Ишь какой недогадливый! – засмеясь, отвечала Фленушка. – Сам кашу заварил, нагнал на девку сухоту да еще спрашивает: кто?.. Ровно не его дело... Бесстыжий ты эдакой!.. На осину бы тебя!..

– Да про кого ты говоришь? Мне невдомек, – сказал Алексей, а у самого сердце так и забилося. Догадался.

– Некогда мне с тобой балясы точить, – молвила Фленушка. – Пожалуй, еще Матрена из бани пойдет да увидит нас с тобой, либо в горницах меня хватятся... Настасья Патаповна кланяться велела. Вот кто... Она по тебе сокрушается... Полюбила с первого взгляда... Вишь глаза-то у тебя, долговязого, какие непутные, только взглянул на девку, тотчас и приворожил... Велишь, что ли, кланяться?

– Поклонись, Флена Васильевна, – сказал Алексей, с жаром схватив ее за руку. – Сам я ночи не сплю, сам от еды отбилсь, только и думы, что про ее красоту неописанную.

– Ну, ладно, – молвила Фленушка. – Повидаемся на днях; улучу времечко. Молчи у меня, беспреренно сведу вас.

– Сведи, Флена Васильевна, сведи, – радостно вскрикнул Алексей. – Век стану за тебя Богу молиться!

Фленушка ушла. У Алексея на душе стало так светло, так радостно, что он даже не знал, куда деваться. На месте не сиделось ему: то в избе побудет, то на улицу выбежит, то за околицу пойдет и зальется там громкою песней. В доме петь он не смел: не ровен час, осерчает Патап Максимыч.

* * *

После этого Алексей несколько раз виделся с Фленушкой. И каждый раз передавала она ему поклоны от Насти и каждый раз уверяла его, что Настя до́веку его не разлюбит и, кроме его, ни за кого замуж не пойдет.

– Не отдадут ее за меня, – грустно сказал Алексей Фленушке, когда заговорила она о свадьбе. – У нас с Настасьей Патаповной равна любовь, да не равны обычаи. Патап Максимыч богат и спесив: не отдаст детище за бедного работника, что у него же в кабале живет... Ведь я в кабале у него, Флена Васильевна, на целый год закабален... Деньги отцу моему он выдал наперед, чтобы нам домом поправиться: ведь сожгли нас, обокрали, может быть, слыхала?... А ты сама знаешь, закабаленный тот же барский!.. А какой барин за холопов дочерей своих выдает? Так и тут: все едино... Да и захочет ли еще Настасья Патаповна себя потерять, выйдя за меня.

– Ради милого и без венца нашей сестре не жаль себя потерять! – сказала Фленушка. – Не тужи... Не удастся свадьба «честью», «уходом» ее справим... Будь спокоен, я за дело берусь, значит, будет верно... Вот подожди, придет лето: бежим и окрутим тебя с Настасьей... У нее положено, коль не за тебя, ни за кого нейти... И жених приедет во двор, да поворотит оглобли, как несолоно хлебал... Не вешай головы, молодец, наше от нас не уйдет!

Глава шестая

По приказу Патапа Максимыча зачали у него брагу варить и сыченые квасы из разных солодов ставить. Вари большие: ведер по сороку. Слух, что Чапурин на Аксинью-полухлебницу работному народу задумал столы рядить, тотчас разнесся по окольным деревням. Все деревенские, особенно бабы, не мало раздумывали, не мало языком работали, стараясь разгадать, каких ради причин Патап Максимыч не в урочное время хочет народ кормить.

В самый тот же день, как у Чапуриных брагу заварили, в деревне Ежове, что стоит на речке Шишинке, в полутора верстах от Осиповки, собрались мужики у клетей на улице и толковали меж собой про столы чапуринские. Кто говорил, что, видно, Патапу Максимычу в волостных головах захотелось сидеть, так он перед выборами мир задабривает, кто полагал, не будет ли у него в тот день какой-нибудь «помочи»⁹. Но все это нескладно-неладно придуманное тут же ежовским миром и осмеивалось. И в самом деле: захотелось бы Патапу Максимычу в головы, давным бы давно безо всяких угощений его целой волостью выбрали, да не того он хочет: не раз откупался, ставя на сходе ведер по пяти зелена вина для угощения выборщиков. На «толоку» народ собирать ему тоже не стать: мужик богатый, к тому же тороватый, горд, спесив, любит по́чет: захочет ли миром одолжаться?.. На что ему «помочь», когда в кармане чистоган не переводится. С добрый час протолковали ежовские мужики, стоя кучкой у клетей, но ничего на дело похожего не придумали. Баба дело решила, да так метко, будто у Чапурина в голове сидела и мысли его читала.

Шла по воду тетка Акулина, десятника жена. Поравнявшись с мужиками, поставила ведра наземь. Как не послушать бабе, про что мужики говорят.

– Эх вы, умные головы, – крикнула она, вслушавшись в мирские речи, – толкуют, что воду толкут, а догадаться не могут. Кто что ни скажет, не под тот угол клин забивает... Слушать даже тошно.

На бабу, как водится, накинулись, осмеяли, кто-то выругал, а муж, тут же стоявший, велел ей идти, куда шла, и зря не соваться, куда не спрашивают.

– Да что вы, лешие, без пути зубы-то скалите? – крикнула Акулина. – Стоят, из пустого в порожнее перекалывают, а разгадать ума не хватает. Знаю, к чему Чапурины пиры затевают.

– Ну, сказывай, коли знаешь! – заговорили мужики.

– У Патапа Максимыча дочери-то заневестились, – сказала Акулина, – вот и сзывает он купцов товар показать. Смотрины будут.

– Ай да тетка Акулина! Рассказала, как размазала! – заголосили мужики.

– А баба-то, пожалуй, и правдой обмолвилась, – сказал тот, что постарше был. – Намедни «хозяин» при мне на базаре самарского купца Снежкова звал в гости, а у того Снежкова сын есть, парень молодой, холостой; в Городце частенько бывает. Пожалуй, и в самом деле не свадьба ль у них затевается.

Акулина посмеялась над мужиками и пошла своей дорогой к колодцу. Тут по всем дворам бабам ровно повестку дали; все к колодцу с ведрами сбежались и зачали с Акулиной про чапуринскую свадьбу растабарывать. Молодица из деревни Шишкина случилась тут. Выслушав, в чем дело, не заходя к тетке, к которой было из-за двух верст приходила поклоняться, чтобы та ей разбитую кринку берестой обмотала, побежала домой без оглядки, точно с краденым. Как прибежала, так всех шишкинских баб повестила, что у Чапуриных смотрины будут. Из Шиш-

⁹ «Помочью», иначе «толокой», называется угощение за работу. Хозяин, желающий какое-нибудь дело справиться разом в один день, созывает к себе соседей на работу и ставит за нее сытный обед с пивом и вином. «Помочане» работают и утром и после обеда и в один день управляются с делом. На «помочи» сзывают большей частью крестьяне недостаточные, у которых в семье мало рабочих. Люди богатые, тысячники, не делают «помочей». У сельских попов полевые работы все больше «толокой» справляются.

кина бабы, подымая хвосты, по другим деревням побежали кумушкам новость рассказать. И пошел говор про смотрины по всем деревням. Везде про Настю речи вели, потому что нестаточное, необычное вышло бы дело, если б меньшая сестра вперед старшей пошла под венец.

Пущенные Акулиной вести дошли до Осиповки. В одном из мшенников, что целым рядом стояли против дома Чапурина, точили посуду три токаря, в том числе Алексей. Четвертый колесо вертел.

– Слышал, Петруха, у хозяев-то брагу варят, – говорил коренастый рыжеватый парень, стоя за станком и оттачивая ставешок.

– Как не слышать! – ответил Петруха, весело вертя колесо, двигавшее три станка. – Столы, слышно, хозяин строить задумал. Пантелея Прохорыча завтра в Захлыстино на базар посылают свежину да вино искупать. Угощение, слышь, будет богатое. Ста полтора либо два народу будут кормить.

– Где ж столы-то рядить? – спросил токарь Матвей. – Я, парень, что-то не слыхивал, чтобы зимой столы ставили. На снегу да на морозе что за столованье! Закрутит мороз, так на воле-то варево смерзнет.

– Мало разве у хозяина изб да подклеток! – заметил Петруха.

– Все ж полуторастам не усесться, – молвил третий работник, Мокеем звали – прозвищем Чалый.

– Очередь станут держать, по-скитски, как по обителям в келарнях странных угощают, – отвечал Матвей. – Одни покормятся и вон из-за столов, на их место другие.

– Разве что так, – молвил Петруха, соглашаясь с Матвеем. – Городовые купцы, слышь, наедут, – прибавил он.

– Пир готовят зазвонистый, – сказал Мокей. – Рукобитье будет, хозяин-от старшую дочь пропивать станет.

Ровно ножом полоснуло Алексею по сердцу. Хоть говорила ему Фленушка, что oprичь его Настя ни за кого не пойдет, но неожиданная новость его ошеломила.

– В дом, что ли, зятя-то берут? – спросил Петруха.

– Куда, чай, в дом! – отозвался Чалый. – Пойдет такой богач к мужику в зятях жить! Наш хозяин, хоть и тысячник, да все же крестьянин. А жених-то мало того, что из старого купецкого рода, почетный гражданин. У отца у его, слышь, медалей на шее-то что навешано, в городских головах сидел, в Питер ездил, у царя во дворце бывал. Наш-от хоть и спесив, да Снежковым на версту не будет.

– Снежковых разве жених-от? – спросил Матвей. – Не самарский ли?

– Самарские по всей Волге купцы известные, – отвечал Чалый.

– Куда ж ему в зятя к мужику идти, – сказал Матвей, – у него, братец ты мой, заводы какие в Самаре, дома, я сам видел; был ведь я в тех местах в позапрошлом году. Пароходов своих четыре ли, пять ли. Не пойдет такой зять к тестю в дом. Своим хозяйством, поди, заживут. Что за находка ему с молодой женой, да еще с такой раскрасавицей, в наших лесах да в болотах жить!

Сильней и сильней напирал Алексей острым резцом на чашку, которую дотачивал. В глазах у него зелень ходенем заходила, ровно угорел, в ушах шум стоит, сердце так и замирает. Тогда только и опомнился, как резцом сквозь чашку прошел.

– Что это ты, Алексей? – с усмешкой спросил его вертельщик Петруха. – Сквозь прорезал.

– Сорвалось! – сквозь зубы молвил Алексей и бросил испорченную чашку в сторону. Никогда с ним такого греха не бывало, даже и тогда не бывало, как, подростком будучи, токарному делу учился. Стыдно стало ему перед токарями. По всему околотку первым мастером считается, а тут, гляди-ка, дело какое.

Зашабашили к обеду. Алексею не до еды. Пошел было в подклет, где посуду красят, но повернул к лестнице, что ведет в верхнее жилье дома, и на нижних ступенях остановился.

Ждал он тут с четверть часа, видел, как пробрела поверху через сени матушка Манефа, слышал громкий топот сапогов Патапа Максимыча, слышал, наконец, голос Фленушки, выходившей из Настинной светлицы. Уходя, она говорила: «Сейчас приду, Настенька!»

– Флена Васильевна, – отозвался с лестницы Алексей.

Она взглянула вниз, опершись грудью о перила и свесив голову.

– Что ты какой? – спросила она вполголоса. – Сам на себя не похож?

– Сойди на минуточку, – сказал Алексей. – Здесь в подклете нет никого – все обедают.

Фленушка сбежала в подклет.

– Бог тебе судья, Флена Васильевна, – сказал Алексей. – За что же ты надо мной насмеялась?.. Ведь этак человека недолго уморить!

– С ума, что ли, спятил? – спросила Фленушка. – Чем я над тобой насмеялась?

– Какие речи ты от Настасьи Патаповны мне переносила?.. Какие слова говорила?.. Зачем же было душу мою мутить? Теперь не знаю, что и делать с собой – хоть камень на шею да в воду.

– Да ты белены объелся али спьяну мелешь, сам не знаешь что? – сказала Фленушка. – Да как ты только подумать мог, что я тебя обманываю?.. Ах ты, бесстыжая твоя рожа!.. За него хлопчут, а от него вот благодарность какая!.. Так ты думаешь, что и Настя облыжные речи говорила... А?..

– От Настасьи Патаповны доселева я никаких речей не слыхивал, – молвил Алексей. – С тобой у меня разговоры бывали!.. Вспомни-ка, что ты мне говорила, а вот – готовят пиры, жениха из Самары ждут.

– Только-то? – сказала Фленушка и залилась громким хохотом. – Ну, этих пиров не бойся, молодец. Рукобителью на них не бывать! Пусть их теперь праздничают, – а лето придет, мы запразднуем: тогда на нашей улице праздник будет... Слушай: брагу для гостей не доварят, я тебя сведу с Настасьей. Как от самой от нее услышишь те же речи, что я переносила, поверишь тогда?.. А?..

– Поверю, – потупясь, отвечал Алексей.

– Меня попрекать да обманщицей обзывать не станешь?

– Не буду, – проговорил он.

– То-то же. Ступай теперь. Выкинь печаль из головы, не томи понапрасну себя, а девицу красну в пущу тоску не вгоняй.

Мало успокоили Фленушкины слова Алексея. Сильно его волновало, и не знал он, что делать: то на улицу выйдет, у ворот посидит, то в избу придет, за работу возьмется, работа из рук вон валится, на полати полезет, опять долой. Так до сумерек пробился, в токарню не пошел, сказал старику Пантелею, что поутру угорел в красильне.

– Долго ли в красильне угореть, – отвечал Пантелей. – Ты бы по морозцу без шапки походил – облегчит.

– И впрямь пойду на мороз, – сказал Алексей и, надев полушубок, пошел за околицу. Выйдя на дорогу, крупными шагами зашагал он, понунив голову. Прошел версту, прошел другую, видит мост через овраг, за мостом дорога на две стороны расходится. Огляделся Алексей, опознал место и, в раздумье постояв на мосту, своротил налево в свою деревню Поромово.

Громко раздавалась по крытому снегом полю Алексеева песня:

Ох ты, горе мое, горе-гореваньице,
Ты печаль моя, тоска лютая.
Загубила ты добра-молодца,
Красна девица, дочь отецкая.

В каждом звуке песни слышались слезы и страшная боль тоскующей души.

* * *

После крупного разговора с отцом, когда Настя объявила ему о желании надеть черную рясу, она ушла в свою светелку и заперлась на крюк. Не один раз подходила к двери Аксины Захаровна; и стучалась, и громко окликала дочь, похныкала даже маленько, авось, дескать, материны слезы не образумят ли девку, но дверь не отмыкалась, и в светлице было тихо, как в гробу.

«Уснула, – подумала Аксины Захаровна. – Пускай ее отдохнет... Эка беда стряслась, и не чаяла я такой!.. Гляди-кась, в черницы захотела, и что ей это в головоньку втемяшилось?.. На то ли я ее родила да вырастила?.. А все Максимыч!.. Лезет со своим женихом!..»

Пошла Аксины Захаровна в другую боковушку, к Параше. Там Фленушка сидела за пяльцами, вышивая пелену, а Параша на мотовиле шерсть разматывала. Фленушка пела скитскую песню, Параша ей подтягивала:

Из пустыни старец
В царский дом приходит,
Он принес с собою,
Он принес с собою
Прекрасный камень,
Толь прекрасный, прелюбезный,
Предрагий.

Иосаф царевич,
Сын царя индейского,
Просит купца-старца:
«Покажи мне каменек,
Покажи мне дорогой,
Я увижу и спознаю
Ему цену».

«Когда ты возможешь
Небеса измерить,
Небеса измерить,
Все моря и земли
В горсть свою схватить,
А все против камня
Ровно ничего».

«А, купец премудрый, —
Говорит царевич, —
Скажи свою тайну,
Как на свет явился,
Как на свет явился,
Где теперь хранится
Камень тот драгой?»

Отвечает старец,
Вид купца приявший,

Преподобный Варлаам:
«Камень не хранится,
Камень не хранится,
С нами пребывает
Он навсегда.

Пречистая Дева
Родила сей камень,
В ясли положила,
Грудью вскармила,
Грудью вскармила
Бога-человека,
Спасителя.

Он ныне пребывает
Выше звезд небесных,
Солнце со звездами,
А земля с морями,
А земля с морями
Непрестанно славят
Его навсегда».

– Заперлась, – грустно сказала Акси́нья Захаровна, обращаясь к Фленушке. – И окликала ее и стучалась к ней, нишкнет голубушка... А ты что, Параня, как смотришь?.. Аль не жалко сестры-то?.. – прибавила она, заметив, что та усмехается, поглядывая на Фленушку. Но Фленушка была спокойна и даже тоскливо смотрела на Акси́нью Захаровну. Она уж и Парашу кое-чему научила: как говорить с отцом, с матерью, но той и супротивничать-то лень была. Спать бы только ей да валяться на мягком пуховике – другой отрады не знавала Параша.

– Не о чем ей убиваться-то, мамынька, – молвила Параша. – Что в самом деле дурь-то на себя накидывает?.. Как бы мне тятя привез жениха, я бы, кажись, за околицу навстречу к нему...

– Ах ты, срамница, бесстыдница! – крикнула Акси́нья Захаровна. – Где ты этому научилась, где таких слов набралась, беспутная голова твоя?.. Навстречу!.. За околицу!.. А вот я тебя дубцом!¹⁰

– Да что ж, мамынька? Коли Насте тятенькин жених не по мысли, отдай мне его, с радостью пойду.

– Ах ты, бесстыжая!.. Ах ты, безумная! – продолжала начинать Парашу Акси́нья Захаровна. – А я еще распиналась за вас перед отцом, говорила, что обе вы еще птенчики!.. Ах, непутная, непутная!.. погоди ты у меня, вот отцу скажу... Он те шкуру-то спустит.

– Не спустит. Не за что, – отвечала Параша.

Насилу уняла Парашу Акси́нья Захаровна.

– Фленушка, – сказала она, – отомкнется Настя, перейди ты к ней в светелку, родная. У ней светелка большая, двоим вам не будет тесно. И пальцы перенеси, и ночуй с ней. Одну ее теперь нельзя оставлять, мало ли что может приключиться... Так ты уж, пожалуйста, пригляди за ней... А к тебе, Прасковья, я Анафролью пришло, чтоб и ты не одна была... Да у меня дурь-то из головы выкинь, не то смотри!.. Перейди же туда, Фленушка.

¹⁰ Дубец – розга.

– Слушаю, Аксинья Захаровна, – молвила в ответ Фленушка. – Как отомкнется, тотчас переберусь. Там же мне и вышивать светлее, окна-то на полдень.

– Поразговори ты ее, – говорила Аксинья Захаровна, – развесели хоть крошечку. Ведь ты бойкая, Фленушка, шустрая и мертвого рассмешишь, как захочешь... Больно боюсь я, родная... Что такое это с ней поделалось – ума не могу приложить.

– Ничего, Аксинья Захаровна, – молвила в ответ Фленушка. – Не беспокойтесь: все минет, все пройдет.

– Дай-ка Бог, дай-ка Бог, – вздохнула Аксинья Захаровна и пошла из Парашиной боковуши.

Фленушка, подойдя к Настиной светелке, постучалась и, точно в кельях, громко прочитала молитву Иисову. Услышав Фленушкин голос, Настя отомкнулась.

– Я к тебе ровно к старице в келью, с молитвой, – смеясь, сказала Фленушка. – Творить ли метания перед честною инокиней, просить ли прощенья и благословенья?

– Тебе, Фленушка, смехи да шутки, – упрекнула ее, обливаясь слезами, Настя. – А у меня сердце на части разрывается. Привезут жениха, разлучат меня...

– Ну, это еще посмотрим, разлучат ли тебя, нет ли с Алешкой, – молвила Фленушка. – Всех проведем, всех одурачим, свадьбу «уходом» сыграем. Надейся на меня да слушайся, все по хотенью нашему сбудется.

– Ах, Фленушка, Фленушка... и хотелось бы верить, да не верится, – отирая слезы, сказала Настя. – Вон тятенька-то как осерчал, как я по твоему наученью свысока поговорила с ним. Не вышло ничего, осерчал только пуще...

– А зачем черной рясой пугала? – возразила Фленушка. – Нашла чем пригрозить!.. Ски-том да небесным женихом!.. Эка!.. Так вот он и испугался!.. Как же!.. Властен он над скитами, особенно над нашей обителью. В скиту от него не схоронишься. Изо всякой обители выймет, ни одна игуменья прекословить не посмеет. Все ему покоряются, потому что – сила.

– И сама не знаю, как на ум взошло про черничество молвить, – сказала Настя.

– А ты вот что скажи ему, чтобы дело поправить, – говорила Фленушка. – Только слез у тебя и следов чтобы не было... Коли сам не зачнет говорить, сама зачинай, пригрози ему, да не черной рясой, не иночеством...

– Чем же? – спросила Настя.

– Сначала речь про кельи поведи, не заметил бы, что мысли меняешь. Не то твоим словам веры не будет, – говорила Фленушка. – Скажи: если, мол, ты меня в обитель непустишь, я, мол, себя не пожалею: либо руки на себя наложу, либо какого ни на есть парня возьму в полюбовники да «уходом» за него и уйду... Увидишь, какой тихонький после твоих речей будет... Только ты скрепи себя, что б он ни делал. Неровно и ударит: не робей, смело говори да строго, свысока.

– Хорошо, – сказала Настя, – хоть и жалко мне его, тятеньку-то. Ведь добрый он, Фленушка.

– А Алешку-то разве не жалко, – прищутив глаза, лукаво спросила Фленушка.

– Ах, Фленушка!.. И его мне жалко... Рада жизнь отдать за него, – сказала Настя.

– То-то и есть, – молвила Фленушка. – Коль отца пуще его жалеешь, выходи за припасенного жениха.

– Нет, нет, ни за что на свете!.. – с жаром заговорила Настя. – Удавлюсь, либо камень на шею да в воду, а за тем женихом, что тятя на базаре сыскал, я не буду...

– Так и отцу говори, – молвила Фленушка, одобрительно покачивая головою. – Этими самыми словами и говори, да опричь того, «уходом» пугни его. Больно ведь не любят эти тысячники, как им дочери такие слова выговаривают... Спесивы, горды они... Только ты не кипятишь, тихим словом говори. Но смело и строго... Как раз проймешь, струсит... Увидишь.

– Сделаю по-твоему, Фленушка, – сказала Настя. – Сегодня же сделаю. А его видела? – прибавила она, понизив голос.

– Алексея-то?

– Да, – полушепотом промолвила Настя.

– Видела. И он тем же женихом беспокоится, – сказала Фленушка. – Как хочешь, Настенька, а вам надо беспрерывно повидаться, обо всем промеж себя переговорить. Да я сведу вас. Аксинья-то Захаровна велела мне в твою светелку перебраться.

– В самом деле? – радостно вскрикнула Настя. – То-то наговоримся...

– Не в том дело, – отвечала Фленушка. – То хорошо, что, живучи с тобой, легче мне будет свести вас. Вот я маленько подумаю да все и спроворю.

И, прищелкивая пальцами, весело запела:

Я у батюшки дочка была, я у тысячника,
У тысячника.

Приневоливал меня родной батюшка,
Приговаривала матушка
Замуж девушке идти,
Да идти да и замуж
Девушке идти.

Во все грехи тяжкие,
Грехи тяжки поступить,
Тяжки поступить.

Да дождусь я, девка, темной ночи,
Во полночи уйду в темный лес,
Да и в лес.

За обедом Патап Максимыч был в добром расположении духа, шутки шутил даже с матушкой Манефой. Перед обедом долго говорил с ней, и та успела убедить брата, что никогда не советовала племяннице принимать иночество. Больше всего Патап Максимыч над Фленушкой подшучивал, но та сама зубаста была и, при всей покорности, в долгу не оставалась. Настя молчала.

Отобедали, по своим местам разошлись. Патап Максимыч прошел в Настину светелку и сказал Фленушке, чтобы она подождала, покуда он станет с дочерью говорить, не входила б в светелку.

– Я нарочно пришел к тебе, Настя, добрым порядком толковать, – начал Патап Максимыч, садясь на дочернину кровать. – Ты не кручинься, не серчай. Давеча я пошумел, ты к сердцу отцовских речей не принимай. Хочешь, бусы хороши куплю?

– Не надо мне, тятенька, подарков твоих, – сухо ответила Настя. – И без того много довольна. Не дари меня, только не отнимай воли девичьей.

– Какая это воля девичья? – спросил, улыбаясь, Патап Максимыч. – Шестой десяток на свете доживаю, про такую волю не слыхивал. И при отцах наших и при дедах про девичью волю не было слышно. Что ж это за воля такая ноне проявилась? Скажи-ка!

– А вот такая это воля, тятенька, – отвечала Настя. – Примером сказать, хоть про жениха, что ты мне на базаре где-то сыскал, Снежков, что ли, он там прозывается. Не лежит у меня к нему сердце, и я за него не пойду. В том и есть воля девичья. Кого полюблю, за того и отдавай, а воли моей не ломай.

– Да ведь ты еще не видала Снежкова, – сказал Патап Максимыч. – Может, приглянется. Парень молодой, разумный.

– Что молод, про то спорить не стану, не видала, – молвила Настя. – А разумен ли, не знаю.

– Я тебе сказываю, что разумен, – возразил Патап Максимыч. – Аль не веришь отцу?

– Верю, тятя, – молвила Настя. – Только вот что скажи ты мне: где ж у него был разум, как он сватал меня? Не выдавши ни разу, – ведь не знает же он, какова я из себя, пригожа али нет, – не слыхавши речей моих, – не знает, разумна я али дура какая-нибудь. Знает одно, что у богатого отца молодые дочери есть, ну и давай свататься. Сам, тятя, посуди, можно ли мне от такого мужа счастья ждать?

– Да он не сам сватался, – сказал Патап Максимыч. – Мы с его родителем ладили дело.

– А! Старики решили, значит! – улыбаясь, сказала Настя. – Пускай, дескать, детки живут, как себе знают... А скажи-ка мне, тятя, как у вас речь про свадьбу зашла? Ты зачал али Снежков?

Промолчал Патап Максимыч.

– Ведь не ты же, тятя, первый зачал, – продолжала Настя. – Не станешь же ты у богатых купцов своим дочерям женихов вымалывать. Не такой ты человек, дочерей не продашь.

Совестно стало Чапурину. Встал он с кровати и зачал крупными шагами сновать взад и вперед по светлице.

– Несодееянное говоришь! – зачал он. – Что за речи у тебя стали!.. Стану я дочерей продавать!.. Слушай, до самого Рождества Христова единого словечка про свадьбу тебе не молвлю... Целый год – одумаешься тем временем. А там поглядим да посмотрим... Не кручинься же, голубка, – продолжал Патап Максимыч, лаская дочь. – Ведь ты у меня умница.

– Прости меня, тятя, голубчик, что давеча я тебя на гнев навела, – склонив голову на отцовскую грудь, молвила Настя.

– Ну, и меня прости, – сказал Патап Максимыч, поглаживая волосы Насти и целуя ее в глаза.

– Только попомни, тятя, мое слово, – решительно и твердо проговорила Настя. – Коли вздумаешь меня силой замуж отдать, я над собой что-нибудь сделаю.

– Что сделаешь? – вызывающим голосом спросил Патап Максимыч.

– В скит уйду, черну рясу надену, – сказала Настя. – А возьмешь из обители, – потеряю себя.

– Эк что вздумала! – вскрикнул тревожно Чапурин.

– Руки наложу на себя: камень на шею да в воду, – сверкая очами, молвила Настя. – А не то еще хуже наделаю! Замуж «уходом» уйду!.. За первого парня, что на глаза подвернется, будь он хоть барский!.. Погоней отобьешь – гулять зачну.

– Что ты, Настасья? – смутясь от слов дочери и понизив голос, сказал Патап Максимыч. – В уме ли?.. Да как у тебя язык повернулся такое слово сказать?

– К слову только сказала, – сдержанно ответила Настя.

– Не забирай же в голову пустяков, – строго, но тихо промолвил Чапурин, уходя из светелки. – Покуда прощай.

Патап Максимыч ушел в свою заднюю, прилег уснуть, но сон не брал его. Настины слова из ума не выходили: «Девка с норовом, – думал он. – С виду тихоней смотрит, а гляди-ка какая!.. «Уходом!..» Нет, ни окриком, ни плетью такую не проймешь... Хуже начудит... Лаской надо, делать нечего... «Уходом!..» Эко слово сказала!..»

Глава седьмая

Свадьба «уходом» – в большом обыкновенье у заволжских раскольников. Это – похищение девушки из родительского дома и тайное венчанье с нею у раскольникового попа, а чаще в православной церкви, чтоб дело покрепче связано было. Венчанье у раскольникового попа поди еще доказывай, а в церкви хотя не по-старому венчаны, хоть не побсолонь вокруг налож вожены, да дело выходит не в пример крепче: повенчанного в великороссийской с женой не развенчаешь, хоть что хочешь делай. Оттого при свадьбах «уходом» раскольники больше и бегают к церковному попу, особенно если бедняку удастся подхватить дочь тысячника.

Обычай «крутить свадьбу уходом» исстари за Волгой ведется, а держится больше оттого, что в тамошнем крестьянском быту каждая девка, живучи у родителей, несет долю нерадостную. Девкой в семье дорожат как даровою работницей и замуж «честью» ее отдают неохотно. Надо, говорят, девке родительскую хлеб-соль отработать; заработаешь – иди куда хочешь. А срок дочерних заработков длинен: до тридцати лет и больше она повинна у отца с матерью в работницах жить.

Девки не бойкие, особенно те, кого Бог красотой обделил, засиживаются и стареют в родительском доме за деннонощной работой. Минет тридцать лет – куда ей деваться? Редко выищется такой человек, чтобы взял за себя старую; разве иная за вдовца старика на большую семью пойдет. Старой девке середь молодых уж и места нет – все ее чуждаются... Ни на супрядки зимой, ни в хороводы летом... Молодые парни в глаза смеются над перестаркой... Куда деваться, к чему себя пристроить, а умрут отец с матерью, куда приклонить голову?... И принимается девка за «душеспасенье»: в скит пойдет, либо выпросит у отца кельенку поставить на задворнице, и в ней, надев черный сарафан и покрыв черным платком голову, в знак отречения от мира, станет за псалтырь заказные сорокоусты читать да деревенских мальчишек грамоте обучать, – тем и кормится. По времени в келейку ее три-четыре таких же старых девок наберется, заведут они «общежитие», – смотришь, маленький скиток в деревне завелся: и моленная в нем и служба всedневная, покуда полиция, проведав про богомолка, не разгонит их по своим местам, откуда которая пришла.

Девка побойчей да покрасивей не так делает. Спознается на супрядках либо в хороводе с молодым парнем, непременно из другой деревни, полюбят они друг дружку и станут раздумывать, отдадут родители девицу «честью», аль придется свадьбу «уходом» играть. Нет надежды на согласие, девушка тихонько сберет приданое и всю одежду, какая есть у ней, передаст возлюбленному, а потом и сама на условное место придет. Жених кидает невесту в сани и с товарищами мчится во весь опор к попу. Родители, узнав про уход дочери, тотчас лошадей запрягать, в погоню скакать, родных, соседей на ноги поднимут, рассыплются по всем сторонам беглецов искать. Случается, что настигают. И тогда зачнут у поезжан «отбивать невесту»... Иной раз тут дело до крови доходит. Но не всегда так бывает; обыкновенно жених с невестой успевают доскакать до попа и обвенчаться. Затем муж везет молодую жену к своим родителям, те уж дожидаются – знают, что сын поехал сноху им выкрасть, новую даровую работницу в дом привезти, с радостью встречают они новобрачных. На другой, либо на третий день новобрачный, с женой, отправляется к тестю прощения просить. Там принимают его с бранью, дочь с проклятьями. Вся деревня сбежится смотреть, как молодые, поклонясь в землю, лежат, не шелохнувшись, ниц перед отцом, перед матерью, выпрашивая прощения, а отец с матерью ругают их ругательски и клянут, и ногами в головы пихают, а после того и колотить примутся: отец плетью, мать сковородником. Наконец уходится сердце родительское. За побоями да за бранью мировая следует, но уж кроме того, что успела невеста жениху перед уходом передать, никакого приданого ей не дается. Не бывает при свадьбе «уходом» ни «горного стола», ни подарков, все оканчивается двумя обедами родителей одних и других. Случается, и это бывает нередко, что

родители жениха и невесты, если не из богатых, тайком от людей, даже от близкой родни, столкуются меж себя про свадьбу детей и решат не играть свадьбы «честью», во избежание расходов на пиры и дары. А велят деткам самим справлять свадьбу, как знают. При этом, однако ж, весь обряд чин чином соблюдается: и погоня во все стороны, и брань с проклятиями при встрече, и топанье ногами, и битье плетью и ухватом на глазах сбежавшейся деревни: все как следует. Но когда родительское сердце утолится и руки колотить новобрачных устанут, мирятся, и тем же ухватом, что мать дочку свою колотила, принимается она из печки горшки вынимать, чтобы нарочно состряпанным кушаньем любезного зятюшку потчевать.

* * *

Крепко было слово, сказанное Настей. Патап Максимыч не уснул от него после обеда. А этого с ним лет пять не случалось, с тех самых пор, как, прослышав про сторевающие на Волге, под Свияжском, барки, долго находился он в неизвестности: не его ли горяница погорела.

Сказав жене, какое слово молвила ему Настя, Патап Максимыч строго-настрого наказал ей глядеть за дочерью в оба, чтоб девка в самом деле, забрав дурь в голову, бед не натворила.

– Особенно по весне, как дома меня не будет, – говорил он, – смотри ты, Аксинья, за ней хорошенько. Летом до греха недолго. По грибы аль по ягоды, чтоб обе они и думать не смели ходить, за околицу одних не пускай, всяко может случиться.

– Стану глядеть, Максимыч, – отвечала Аксинья. – Как не смотреть за молодыми девицами! Только, по моему глупому разуму, напрасно ты про Настю думаешь, чтоб она такое дело сделала... Скор ты больно на речи-то, Максимыч!.. Давеча девку насмерть напугал. А с испугу мало ль какое слово иной раз сорвется. По глупости, спросту сказала.

– Спросту!.. Как же!.. – возразил Патап Максимыч. – Нет, у ней что-нибудь да есть на уме. Ты бы из нее повыпытала, может, промолвится. Только не бранью, смотри, не попреками. Видишь, какая нравная девка стала, тут грозой ничего не поделаешь... Уж не затеяно ли у ней с кем в скиту?

– Не грешни попусту, Максимыч, – сказала Аксинья Захаровна. – Немало я сегодня пыталась у матушки Манефы: не видала ль Настасья кого из наезжих, не приглянулся ли кто. «Нет, говорит, не видывала никого ни Настя, ни Параня». В строгости ведь она держала их. И Фленушка то же говорит.

– Да что Фленушка! – заметил Патап Максимыч. – Фленушка хоть и знала бы что, так покроет, а Манефа на старости ничего не видит. Ты бы других расспросила.

– Спрошу, Максимыч. Вот хоть Анафрольюшку.

– Да умненько спрашивай, стороной да обиняками, шутками больше, девку бы не срамить.

* * *

Лишь только вышел Патап Максимыч из Настиной светлицы, вбежала туда Фленушка.

– Ну вот, умница, – сказала она, взявши руками раскрасневшиеся от подавляемого волнения Настины щеки. – Молодец девка! Можно чести приписать!.. Важно отца отделила!.. До последнего словечка все слышала, у двери все время стояла... Говорила я тебе, что струсит... По-моему вышло...

– Жалко мне тятеньку, Фленушка, совестно перед ним, – отвечала Настя.

– Уж ты зачнешь хныкать! – сказала Фленушка. – Ну, ступай прощения просить, «прости, мол, тятенька, Христа ради, ни впредь, ни после не буду и сейчас с самарским женихом под венец пойду...» Не дури, Настасья Патаповна... Благо отсрочку дал.

– Что ж из того, что отсрочка дана?.. Потом-то что?.. – сказала Настя.

– Алешкиной женой будешь, – молвила Фленушка.

– Как же так?

– Уходом. Ты, Настя, молчи, слез не рони, бела лица не томи: все живой рукой обделаем. Смотри только, построже с отцом разговаривай, а слез чтоб в заводе при нем не бывало. Слышишь?

– Слышу, – сказала Настя.

– Бодрей да смелей держи себя. Сама не увидишь, как верх над отцом возьмешь. Про мать нечего говорить, ее дело хныкать. Слезами ее понимай.

– Добрая она у нас, Фленушка, и смиренная, даром что покричит иной раз, – сказала Настя. – Сил моих не станет супротив мамыньки идти... Так и подмывает меня, Фленушка, всю правду ей рассказать... что я... ну, да про него...

– Сохрани тебя Господи и помилуй!.. – возразила Фленушка. – Говорила тебе и теперь говорю, чтоб про это дело, кроме меня, никто не знал. Не то быть беде на твоей голове.

Вечером, после ужина, Настя с Фленушкой заперлись в светелке.

– Тошнехонько мне, Фленушка, – говорила Настя, в утомленье ложась на кровать нераздетая. – Болит мое сердечушко, всю душеньку поворотило. Сама не знаю, что со мной делается.

– А я знаю!.. – бойко подхватила Фленушка. – Да провалиться мне на сем месте, коли завтра ж тебя я не вылечу, – прибавила.

– Нет, Фленушка, совсем истосковалась я, – сказала Настя. – Что ни день, то хуже да хуже мне. Мысли даже в голове мешаются. Хочу о том, о другом пораздумать; задумаю, ум ровно туманом так и застелет.

– Про долговязого, поди, все думаешь? – сказала Фленушка.

– Да... – едва слышно молвила Настя, кинувшись лицом в подушку.

– Повидаться надо, маленько покалякать, – сказала Фленушка. – Давеча опять я с ним виделась, говорила... Поклон от тебя сказала.

– Что ж он? – с живостью спросила Настя, вскочив на кровати. – Да говори же?

– Не стоит говорить, – молвила Фленушка.

– Да нет, скажи, пожалуйста. Милая, голубушка, скажи, – приставала Настя, горячо обнимая и порывисто целуя Фленушку.

– Да отстань же, Настя!.. Полно!.. Ну, будет, будет, – говорила Фленушка, отстраняясь от ее ласк и поцелуев. – Да отстань же, говорят тебе... Ишь привязалась, совсем задушила!

– Да что ж говорил он? – умоляла Фленушку Настя. – Не мучь!.. И без того тошно... Скажи поскорей.

– Говорил, что в таких делах говорится, – отвечала Фленушка. – Что ему без тебя весь свет постыл, что иссушила ты его, что с горя да тоски деваться не знает куда и что очень боится он самарского жениха. Как я ни уверяла, что опричь его ни за кого не пойдешь, – не верит. Тебе бы самой сказать ему.

– Да как же это, Фленушка? – потупясь, спросила Настя.

– А вот как, – немножко подумав, молвила Фленушка. – Завтра я его сюда приведу.

– Обезумела ты!.. А тятенька-то?..

– А как сам тятенька Алешку в светлицу к тебе пошлет?.. – с усмешкой молвила Фленушка.

– Чего только ты не вздумаешь!.. Только послушать тебя, – сказала Настя. – Статочно ли дело, чтоб тятенька его сюда прислал?

– Да помереть мне, с места не вставши, коли такого дельца я не состряпаю, – весело вскрикнула Фленушка. – А ты, Настенька, как Алешка придет к тебе, – прибавила она, садясь на кровать возле Насти, – говори с ним умненько да хорошенько, парня не запугивай... Смотри, не обидь его... И без того чуть жив ходит.

– Ты все шутики шутишь, Фленушка, а мне не до них, – тяжело вздыхая, сказала Настя. – Как подумаю, что будет впереди, сердце так и замрет... Научила ты меня, как с тятенькой говорить... Ну, смиловался, год не хочет про свадьбу поминать... А через год-от что будет?

– Дó году долго ждать, – отвечала Фленушка. – Весной обвенчаесться.

– Не мели пустяков, – молвила Настя. – И без того тошно!

– Как отцу сказано, так и сделаем, – «уходом», – отвечала Фленушка. – Это уж моих рук дело, слушайся только меня да не мешай. Ты вот что делай: приедет жених, не прячься, не бегай, говори с ним, как водится, да словечко как-нибудь и верни, что я, мол, в скитах выросла, из детства, мол, желание возымела Богу послужить, черну рясу надеть... А потом просись у отца на лето к нам в обитель гостить, не то матушку Манефу упроси, чтоб она оставила у вас меня. Это еще лучше будет.

– Что ж из того будет? – спросила Настя.

– А то и выйдет, что летом, как тятенька твой на Низ уедет, мы свадебку и скрутим. Алексей – не робкого десятка, не побоится.

– Боязно, Фленушка, – молвила Настя. – Сердце так и замрет, только про это я вздумую. Нет, лучше выберу я времечко, как тятенька ласков до меня будет, повалюсь ему в ноги, покажусь во всем, стану просить, чтоб выдал меня за Алешу... Тятя добрый, пожалеет, не стерпит моих слез.

– Чтoб отец твоих слез не видал, – повелительно сказала Фленушка. – Он крут, так и с ним надо быть крутой. Дело на хорошей дороге, не испортъ. А про Алексея отцу сказать и думать не моги.

– Отчего же? – спросила Настя.

– Разве не слыхала, что теперь по всем деревням вой идет? – спросила Фленушка.

– Сказывал тятенька, что с Великого поста рекрутов брать зачнут, – отвечала Настя.

– То-то же. Алексей-от удельный ведь? – спросила Фленушка.

– Да.

– А головой удельным кто?

– Михайло Васильич.

– Отцу-то приятель?

– Приятель.

– Так Патапу Максимычу слово стоит сказать ему – «Убери, мол, подальше Алешку Лохматого», – как раз забреет, – сказала Фленушка.

– И в самом деле, – молвила Настя. – Навела ты меня на разум... Ну как бы я погубила его!

– То-то же. Говорю тебе, без моего совета слова не молви, шагу не ступи, – продолжала Фленушка. – Станешь слушаться – все хорошо будет; по-своему затеешь – и себя и его сгубишь... А уж жива быть не хочу, коли летом ты не будешь женой Алексеевой, – прибавила она, бойко притопнув ногой.

– А как он не захочет? – понизив голос, спросила Настя.

– Кто не захочет?

– Да он...

– Алексей-от? – сказала Фленушка и захохотала. – Эх, что выдумала!.. От такой крали откажется!.. Не бойсь – губа-то у него не дура... Ишь какую красоту приворожил!.. А именья-то что!.. На голы-то зубы ему твои сундуки не лишними будут. Да и Патап Максимыч посерчает, посерчает, да и смилуется. Не ты первая, не ты последняя свадьбу «уходом» справишь. Известно, сначала взбеленится, а месяц, другой пройдут, спесь-то и свалится, возьмет зятя в дом, и заживете вы в добром ладу и совете. Что расхныкалась? – спросила Фленушка, увидя, что Настя, уткнувшись лицом в подушку, опять принялась всхлипывать.

– Не на счастье, не на радость уродилась я, – причитала Настя, – счастливых дней на роду мне не писано. Изною я, горемычная, загинуть мне в горе-тоске.

– Да полно же ты! – ободряла ее Фленушка. – Чего расплакалась!.. Не покойник на столе!.. Не хнычь, не об чем...

И, став перед Настиной постелей, подперла развеселая Фленушка руки в боки и, притопывая босой ногой, запела:

Ох ты, Настя, девка красна.
Не рони слезы напрасно,
Слезы ронишь – глаза портишь,
Мила дружка отворишь,
Отворотится – забудет,
Ину девицу полюбит.

– Не робей, Настасья Патаповна, готовь платки да ручники. Да, бишь, я и забыла, что свадьбу-то без даров придется играть. А уж сидеть завтра здесь Алешке Лохматому, целовать долговязому красну девицу...

– Полно, Фленушка.

– И в самом деле: полно, – сказала Фленушка. – Спать пора, кочета¹¹ полночь пели. Прощай, покойной ночи, приятный сон. Что во сне тебе увидеть?..

– Ничего не хочу, – ответила Настя.

– Не обманешь, Настасья Патаповна, – сказала, ложась в постель, Фленушка, – Алешку хочется. Ну, увидишь, увидишь... Прощай.

* * *

На другой день поутру сидел Патап Максимыч в подклете, с полу до потолка заставленном готовою на продажу посудой. Тут были разных сортов чашки, от крошечных, что рукой охватить, до больших, в полведра и даже чуть не в целое ведро; по лавкам стояли ставешки, блюда, расписные жбаны и всякая другая деревянная утварь. У входа в подклет старый Пантелей бережно укладывал разобранную посуду по щепяным коробам, в каких обыкновенно возят ее по дорогам и на судах. Алексей также в подклете был. Он помогал хозяину разбирать по сортам посуду и на завязанных Пантелеем коробах писал помазком счет посуды и какого она сорта. Сортировка деревянной посуды самое важное дело для торговца. Тут нужны и внимание, и верный, опытный глаз, а главное – точность; без того торговец как раз может ославиться. Обложится как-нибудь – и пронесут худое слово по пристаням и базарам: у такого-то де скупщика в первый сорт всяку дрянь велят.

Прежде Патапу Максимычу в этом деле старик Савельич помогал. Прожил он у него в дому, ни мало ни много, двадцать годов и по токарной части во всем заменял хозяина. Верный был человек, хозяйское добро берег пуще глаза, работники у него по струнке ходили, на его руках и токарни были и красильни, иной раз вместо Патапа Максимыча и на торги ездил. Души в нем не чаял Чапурин, и в семье его Савельич был свой человек. Да вот перед самым Рождеством, надо же быть такому греху, бодрый еще и здоровый, захирел ни с того ни с сего да, поболев недели три, Богу душу и отдал. Много тужил по нем Патап Максимыч, много думал, кем заместить ему Савельича, но придумать не мог. Народ, что у него работал, не сподручен к такому делу: иной и верен был, и человек постоянный, да по посуденной части толку не смыслит, а у другого и толк был в голове, да положиться на него боязно. Заметив, что Алексей

¹¹ Петухи.

Лохматый мало что точит посуду, как никому другому не выточить, но и в сортировке толк знает, Патап Максимыч позвал его к себе на подмогу и очень доволен остался работой его. Так у Алексея дело спорилось, что, пожалуй, не лучше ли, чем при покойнике Савельиче.

Разборка кончалась. Оставалось сотни три-четыре блюд перебрать, остальное было разобрано, Пантелеем уложено и работниками вытащено в сени, либо сложено на дровни, чтоб завтра же, до заревых кочетов, в Городец посуду везти.

– Ну, Алексеюшка, – молвил Патап Максимыч, – молодец ты, паря. И в глаза и за глаза скажу, такого, как ты, днем с огнем поискать. Глядь-ка, мы с тобой целую партию в одно утро обладили. Мастер, брат, неча сказать.

– Спасибо на добром слове, Патап Максимыч. Что смогу да сумею сделать – всем готов служить вашему здоровью, – отвечал Алексей.

– А я вот что, Алексеюшка, думаю, – с расстановкой начал Патап Максимыч. – Поговорить бы тебе с отцом, не отпустит ли он тебя ко мне в годы. Парень ты золотой, до всякого нашего дела доточный, про токарное дело нечего говорить, вот хоть насчет сортировки и всякого другого распоряженья... Я бы тебя в приказчики взял. Слыхал, чать, про Савельича покойника? На его бы место тебя.

– Благодарим покорно, Патап Максимыч, – отвечал обрадованный Алексей. – Готов служить вашей милости со всяким моим удовольствием.

– Только сам ты, Алексеюшка, понимать должен, – сказал Патап Максимыч, – что к такой должности на одно лето приставить тебя мне не с руки. В годы-то отец отпустит ли тебя?

– Не знаю, Патап Максимыч, – отвечал Алексей, – поговорю с ним в воскресенье, как домой пойду.

– Плату положил бы я хорошую, ничем бы ты от меня обижен не остался, – продолжал Патап Максимыч. – Дома ли у отца стал токарничать, в людях ли, столько тебе не получить, сколько я положу. Я бы тебе все заведение сдал: и токарни, и красильни, и запасы все, и товар, – а как на Низ случится самому сплыть аль куда в другое место, я б и дом на тебя с Пантелеем покидал. Как при покойнике Савельиче было, так бы и при тебе. Ты с отцом-то толком поговори.

Вошла Фленушка, смущенная, озабоченная, в слезах. Мастерница была она, какое хочет лицо состроит: веселое – так веселое, печальное – так печальное.

– Что ты, Фленушка? – спросил ее Патап Максимыч.

– До вас, Патап Максимыч, – отвечала она плаксивым голосом. – Беда у меня случилась, не знаю, как и пособить. Матушка Манефа пелену велела мне в пальцах вышивать. На срок, к Масленице, поспела бы непременно.

– Знаю, слышал, – отвечал Патап Максимыч.

– В Москву хочет посылать, – продолжала Фленушка.

– Да что же случилось-то? – спросил Патап Максимыч.

– Пальцы не порядком положила, – ответила Фленушка. – Упали, рассыпались... Боюсь теперь матушки Манефы, сердать станет.

– Так почини, – молвил Патап Максимыч.

– Рада бы починить, да не умею, – сказала Фленушка. – Надо столяра.

– А где я тебе найду его? У меня столяров нет, – ответил Патап Максимыч.

– Да не может ли кто из токарей починить? – просила Фленушка. – Не оставьте, Патап Максимыч, не введите в ответ. Матушка Манефа и не знаю что со мною поделает.

– Не токарево это дело, голубушка, – сказал Патап Максимыч. – Из наших работников вряд ли такой выищется... Рад бы пособить, да не знаю как. Не знаешь ли ты, Алексей? Не сумеет ли кто из наших пальцы ей починить?

– Да я маленько столярничаю, – ответил Алексей. – За чистоту не берусь, а крепко будет.

– Ну вот на твое счастье и столяр выискался, – с веселой улыбкой молвил Патап Максимыч. – Тащи скорей сюда пяльцы-то.

– Никак их нельзя сюда принести, Патап Максимыч, – отвечала Фленушка, – здесь и олифой и красками напачкано, долго ль испортить шитье, цвета же на пелене все нежные.

– Да ты порожные пяльцы тащи, шитье-то вынь, – сказал Патап Максимыч. – Эка недогадливая!

– Не знаете вы нашего мастерства, Патап Максимыч, оттого и говорите так, – отвечала Фленушка. – Никак нельзя из пялец вынуть шитья, всю работу испортишь, опять-то вставить нельзя уж будет.

– Ну, неча делать, сходи наверх, Алексеюшка, – сказал Патап Максимыч. – Где пяльцы-то у тебя? – спросил он, обращаясь к Фленушке.

– В светлице, у Настеньки, – ответила она.

– Проведи его туда. Сходи, Алексеюшка, уладь дело, – сказал Патап Максимыч, – а то и впрямь игуменья-то ее на поклоны поставит. Как закатит она тебе, Фленушка, сотни три лестовок земными поклонами пройти, спину-то, чай, после не вдруг разогнешь... Ступай, води его... Ты там чини себе, Алексеюшка, остальное я один разберу... А к отцу-то сегодня сходи же. Что до воскресенья откладывать!

Ровно отуманило Алексея, как услышал он хозяйский приказ идти в Настину светлицу. Чего во сне не снилось, о чем если иной раз и приходило на ум, так разве как о деле несбыточном, вдруг как с неба свалилось.

– Ты послушай, молодец, – сказала Фленушка, всходя с ним по лестнице в верхнее жилье дома. – Так у добрых людей разве водится?

– Что такое? – с смущенным видом спросил Алексей.

– Совесть-то есть, аль на базаре потерял? – продолжала Фленушка. – Там по нем тоскуют, плачут, убиваются, целы ночи глаз не смыкают, а он еще спрашивает... Ну, парень, была бы моя воля, так бы я тебя отделала, что до гроба жизни своей поминать стал, – прибавила она, изо всей силы колотя кулаком по Алексееву плечу.

– Да ты про что? Право, невдомек, Флена Васильевна, – говорил Алексей.

– Ишь ты! Еще притворяется, – сказала она. – Приворожить девку бесстыжими своими глазами умел, а понять не умеешь... Совесть-то где?.. Да знаешь ли ты, непутный, что из-за тебя вечор у нее с отцом до того дошло, что еще бы немножко, так и не знаю, что бы случилось... Зачем к отцу-то он тебя посылает?

– В приказчики хочет меня по токарням да по красильням рядить, – отвечал Алексей, – за работниками да за домом присматривать.

– Полно ты? – удивилась и обрадовалась Фленушка.

– Право, – отвечал Алексей.

– Значит – наше дело выгорает, – сказала Фленушка. – С места мне не сойти, коль не будешь ты у Патапа Максимыча в зятях жить. Ступай, – сказала она, отворив дверь в светелку и толкнув туда Алексея, – я покараулю.

В алом тафтяном сарафане с пышными белоснежными тонкими рукавами и в широком белом переднике, в ярко-зеленом левантиновом платочке, накинутом на голову и подвязанном под подбородком, сидела Настя у Фленушкиных пялец, опершись головой на руку. Потускнел светлый взор девушки, спал румянец с лица ее, глаза наплаканы, губы пересохли, а все-таки чудно-хороша была она. Это была такая красавица, каких и за Волгой немного родится: кругла да бела, как мытая репка, алый цвет по лицу расстилается, толстые, ровно шелковые косы висят ниже пояса, звездистые очи рассыпчатые, брови тонкие, руки белые, ровно выточены, а грудь, как пух в атласе. Невзвидел света Алексей, остановился у притолки. Однако оправился и чин чином, как следует, святым иконам три поясных поклона положил, потом Насте низехонько поклонился.

Хотя Фленушка только о том Насте и твердила, что приведет к ней Алексея, но речам ее Настя веры не давала, думала, что шутит она... И вдруг перед ней, как из земли вырос, – стоит Алексей.

Бледное лицо Насти багрецом подернуло. Встала она с места и, опираясь о стол рукою, робко глядела на вошедшего. А он все стоит у притолоки, глядит не наглядится на красавицу.

У обоих языка не стало. Молчат. Наконец Настя маленько оправилась.

– Что тебе надо? – спросила она, опустив глаза в землю.

– Патап Максимыч послал, – тихо отвечал Алексей.

– Тятенька? – поднимая голову, сказала Настя. – Тебя тятенька ко мне прислал?.. Зачем?..

Сердце у ней так и замерло, сама себя не помнит, наяву она, аль во сне ей грезится.

– Зачем он тебя прислал? – повторила Настя, едва переводя дух.

– Пяльцы чинить.

«Так вот зачем Фленушка пяльцы-то ломала», – подумала Настя.

– Чини, коли прислан, – сказала она, отходя к другому окошку.

Подошел Алексей к пяльцам. Смотрит на полóm – и ничего не видит: глаза у него так и застилает, а сердце бьется, ровно из тела вон хочет.

Настя, потупившись, перебирала руками конец передника, лицо у нее так и горело, грудь трепетно поднималась. Едва переводила она дыханье, и хоть на душе стало светлее и радостней, а все что-то боязно было ей, слезы к глазам подступали.

Быстро распахнулась дверь, вбежала Фленушка.

– Пути в вас нету, – защебетала она. – На молчанки, что ли, я вас свела?.. Слушай ты, молодец, девка тебя полюбила, а сказать стыдится... И Алексей тебя полюбил, да боится вымолвить.

И, толкнув Настю к Алексею, выбежала за дверь.

– Неужели правду сказала она? – чуть слышно спросил Алексей.

У Насти сил на ответ не достало. Зарыдала и закрыла лицо передником.

Медленно и робко ступил Алексей шаг, ступил другой, взял Настю за руку.

Быстро откинула она передник. Сквозь слезы улыбаясь, страстно взглянула в очи милому и кинулась на грудь его...

Глава восьмая

Все распоряженья насчет угощенья домашних работников и пришлого народа были сделаны. Старик Пантелей с Захлыстинского базара навез и говядины, и свинины, и баранины, пять ведер вина, ренского шесть бутылок, молодежи потчевать, и большие кульки с деревенскими гостинцами. Дома брагу варили, квасы ставили. Аксинья Захаровна в кладовых да в стряпушей с утра до ночи возилась: то припасы принимала, то наливки подваривала да по бутылкам разливала, то посуду стеклянную и фарфоровую из сундуков вынимала и отдавала дочерям перемыть хорошенько.

Патап Максимыч в губернский город собрался. Это было не очень далеко от Осиповки: верст шестьдесят. С дороги своротил он в сторону, в деревню Ключово. Там жила сватья его и крестная мать Насти, Дарья Никитишна, знаменитая по всему краю повариха. Бойкая, проворная, всегда веселая, никогда ничем не возмутимая, доживала она свой век в хорошеньком, чистеньком домике, на самом краю деревушки.

Детство и молодость Никитишна провела в горе, в бедах и страшной нищете. Казались те беды нескончаемыми, а горе безвыходным. Но никто как Бог, на него одного полагалась сизмальства Никитишна, и не постыдил Господь надежды ее; послал старость покойную: всеми она любима, всем довольна, добро по силе ежечасно может творить. Чего еще? Доживала старушка век свой в радости, благодарила Бога.

Пяти годов ей не минуло, как родитель ее, не тем будь помянут, в каких-то воровских делах приличился и по мирскому приговору в солдаты был сдан, а мать, вскоре после того как забрали ее сожителя, мудрено как-то померла в овраге за овинами, возвращаясь в нетопленную избу к голодному ребенку

Из царева кабака,
Из кружала государева.

Ругался мир ругательски, посылал ко всем чертям Емельянику, гроб безо дна, без покрывки сулил ей за то, что и жить путем не умела и померла не путем: суд по мертвому телу навела на деревню... Что гусей было перерезано, что девок да молодых к лекарю да к стряпчему было послано, что исправнику денег было переплачено! Из-за кого ж такая мирская сухота? Из-за паскуды Емельяники, что не умела с мужем жить, не умела в его делах концы хоронить, не умела и умереть как следует.

Осталась после Емельяники сиротка, пятилетняя Даренка. В отцовском ее дому давным-давно хоть шаром покати, еще заживо родитель растащил по кабакам все добро – и свое и краденое. Мать схоронили Христа ради, по приказу исправника, а сиротка осталась болтаться промеж дворов: бывало, где день, где ночь проведет, где обносочки какие ей Христа ради подадут, где черствым хлебом впроголодь накормят, где в баньку пустят помыться. Так и росла девочка.

В сиротстве жить – только слезы лить; житье сиротинке, что гороху при дороге: кто пройдет, тот и порвет. Мало ль щипков да рывков, мало ли бою до синяков, рванья кос до плешин приняла Даренка, волочась под окном в Ключове и по соседним деревням. Не Царством Небесным было ей жить и при матери; бывала ее и шибко бывала покойница, особенно как под пьяную руку девочка ей подвернется, да все не как чужие люди. Ведь мать хоть и пьяная и безумная, а высоко руку подымет, да не больно опустит, чужой же человек колотит дитя, не рассудя, не велика, дескать, беда, хоть и калекой станет век доживать. Бывали Даренку старые, бывали ее молодые, от деревенских ребятишек проходу не было. Только, бывало, сиротку завидят, тотчас и обидят, а пожалуется, не стерпя побоев, Даренка, ей же душе достанется... Правду люди говорят, что пчелки без матки – пропащие детки. Горько бывало безродной сиротке глядеть, как другие ребятишки отцом, матерью пригреты, обуты, одеты, накормлены, приголублены, а ее кто приласкает, ей кто доброе словечко хоть в Светло Христово воскресенье вымолвит? Тогда только и праздник был ей, как иная баба, обозлясь на мужа либо на свекра, обносочек какой на сиротку наденет. Да и та радость бывала ненадолго: узнает муж либо свекор, что баба спроворила, Даренку оголят середь улицы да отколотят еще на придачу.

Родись Никитишна парнишкой, иная бы доля ей выпала. Слаще бы не в пример сиротское житье ей досталось. «Пушай его растет, – решили бы мужики, – в годы войдет, за мир в рекруты пойдет, – плакать по нем будет некому». И крепко-накрепко заказали бы бабам беречь сироту, приглядывать, чтоб коим грехом не окривел аль зубов передних ему не вышибли; не то беда: задаром пропадут и мирской хлеб и посиротские хлопоты. Девчонке не та судьбина. Беречь ее не для чего, знай колоти, сколько хочется, одного берегись – мертвого тела не сделай, чтоб суд не наехал да убытков и хлопот миру не принес.

Не забили, однако, сиротку Даренку. Росла она да росла, выросла, заневестилась. Куда девке деваться?.. В скиты?.. Чего бы лучше?.. Так и в скиты не всякую принимают, и там без денег к спасенью не допускают, а у Даренки железного гроша сроду в руках не бывало. Но, войдя в полную силу, стала она работницей всем на удивленье: цепом ли, серпом ли, бывало, за двоих работает. Тогда ключовские мужики друг перед дружкой стали Дарью Никитишну к себе зазывать. «Ко мне поди», да «у меня поживи – мы ведь тебе, Дарьюшка, люди свои, родня кровная». Такие только речи и слышала. Прежде ночь переночевать места не было, а

теперь, что называется, не грело, не горело, а вдруг осветило: все в родню лезут, на житье к себе манят. Пожила у какого-то названного дяди года три либо четыре, за хлеб за соль лихвой ему заработала. Житье было ей не плохое, все до нее были ласковы, приветливы, но не забывала Дарья старых щипков и колотушек, все ей думалось: «Теперь хорошо, а выбьюсь из сил, так под старость из избы середь улицы выкинут». И решила она хоть за нищего замуж пойти, только б самой хозяйкою быть. И вышла Дарья замуж. Брал ее парень хороший, из соседней деревни Быдреевки, но из бедного дома, из большой семьи – шестериками в рекрутском списке стояли. Полтора года Дарья Никитишна пожила с мужем, слова неласкового от него не слыхала, взгляду косоного не видала. Рекрутский набор подошел, забрали его. Себя не помнила Дарья, как прощалась со своим «соколиком». Угнали «соколика», воротилась Дарья из города к свекру в дом. Трех недель не минуло, грамотка издалека пришла: не дошел ее «соколик» до полка своего, заболел в каком-то городе, лег в лазарет, а оттуда в сосновый гроб.

Осталась Дарья Никитишна вольной вдовой, детей у ней не было. Баба еще молодая, всего девятнадцать лет, да такая славная, из себя красивая. Немало людей на Дарью заглядывалось, но она хоть и солдатка, как есть мирской человек, но берегла себя строго, умела подлипал от себя подальше спроваживать. Пришла беда, откуда она и не чаяла: толкнул бес свекра в ребро, навел на него искушение; зачал старый молодую сноху на любовь склонять, отходу ей не дает, ровно пришел его кто к сарафану Никитишны. Всем хотел свекор взять, и лаской и таской, да сноха крепка была: супротив греха выстояла. Невтерпеж, однако, стало ей, свекрови пожаловалась, а та ей: «Да мне-то что? Я старуха старая, в эти дела вступаться не могу, а ты свекра должна почитать, потому что он всему дому голова и тебя поит, кормит из милости». Пришло Никитишне житье хуже собачьего, свекор колотит, свекровь ругает, деверья смеются, невестки да золовки поедом едят. Терпела Дарья такую долю с полгода, извелась даже вся, на себя стала непохожа. Не хватило терпенья, ушла в чужие люди работой кормиться.

Куда-нибудь подальше хотелось ей, чтоб и вестей до нее не долетало про скверного свекра, ни про лютую свекровь, ни про злых невесток и золовок. Пошла в город Никитишна. Там к богатому барину пристроилась, в коровницы нанялась. С год за коровами ходила, потом в судомойки на кухню ее определили, на подмогу привезенному из Москвы повару. Барин того повара у какого-то московского туза в карты выиграл. Пошел повар в тысяче рублях, но знающие люди говорили, что тузу не грех бы было и подороже Петрушку поставить, потому что дело свое он знал на редкость: в Английском клубе учился, сам Рахманов¹² раза два его одобрял. Прожив при том поваре годов шесть либо семь, Никитишна к делу присмотрелась, всему научилась и стала большою помощью Петрушке. Меж тем воспитанник Английского клуба стал запивать, кушанье готовил хуже да хуже, кончил тем, что накануне барыниных именин сбежал со двора. Так и сгинул. Ходили потом слухи, будто он к матерям в скиты лыжи наострил, там в стару веру перешел, и что матери потом спровадили его в надежное место: к своим, за Дунай. На такие спроваживания беглых людей за Дунай-реку большие мастерицы бывали матери-келейницы. Пошлют беглого с письмом к знакомому человеку, тот к другому, этот к третьему, да так за границу и выпроводят.

Остался барин без повара, гости на именины позваны, обеда готовить некому. Что тут станешь делать? Принимай срам от гостей. Но выручила барина Никитишна, такой обед ему состряпала, что сам Рахманов, отведав того обеда, облизал бы пальчики. С той поры стала Никитишна за хорошее жалованье у того барина жить, потом в другой дом перешла, еще побогаче, там еще больше платы ей положили. И жила она в поварах без малого тридцать годов. А деньгу копить мастерица была: как стала из сил выходить, было у нее ломбардными билетами больше трех тысяч рублей на ассигнации. «Ну, – подумала тогда Никитишна, – будет на чужих людей жить, надо свой домишко заводить». Хоть родину добром поминать ей было нечего, –

¹² Известный московский любитель покусать, проевший несколько тысяч душ крестьян.

кроме бед да горя, Никитишна там ничего не ведала, – а все же тянуло ее на родную сторону: не осталась в городе жить, приехала в свою деревню Ключовку. Поставила Никитишна домик о край деревни, обзавелась хозяйством, отыскала где-то троюродную племянницу, взяла ее вместо дочери, вспоила, вскормила, замуж выдала, зятя в дом приняла и живет теперь себе, не налюбуется на маленьких внучат, привязанных к бабушке больше, чем к родной матери.

Хоть ни в чем не нуждалась Никитишна, но всегда не только с охотой, но с большой даже радостью езжала к городovým купцам и к деревенским тысячникам столы строить, какие нужны бывали: именинные аль свадебные, похоронные аль поминальные, либо на случай приезда важных гостей. Езжала Никитишна и к матерям обительским обеды готовить, когда, бывало, после Макарья, купцы богатые, скитские «благодетели», наедут к матерям погостить, побаловать, да кстати и Богу помолиться. Привыкнув к стряпне да к столовым хлопотам, скучно, бывало, становилось Никитишне, коли долго ее ставить столы никуда не зовут.

Изо всех знакомых городových купцов, изо всех заволжских тысячников ни к кому у ней сердце так не лежало, как к Патапу Максимычу. Аксинья Захаровна как-то в сродстве приходилась ей, и когда еще Никитишна по чужим людям проживала, Патапом Максимычем оставлена не была. Каждый год, бывало, он ей после Макарья чаю, сахару на целый год подарит, да платье хорошее, а иной год и шубу справит, либо деньгами не оставит. Добро Никитишна помнила твердо. Пошли за ней Патап Максимыч хоть в полночь, хоть во время выюги-метелицы, хоть в трескучий мороз, хоть в распутицу, часа не усидит, мигом в дорогу сберется и покатит к куманьку любезному. Хоть старым костям иной раз и неможется, от послуги Патапу Максимычу ни за что не откажется. И все семейство Чапуриных души не чаяло в доброй, всегда веселой, разговорчивой Никитишне. Кроме нужных случаев, когда Никитишне в Осиповке приводилось столы строить, нередко по неделям и даже по месяцам там она гащивала. И, бывало, во время таких гостин уж никак невозможно было уговорить старушку, чтобы она каждый день обеда не стряпала. Только что приедет, первым долгом в стряпушую. Тогда стряпка уж прочь ступай, к печи никого, бывало, не подпустит Никитишна.

Смерклось и вызвездило, когда по скрипучей от завернувшего под вечер морозца дороге к дому Никитишны пара добрых коней подкатила сани с кожаным лучком, с суконным, подбитым мурашкинской дубленкой, фартуком и широкими отводами. В синей суконной шубе на лисьем меху, подпоясанный гарусным кушаком, в мерлушчатой шапке, вылез из саней Патап Максимыч и, оставя при лошадях работника, зачал в ворота стучать. На его стук, заливаясь визгливым лаем, отвечали со двора собаки, затем слышались чьи-то шаги по снегу, кто-то окликнул приехавшего, и, когда Чапурин отозвался, ворота на оба полотна распахнулись.

– Ах, батюшка Патап Максимыч! – воскликнул Авдей, приемный сын Никитишны. – Милости просим. Пождите маленько, ваше степенство, за свечой сбегаю, темненько на дворе-то, не зашибиться бы вам ненароком.

– Не надо, Авдеюшка, дорога знакомая, – отвечал Патап Максимыч, – а ты вот, голубчик, коней-то на двор пусти да сенца им брось. Здорова ль Никитишна?

– Неможет, Патап Максимыч, другой день.

– Ой ли? Что ж такое с ней приключилось? – спросил Патап Максимыч.

– Да Бог ее знает: то походит, то поваляется. Года уж, видно, такие становятся. Великим постом на седьмой десяток перевалит, – говорил Авдей, провожая гостя.

Дверь из горницы отворилась. Авдеева жена, молодая, шустрая бабенка, с широким лицом, вздернутым носом и узенькими глазками, выбежала в сени со свечой.

– Патап Максимыч! Подобру ль поздорову? Милости просим, – заговорила она.

– Здравствуй, Татьянашка. Что тетка?

– Хворает.

Войдя в горницу, Патап Максимыч увидел, однако, что кума любезная, повязанная белым платком по голове, сама встречает его. Заслышав голос куманька, не утерпела Никитишна, встала с постели и пошла к нему навстречу.

– Какими судьбами до наших дворов? – спрашивала она у Патапа Максимыча.

– Да вот, ехал неподалече и завернул, – отвечал он. – Нельзя же куму не наведать. И то с Рождества не видались. Что, Божья старушка, неможется, слышь, тебе?

– Помирать время подходит, куманек. Кости все разболелись. Ломит, тягость такая! – говорила Никитишна. – Таня, ставь-ка ты самовар да сberi чайку: куманек с холодку-то погреемся.

– Рано бы помирать-то тебе, кумушка, – сказал, садясь на лавку, Патап Максимыч. – Пожить надо, внушек вырастить, замуж их поводить.

– Тебя только послушай, наскажешь, – помаленьку оживляясь, заговорила Никитишна. – Аредовы веки, что ли, прикажешь мне жить? Дело наше бабье: слаб сосуд.

– Поживем еще, кумушка, поживем, пока Бог грехам терпит. Выздоровливай. Ну, деток твоих видел, внучки-то что? Здоровеньки ли?

– Слава Богу. Аннушку за букварь засадила, – молвила Никитишна, – «аз, ангел, ангельский» – твердит, а Марфуша, как бы ты видел, какая забавная стала, что рассказать нельзя. Спать полегли, да вот завтра увидишь.

– Нет, кумушка, до утра у тебя не останусь, – сказал Патап Максимыч. – Я к тебе всего на часок и коней отпрягать не велел. В город еду. Завтра к утру надо быть там беспрерменно.

– Чтой-то, батька, какой ноне спесивый стал, – возразила Никитишна. – Заночевал бы, завтра пообедал бы. Чуть брожу, а для гостя дорогого знатный бы обедец состряпала. Наши ключовски ребята лось выследили, сегодня загоняли и привезли. Я бы взяла у них лосиного мяса, да такое б тебе кушанье состряпала, хоть царю самому на стол. Редко ноне лосей-то стали загонять. Переводятся что-то.

– Спасибо, кумушка, да ведь этого зверя, кажись, по закону есть не заповедано, – сказал Патап Максимыч.

– Что ты, окстись! – возразила Никитишна. – Ведь у лося-то, чай, и копыто разделенное, и жвачку он отрыгает. Макария преподобного «житие» читал ли? Дал бы разве Божий угодник лося народу ясти, когда бы святыми отцами не было того заповедано... Да что же про своих-то ничего не скажешь? А я, дура, не спрошу. Ну, как кумушка поживает, Аксиныя Захаровна?

– Ничего, – отвечал Патап Максимыч. – Клокчет себе. Дочерей взяли из обители, так с ними больше возится.

– Крестница моя что, Настасьюшка? Как поживает?

– Живет себе. Задурла было намедни.

– Как так?..

– Да в кельи захотела, – смеясь, сказал Патап Максимыч. – Иночество, говорит, желаю надеть. Да ничего, теперь блажь из головы, кажись, вышла. Прежде такая невеселая ходила, а теперь совсем другая стала – развеселая. Замуж пора ее, кумушка, вот что.

– И то правда, куманек, – согласилась Никитишна. – Ведь ей никак восемнадцать годков минуло?

– Да. Девятнадцатый пошел с осени, – молвил Патап Максимыч.

– Так... Так будет, – сказала Никитишна. – Другой год я в Ключове-то жила, как Аксиныюшка ее родила. А прошлым летом двадцать лет сполнилось, как я домом хозяйствую... Да... Сама я тоже подумывала, куманек, что пора бы ее к месту. Не хлеб-соль родительскую ей отрабатывать, а в девках засиживаться ой-ой нескладное дело. Есть ли женишок-от на примете, а то не поискать ли?

– Маленько заведено дельце, кумушка, – отвечал Патап Максимыч.

– Из каких мест Господь посылает? Здешний али дальний какой? – спросила Никитишна.

– Где по здешним местам жениха Настасье сыскать! – спесиво заметил Чапурин. – По моим дочерям женихов здесь нет: токари да кузнецы им не пара. По купечеству хороших людей надо искать... Вот и выискался один молодчик – из Самары, купеческий сын, богатый: у отца заводы, пароходы и торговля большая. Снежковы прозываются, не слыхала ли?

– Нет, Снежковых не слыхала, – отвечала Никитишна. – Да ведь я низовых-то мало знаю. Видел он крестницу-то?

– Покамест не видал, – сказал Патап Максимыч. – Да вот беда-то кумушка, что ты расхворалась.

– А что?

– Да ведь я было затем и приехал, чтобы звать тебя стол ради жениха урядить, – сказал Патап Максимыч. – На Аксиныны именины гостить к нам с отцом собирается.

– Беспременно буду, – живо подхватила Никитишна. – Да как же это возможно, чтобы на Настиных смотринах да не я стряпала? Умирать стану, а поеду. Присылай подводу, куманек, часу не промешкаю. А вот что, возьми-ка ты у наших ребят лося, знатно кушанье состряпаю, на редкость.

– Пожалуй, – молвил Патап Максимыч, – только уж ты сама сторгуйся и деньги отдай, после сочтемся. Теперь в город за покупками еду, послезавтра домой ворочусь и тотчас за тобой подводу пришлю. Сама приезжай и лося вези.

– Ладно, хорошо, – сказала Никитишна. – А я все насчет крестницы-то. Как же это, куманек, что-то невдомек мне: давеча сказал ты, что в монастырь она собираться вздумала, а теперь говоришь про смотрины. Уж не силой ли ты ее выдаешь, не супротив ли ее воли?

– Заправских смотрин не будет, и настоящего сватовства еще нет, – сказал, уклоняясь от прямого вопроса, Патап Максимыч. – Пуцай парень с девкой повидаются, друг на дружку посмотрят. А про сватовство и речи не будет. Раньше той зимы свадьбы нам не играть: и мне времени нет и Снежковым, – в разъездах придется все быть. Настя с молодцом теперь только повидятся, а по весне Михайло Данилыч, жених-от, еще раз-другой к нам заедет, – ну помаленьку и ознакомятся... А что про скиты-то Настасья заговорила, так это она так... Нравная девка твоя крестница... Да уж я тебе все расскажу, перед тобой таиться нечего: своя ведь, опять же мать крестная... Сказал я намерении Настасье, что жених у меня для нее припасен. Она в слезы. Ну, подумал я, это еще не велика беда; кака девка без реву замуж выходит?.. «Не пойду, говорит, за твоего жениха». Пошумел я. «У тебя, говорю, воли своей нет, отец с матерью живы; значит, моя воля над детищем, за кого хочу, за того и выдам». Тут она и молвила про обещанье, дала, дескать, обет постриг принять в обители. А у меня теперь мать Манефа гостит. Думал, не она ли дурь в голову девке набила. Любят ведь эти игуменьи богатеньких родственниц прилучать... Да как разузнал, вижу, Манефа тут непричинна. Я опять за Настасью, хотелось допытаться, с чего она постриг в голову себе забрала... Опять про жениха речь повел. А она, кумушка, как брякнет мне!.. Так и сняла с меня голову.

– Что такое? – спросила Никитишна.

– Коли, говорит, неволишь станешь, – «уходом», говорит, с первым встречным уйду... Подумай ты это, кумушка?.. А?.. «Уходом»?..

– Так и сказала? – спросила Никитишна, встревожась от таких вестей.

– Так и сказала. «Уходом», говорит, уйду, – продолжал Патап Максимыч. – Да посмотрела бы ты на нее в ту пору, кумушка. Диву дался, сначала не знал, как и говорить с ней. Гордая передо мной такая стоит, голову кверху, слез и в заводе нет, говорит как режет, а глаза как уголья, так и горят.

– Отцова дочка, – усмехнувшись, заметила Никитишна. – В тятеньку уродилась... Так у вас, значит, коса на камень нашла. Дальше-то что же было?

– Уж я лаской с ней: вижу, окриком не возьмешь, – сказал Патап Максимыч. – Молвил, что про свадьбу год целый помину не будет, жениха, мол, покажу, а год сроку даю на разду-

мье. Смолкла моя девка, только все еще невеселая ходила. А на другой день одумалась, с утра бирюком глядела, к обеду так и сияет, пышная такая стала да радостная.

– А ты девку-то больно не ломай, – молвила Никитишна. – Лаской больше бери да уговорами, на упрямое слово не серчай, на противное не гневайся.

– И то по ней все говорю, – отвечал Патап Максимыч. – Боюсь, в самом деле не наделала бы чего. Голову, кумушка, снимет!.. Проходу тогда мне не будет.

– Страшен сон, да милостив Бог, – успокаивала его Никитишна. – Много ль гостей-то звал?

– Да, кроме Снежковых, Ивана Григорьича с Груней, удельного голову, еще кое-кого, – отвечал Патап Максимыч. – Мне всего больше того хочется, кумушка, чтоб Снежковым показать, как мы в наших захолустьях живем. Хоть, дескать, на болоте сидим, а мохом не обросли. Не загордились бы, коли Бог велит в родстве быть. Так уж ты порадей, такой стол уряди, как у самых первых генералов бывает. Снежков-от Данило Тихоныч купец первостатейный, в городских головах сидел, у губернаторов обедывал, у самого царя во дворце, рассказывает, в Питере бывал. Порядки, стало быть, знает. Так уж ты лицом в грязь не ударь. Денег не желей, управь только все на самую хорошую руку. Чего в городе покупать? Сказывай, записывать стану.

Сидя за чаем, а потом за ужином, битый час протолковал Патап Максимыч с Никитишной, какие припасы и напитки искупить надо. И про Настю кой-что еще потолковали. Наконец, когда все было переговорено и записано, Патап Максимыч поехал из Ключова, чтоб с рассветом быть в городе.

Глава девятая

Шурин Патапа Максимыча, Никифор, был дрянь человек. Что это был за собинка, того довольно сказать, что «волком» его прозвали, – а хуже, позорней того прозвища в лесах за Волгой нет. «Волк» – это вконец проворовавшийся мужик, всенародно осрамленный, опозоренный, которого по деревням своего околотка водили в шкуре украденной им скотины, сопровождая бранью, побоями, хохотом и стуком в печные заслоны и сковороды. Много мирских побоев за воровские дела принял Микешка, да мало, видно, бока у него болели: полежит недельку-другую, поохает, помается, да, оправившись, опять за воровской промысел да за пьянство. Просто сказать – отятой человек.

А ведь, кажется, был из семьи хорошей. Родители были честные люди, хоть не тысячники, а прожили век свой в хорошем достатке. Жили они в удельном селе Скоробогатове. Отец Никифора, Захар Колотухин, пряжу скупал по Ячменской волости, где не только бабы да девки, но и все мужики по зимам за гребнем сидят. Продавая пряжу в Пучеже да в Городце, хорошие барыши он получал и доволен был житьем-бытьем своим. Детей у Колотухина всего только двое было, сын да дочь – красные дети, как в деревнях говорится. Растили родители Никифора, уму-разуму учили, на всякое добро наставляли как следует, да, видно, уж на роду было ему писано быть не справным хозяином, а горьким пьяницей и вором отъявленным. Урожается иной раз у хорошего отца такое чадушко, что от него только горе да бесчестье: роду поношенье, всему племени вечный покор.

Аксинья Захаровна старше брата была. Еще девочкой отдали ее в Комаровский скит к одной родственнице, бывшей в одной из тамошних обителей головщицей правого крылоса; жила она там в холе да в неге, думала и на век келейницей быть, да подвернулся молодой, красивый парень, Патап Максимыч Чапурин... Сошлись, ознакомились, он на нее не наглядится, она на него не надышится, решили, что жить розно им не приходится, и кончилось тем, что Патап Максимыч сманил девку, увез из скита и обвенчался с нею «уходом». Прошло года три, мать Аксиньи Захаровны померла в одночасье, остались в доме отец, старый вдовец, да сын, холостой молодец. Как жить без бабы? Никким образом нельзя, без хозяйки весь дом прахом

рассыплется... И задумал Захар Колотухин сам жениться и сына женить. Уж невесты были выбраны, и сваты приготовлены, обе свадьбы «честью» хотели справлять, да вдруг Захар занедужился, недельку-другую помаялся и отдал Богу душу.

Остался Никифор надо всем отцовским добром сам себе голова. Не больно жалел он родителя, схоронил его, ровно с поля убрался: живи, значит, теперь на своей воле, припеваючи. Про невесту и думать забыл, житье повел пространное, развеселое. В город поехал, все трактиры спознал, обзавелся друзьями-приятелями, помогли они ему вскорости растратить родительские денежки. Прогуляв деньги, лошадей да коров спустил, потом из дому помаленьку стал продавать, да года два только и дела делал, что с базара на базар ездил: по субботам в Городец, по воскресеньям в Катунки, по понедельникам в Пучеж, – так целую неделю, бывало, и разъезжает, а неделя прошла, другая пришла, опять за те же разъезды. Сказывал людям Никифор Захарыч, что по торговым делам разъезжает, а на самом деле из кабака в кабак метался, только на разуме и было что гульба да бражничанье. Впрочем, кроме сиденья в кабаках у Никифора и другие дела водились: где орлянку мечут, он уж тут как тут; где гроши на жеребьевую выпивку кусают да из шапки вынимают, Никифор первый; драка случится, озорство ли какое, безобразие на базаре затеется, первый заводчик непременно Никифор Захарыч. До того скоро дошел, что и пить стало не на что, пришлось чем-нибудь на выпивку денег добывать. И пошел наш Никифор на сухом берегу рыбу ловить: день в кабаке: а ночь по клетям, – что плохо лежит, то добыча ему. Вконец проворовался, но сколько раз в краже его ни примечали, все увертывался. Иной раз только боками ответит, отпустят его мужики еле живого. Почешется, почешется да опять за чужим добром. Нельзя же – целовальник в долг не дает.

А душа была у него предобрая. Кто не обижал, тому рад был услужить всячески. Пожар ли случится, Никифор первый на помощь прибежит, бывало, в огонь так и суется, пожитки спасая, и тут уж на него положиться было можно: хоть неделю капельки вина во рту не бывало, с пожара железной пуговицы не снесет. Душ пять на своем веку из огня выхватил да из Волги человек семь. Бывало, только слышит на реке крики: «Батюшки, тону! Подайте помощь, православные!..» – мигом в воду... А плавал Микешка, как окунь, подплывет, бывало, к утопающему, перелобанит его кулаком что есть мочи, оглушит до беспамятства, чтобы руками не хватался и спасателя вместе с собой не утопил, да, схватив за волосы, – на берег. Раз этак спас бурлака, что с барки упал, на глазах самого губернатора. Губернатор велел Никифора к себе позвать, похвалил его, записал имя и сказал ему:

– За твой человеколюбивый подвиг, за спасенье погибающего, к серебряной медали тебя представлю.

– А велика ль та медаль, ваше превосходительство? – спросил Микешка.

– В полтинник, – отвечал удивленный таким вопросом генерал.

– Так не будет ли такой милости, ваше превосходительство, – сказал Никифор, – чтоб теперь же мне полтинник тот в руки, я бы с «крестником» выпил за ваше здоровье, а то еще жди, пока вышлют медаль. А ведь все едино – пропью же ее.

Раз, под пьяну руку, женился Никифор. Проживала в селе Скоробогатове солдатка, вдова. Маврой звали ее. Разбитная была, на все руки. Известно дело, солдатка – мирской человек, кто к ней в келью зашел, тот и хозяин. Когда у Никифора еще деньги водились и дом еще не пропит был, связалась она с ним и задумала вокруг него покорыстоваться. Чем в тесной кельенке жить на задворище, не в пример лучше казалось ей похозяйничать в хорошем, просторном доме. Загулял раз с ней Микешка, пили без просыпу три дня и три ночи, а тут в Скоробогатове «проезжающий священник» наехал, то есть, попросту сказать, беглый раскольничий поп. Говорит Мавра Микешке:

– Соколик мой ясный, голубчик, Микешенька, возьми меня за себя.

– И без того со мной живешь, – отвечал Никифор. – Будет с тебя.

– Лучше будет, ненаглядный ты мой... Кус ты мой сахарный, уста твои сладкие, золотая головушка, не в пример лучше нам по закону жить, – приставала Мавра. – Теперь же вот и отец Онисим наехал, пойдем к нему, повенчаемся. Зажили б мы с тобой, голубчик, припеваючи: у тебя домик и всякое заведение, да и я не бесприданница, – тоже без ужина спать не ложусь, – кой-что и у меня в избенке найдется.

– Какое у тебя приданое? – смеясь, сказал солдатке Никифор. – Ну так и быть, подавай росписи: липовы два котла, да и те сгорели дотла, сережки двойчатые из ушей лесной матки, два полотенца из березова поленца, да одеяло стегано алого цвету, а ляжешь спать, так его и нету, сундук с бельем да невеста с бельмом. Нет, таких мне не надо – проваливай!

– Да полно, голубчик ты мой сизокрылый, не ломайся, Микешенька, – ублажала его Мавра. – Уж как же мы с тобой бы зажили!..

– Да поди ты к бесу на поветь, окаянная! – крикнул Никифор, плюнув чуть не в самую невесту. – Ишь, прости Господи, привязалась. Пошла вон из избы!

– Я бы тебе, Микешенька, во всем угождала, слушалась бы каждого твоего словечка; всем бы тебя успокоила, ты бы у меня как сыр в масле катался, – продолжала уговоры свои Мавра, поднося Никифору Захарычу стаканчик за стаканчиком.

Не устоял Никифор Захарыч супротив водки да солдаткиных уговоров. Сам не помнил, как в избу сватовья-соседи нагрянули и сволокли жениха с невестой к беглому попу Онисиму.

Проснулся поутру Никифор, Мавра возле него волосы ему приглаживает, сама приглубливает:

– Сокровище ты мое бесценное, муженек мой золотой, ясный соколик ты мой!

– Что ты, свинья тупорыла! С похмелья, что ль, угорела? Какой я тебе муж? – закричал Никифор, вскочив с постели.

– Как какой муж? – молвила Мавра. – Известно, какой муж бывает – венчанный! Бог да поп меня вчерась тебе отдали.

– Вон из избы! Чтоб духу твоего не было... Ишь кака жена выискалась!.. Уйди от греха, не то раскрою, – закричал еще не совсем проспавшийся Никифор, схватив с шестка полено и замахнувшись на новобрачную.

– Матушки мои!.. Голубушки!.. Да что ж это со мной, горькою, делается?.. – зачала во всю ивановскую причитать Мавра. – Да и чем же я тебе, Микешенька, досадила?.. Да и чем же я тебя, желанный, прогневала?

Хватил Никифор поленом по спине благоверную. Та повалилась и на всю деревню заверещала. Сбежались соседи – вчерашние сваты. Стали заверять Никифора, что он вечер прямым делом с Маврой повенчался. Не верит Никифор, ругается на чем свет стоит.

– Да сходи к попу, – говорят сватовья. – Спроси у него, поп не соврет, да и мы свидетели.

Сбежал Никифор к попу. И поп те же речи сказывает. Делать нечего. Поп свяжет, никто не развяжет, а жена не гусли, поигравши, ее не повесишь. Послал за вином, цело ведро новобрачные со сватами распили. Так и повалились, где кто сидел.

Проспались. Никифор опять воевать. Жену избил, и сватьям на калачи досталось, к попу пошел и попа оттрепал: «Зачем, говорит, пьяный пьяного венчал?» Только и стих, как опять напился.

Желтенькое житье Мавре досталось. Не ждала она такой жизни, не думала, чтобы силой да обманом взятый муж таким лютым сделался. Что день – то таска, что ночь – потасовка. Одной печи у Мавры на спине не бывало. Только и отдохнет, как муж по дальним кабакам уедет гулять. А из дому Никифор ее не гнал. «Что ж делать, говаривал, какая ни на есть жена, а все-таки Богом дана, нельзя ж ее из дому гнать». Тогда только ушла от него Мавра, как он и дом и все, что в доме, дотла прогулял, и не стало у него ни кола, ни двора. Сбежала Мавра к целовальнику, прежнему приятелю, села в кабаке жареной печенкой торговать.

Скучно как-то стало Никифору, что давно жены не колотил. Пришел в кабак да, не говоря худого слова, хватъ Мавру за косы. Та заголосила, ругаться зачала, сама драться лезет. Целовальник вступился.

– Как ты смеешь, – говорит Никифору, – в казенном месте буянить? Как ты смеешь вольну солдатку бить? Она тоже, – говорит, – человек казенный!

– Как так казенная, – закричал Никифор. – Она жена моя венчанная. Мое добро, сколь хочу, столько и колочу.

– Да черт, что ли, меня с тобой вкруг пенька на болоте венчал? – закричала Мавра, поправляя раскосмаченную голову.

– Не черт, а батюшка, отец Онисим, – отвечал озадаченный жениными словами Никифор.

– А в какой это церкви он венчал меня с тобой? В каком приходе? – кричала Мавра на все село. – Где свадьба наша записана?.. В каких книгах?.. Ну-ка, докажи!

– Сама знаешь, что отец Онисим проезжающий был.

– А ну-ка, докажи! – кричала Мавра. – А ну-ка, докажи! Какие такие проезжающие попы?.. Что это за проезжающие?.. Я церковница природная, никаких ваших беглых раскольнических попов знать не знаю, ведать не ведаю... Да знаешь ли ты, что за такие слова в острог тебя упрятать могу?.. Вишь, какой муж выискался!.. Много у меня таких мужьев-то бывало!.. И знать тебя не хочу, и не кажи ты мне никогда пьяной рожи своей!..

Нечего тут взять, коли баба и от попа отчуралась.

– Ну, – крикнул Микешка с горьким чувством целовальнику, – так, видно, делу и быть. Владей, Фаддей, моей Маланьей!.. А чапуруху, свояк, поставь... Расшибем полштофика!.. Выпьем!.. Плачу я... Гуляем, Мавра Исаевна!.. А ну-ка, отрежь печенки... Ишь черт какой, дома, небойсь, такой не стряпала!.. Эх, погинула вконец моя головушка!.. Пой песню, Маврушка, ставь вина побольше, свояк!

Уж как, кажется, ни колотил Никифор жены своей, уж как, кажется, ни постыла она ему была за то, что сама навязалась на шею и обманом повенчалась с ним, а жалко стало ему Мавры, полюбились тут она ему с чего-то. Проклятого разлучника, скоробогатовского целовальника, так бы и прошиб до смерти...

Мавре было все равно. Ей хоть сейчас с татаринном ли, с жидом ли повенчаться, а Микешка по старой вере был крепок. Частенько потом случалось, что в надежде на богатого зятя, Патапа Максимыча, к нему в кабаках приставали вольны девицы да мирские вдовицы: обвенчаемся, мол. У Микешки один ответ на таки речи бывал:

– Запросто гулять давай, а венчаться нельзя. Поп венчал, а из жены душа не вынута.

С ломом красть ходить да с отмычками – дело опасливое, разом в острог угодишь. Да и то сказать: забравшись в чужу клеть, вору хозяйско добро не оценивать стать. А без того умному вору нельзя, коли он знает закон. Хорошо, как на двадцать на девять целковых под руку подвернется, беда не велика. По старому закону за это спиной только, бывало, вор отвечает. А как, по неопытности, зараз на тридцать загребет, да поймают с поличным: по тому же закону – Сибирь, поселенье. И воровать-то надо сноровку знать: занадобится сто рублей, умному вору, чтоб дома остаться, надо их в четыре приема красть. Микешка это разумел и оттого воровал по мелочи. Надоели, однако, мирские побои добру молодцу, принялся он за «волчий промысел». Тут не скоро попадешься.

За Волгой нет особых пастбищ и выгонов. Скот все лето по лесу пасется. Коням нарочно боталы да глухари¹³ на шею надевают, чтоб, когда понадобится лошадь хозяину, по звону ее скорей можно было сыскать. Коровы да овцы в лесах уж так приучены, что целый день по лесу бродят, а к вечеру сами домой идут. Пастухов за Волгой в заводе нет. В прежнее время слыхом

¹³ **Ботало** – вроде деревянного колокола, а **глухарь**, или бухарь, – металлический полый шар, в который до заклепки кладут камешек. Это вроде большого бубенчика.

не было слыхано, чтобы где-нибудь лошадь угнали, хоть она беспастушно паслась. Дальше на север и досель эта добрая старина держится. По Заволжью лошадей тогда только начали красть, как учредили особую должность комиссаров по пресечению конокрадства¹⁴. Должно быть, вора́м стало совестно, что ради их особых чиновников наслали и они даром казенное жалованье берут. Не пропадай же даром казна государева – давай и мы лошадок красть.

А коров да овец иной раз из лесу воры прежде уводили. Таких воров «волками» народ прозвал. Эти «волки» с руками накроют, бывало, в лесу коровенку либо овцу, тут же зарежут да на воз и на базар. Шкуру соймут, особо ее продадут, а мясо задешево промышленникам сбудут, тем, что солонину на бурлаков готовят. Промысел этот не в пример безопасней, чем хождение по чужим клетям и амбарам. Редко «волка» выслеживали. Но если такого вора на деле застанут, тут же ему мужики расправу чинят самосудом, по старине. Выпорют сначала розгами, сколько лозанов влезет, снимут с зарезанной скотины шкуру, от крови не омытую, надевают на вора и в таком наряде водят его из деревни в деревню со звоном в сковороды и заслоны, с криком, гиканьем, бранью и побоями. Делается это в праздничные дни, и за вором, которому со времени этой прогулки дается прозвание «волка», собирается толпа человек во сто. После того человек тот навек опозорен. Какую хочешь праведную жизнь вести, все его «волком» зовут, и ни один порядочный мужик на двор его не пустит.

Пропившийся Никифор занялся волчьим промыслом, но дела свои и тут неудачно повел. Раз его на баране накрыли, вдругорядь на корове. Последний-то раз случилось неподалеку от Осиповки. Каково же было Патапу Максимычу с Аксиньей Захаровной, как мимо дому их вели братца любезного со звоном да с гиканьем, а молодые парни «волчью песню» во все горло припевали:

Как у нашего волка
Исколочены бока,
Его били, колотили,
Еле жива отпустили.
А вот волка ведут,
Что Микешкой зовут.
У! у! у!
Микешке волку
Будет на холку!
У! у! у!
Не за то волка бьют,
Что сер родился,
А за то волка бьют,
Что барана съел.
Он коровушку зарезал,
Свинье горло перегрыз.
Ой ты, волк!
Серый волк!
Микешкина рожа
На волка похожа.
Тащи волка живьем,
Колоти его дубьем.

¹⁴ Этих чиновников (теперь должность комиссаров упразднена) обыкновенно звали «конокрадами». Что в Заволжье конокрадство, дотоле неслыханное, началось с учреждения этой должности, вовсе для того края ненужной (в сороковых годах), это положительный факт.

Сколь ни силен, сколь ни могуч был в своем околотке Патап Максимыч, не мог ничего сделать для выручки шурина. Ни грозой, ни просьбой, ни деньгами тут ничего не поделаешь. Обычай хранят, чин справляют – мешаться да перечить тут нельзя никому.

Раза три либо четыре Патап Максимыч на свои руки Микешку брал. Чего он ни делал, чтоб направить шурина на добрый путь, как его ни усовецивал, как ни бранил, ничем не мог пронять. Аксиныя Захаровна даже ненавидеть стала брата, несмотря на сердечную доброту свою. Совестно было ей за него, и часто грешила она: просила на молитве Бога, чтоб послал он поскорей по душу непутного брата.

С крещенского сочельника, когда Микешка вновь принят был зятем в дом, он еще капли в рот не брал и работал усердно. Только работа его не спорилась: руки с перепоя дрожали. Под конец взяла его тоска – и выпить хочется и погулять охота, а выпить не на что, погулять не в чем. Украл бы что, да по приказу Аксины Захаровны зорко смотрят за ним. Наверх Микешке ходу нет. Племянниц еще не видал: Аксиныя Захаровна заказала братцу любезному и близко к ним не подходить.

На другой день после отъезда Патапа Максимыча в город за покупками все утро до самого обеда бродил Микешка из места в место. Такая на него тоска напала, что хоть руки на себя наложить. Сосет его за сердце винный червяк. За стакан водки руку на отсечение бы с радостью отдал. И у того и у другого работника Христа ради просил он гривенничек опохмелиться, но от Патапа Максимыча было строго-настрого заказано: ни под каким видом гроша ему не давать. С тоски да с горя Микешка, сам не зная зачем, забрел в нижнее жилье дома и там в сенях, перед красильным подклетом, завалился в уголок за коробка с посудой. Там лежал он, в сотый раз передумывая, как бы раздобыться деньжонками, хоть двугривенным каким-нибудь, чтобы сбегать в Захлыстинский кабак и, отведа там душу, воротиться, пока не приехал еще домой Патап Максимыч.

Обедать работники пошли. В ту пору никто в красильный подклет, кроме хозяина, не заглядывал, а его не было дома. Фленушка тотчас смекнула, что выпал удобный случай провести Насте с полчаса вдвоем с Алексеем. Шепнула ему, чтоб он, как только работники по избам обедать усядутся, шел бы в красильный подклет.

Алексей долго ждать себя не заставил. Только зашабашили работники, он сказал, что ему, по хозяйскому приказу, надо пересмотреть остальные коробка с посудой и засветло отослать их на пристань, и отправился в подклет. Фленушка его караулила и дала знать Насте. Настя спустилась в подклет.

– Настенька моя, красавица! – говорил Алексей, встречая ее крепкими объятиями и страстными поцелуями. – Давно ль мы, кажись, с тобой виделись, а по мне, ровно годы с той поры прошли. Яблочко ты мое наливчатое, ягодка ты моя красная!

– И я совсем стосковалась по тебе, Алеша, – прижимаясь к милому, молвила Настя. – Только и думы у меня, что про тебя, дружочек мой.

– Как бы вовсе нам не расставаться, моя ясынька! – молвил Алексей, обнимая Настю.

Длинным, длинным поцелуем поцеловала его Настя. Не до разговоров было... Глядя друг на друга, все забыли они. Вздохи сменялись поцелуями, поцелуи вздохами.

Крепко сжимал Алексей в объятиях девушку. Настя как-то странно смеялась, а у самой слезы выступали на томных глазах. В сладкой сердечной истоме она едва себя помнила. Алексей шептал свои мольбы, склоняясь к ней...

Когда трепетная, побледневшая Настя вышла в сени, ее встретила Фленушка.

– Ну что? – спросила она.

Настенька припала к плечу подруги и заплакала...

– Ну, пойдем, пойдем, – молвила Фленушка. – Здесь еще навернется кто-нибудь...

И увлекла ее в светелку.

Алексей оставался несколько времени в подклете. Его лицо сияло, глаза горели. Не скоро мог он успокоиться от волнения. Оправившись, пошел в сени короба считать.

Передвигая короб за коробом, увидал притаившегося за ними Микешку.

– Что тут делаешь? – крикнул на него Алексей. – Разве тебе место тут?

Микешка встал и, глупо улыбаясь, сказал Алексею:

– С праздником поздравить честь имеем.

– Какой тут праздник за коробами нашел? – строго сказал ему Алексей. – Убирайся на свое место.

– Мое, брат, место всегда при мне, – отвечал Микешка. – Аль не знаешь, какой я здесь человек? Хозяйский шурина, Аксины Захаровны брат родной. Ты не смотри, что я в отрепье хожу... – свысока заговорил Микешка и вдруг, понизив голос и кланяясь, сказал: – Дай, Алексей Трифоныч, двугривенничек!

– Ступай, ступай, откуда пришел, не то Патапу Максимычу скажу, – говорил Алексей, выгоняя из сеней Микешку. – Да ступай же, говорят тебе!

– Дай двугривенный, так сейчас уйду! – настойчиво сказал Микешка.

– Убирайся. Честью тебе говорят, а то смотри, я ведь и взащей.

– Меня взащей! Помни же ты это слово!

– Ну, ладно, ладно, проваливай!

– Помни, а я не забуду, – ворчал Микешка, уходя на двор. – Вишь, девишник какой! А она-то, спасенница-то! Ну, девка! Ай да Фленушка!

Микешка видел из-за коробов, как в подклет входил Алексей, видел и Фленушку. Больше ничего не видел. Думал он, что Алексей ходил с келейной белицей в подклет на тайное свиданье.

* * *

В доме Патапа Максимыча накануне именин Аксины Захаровны с раннего утра все суетились. Самого хозяина не было дома; уехал на соседний базар посмотреть, не будет ли вывезено подходящей ему посуды. У оставшихся дома семейных возни, суетни у каждого было по горло. Аксины Захаровна с дочерьми и с Фленушкой, под руководством Никитишны, прибирала передние горницы к приему гостей: мебель воили, зеркала вином обтирали, в окна чистые занавески вешали. Накануне из города привезли Чапурину две горки красного дерева за стеклами, их поместили по углам. Аксины Захаровна вынимала из сундуков серебряную и фарфоровую посуду, приготовленную дочерям в приданое, Настя и Параша расставляли ее каждая в своей горке. Патап Максимыч каждый раз, как бывал в Москве или у Макарья, привозил дочерям ценные подарки, и в продолжение нескольких лет накопилось их довольно. Ожидая в гости жениха, он, бывши в последний раз в городе, купил в мебельной лавке горки, чтобы все свои подарки выставить напоказ. Знали бы, дескать, Снежковы, что дочери у него не бесприданницы.

Весело уставляла Настя «свою» горку серебром и фарфором, даже песенку запела. Следов не видно было прежней тоски.

Аксины Захаровна в суетах из сил выбилась.

– Ох, родная ты моя, – говорила она Никитишне, садясь на стул и опуская руки, – моченьки моей не стало, совсем измучилась...

– Да не суетись ты, Аксинышка, – отвечала ей Никитишна. – Ведь только так, даром толчешься, сидела бы себе в спокойе. И без тебя все украсим как следует.

– Как же это возможно, – отвечала хозяйка. – Сама не приглядишь, все шиворот-навыворот да вон на тараты пойдет... А после за ихнюю дурость принимай от гостей срам да окрик

от Патапа Максимыча... Сама знаешь, родная, какие гости у нас будут! Надо, чтобы все было прибрано показистее.

– Не твое это дело, Аксиныюшка. Предоставили мне, одна и управлюсь, тебя не спрошу. Чать, не впервые, – сказала Никитишна.

– Так-то так, уж я на тебя как на каменну стену надеюсь, кумушка, – отвечала Аксинья Захаровна. – Без тебя хоть в гроб ложись. Да нельзя же и мне руки-то сложить. Вот умница-то, – продолжала она, указывая на работницу Матрену, – давеча у меня все полы перепортила бы, коли б не доглядела я вовремя. Крашены-то полы дресвой вздумала мыть... А вот что, кумушка, хотела я у тебя спросить: на нонешний день к ужину-то что думаешь гостям сготовить? Без хлеба, без соли нельзя же их спать положить.

– Да что сготовить? – с расстановкой стала говорить Никитишна. – Буженины косяк да стерлядок разварим, индейку жареную, и будет с них.

– А похлебку-то?

– Никакой похлебki не надо. Не водится, – отвечала Никитишна.

– Как же это за ужин без варева сесть? Ладно ли будет? – с недоумением спросила Аксинья Захаровна. – Ну, а назавтра, на обед-от, что ты состряпаешь?

– Уху сварю, – отвечала Никитишна. – Хороших стерлядок добыл Патап Максимыч, живы еще и теперь, у меня в лохани полощутся. После ухи кулебяку подам, потом лося, что из Ключова с собой привезла, осетра разварим, рябков в соусе сготовим, жареных индюшек, а после всего сладкий пирог с вареньем.

– Не маловато ли будет? – сказала Аксинья Захаровна. – Ты бы уж дюжину кушаньев-то состряпала.

– Больше не надо, – отвечала Никитишна. – Выдай-ка мне напитки-то, я покаместь их разберу.

– Пойдем, пойдем, родная, разбери; тут уже я толку совсем не разумею, – сказала Аксинья Захаровна и повела куму в горницу Патапа Максимыча. Там на полу стоял привезенный из города большой короб с винами.

– Ну, ты поди, управляйся с полами, – сказала Никитишна Аксинье Захаровне, – а ко мне крестницу пришли. Мы с ней разберем.

Аксинья Захаровна вышла. Весело вбежала в горницу Настя.

– Развязывай короб-от, Настенька, – сказала Никитишна. – Давай разбирать.

Настя развязала короб и стала подавать бутылку за бутылкой. Внимательно рассматривая каждую, Никитишна расставляла их по сортам.

– Чтой-то с тобой творится, Настя? Ровно ты не в себе? – сказала она.

– Ничего, крестнiнька, – весело отвечала Настя, но, заметив пристальный взгляд, обращенный на нее крестной матерью, покраснела, смешалась.

– Меня, старуху, красавица, не обманешь, – говорила Никитишна, смотря Насте прямо в глаза. – Вижу я все. На людях ты резвая, так и юлишь, а как давеча одну я тебя подсмотрела, стоишь грустная да печальная. Отчего это?

– Никакой нет у меня грусти, крестнiнька, – отвечала смущенная Настя. – Тебе показалось.

– Не обманывай меня, Настя. Обмануть кресну мать – грех незамолимый, – внушительно говорила Никитишна. – Скажи-ка мне правду истинную, какие у вас наемдни с отцом перекоры были? То в кельи захотелось, то, гляди-кась, слово какое махнула: «уходом»!

У Насти от сердца отлегло. Сперва думала она, не узнала ль чего крестнiнька. Меж девками за Волгой, особенно в скитах, ходят толки, что иные старушки по каким-то приметам узнают, сохранила себя девушка аль потеряла. Когда Никитишна, пристально глядя в лицо крестнице, настойчиво спрашивала, что с ней поделалось, пришло Насте на ум, не умеет ли и

Никитишна девушек отгадывать. Оттого и смутилась. Но, услышав, что крестная речь завела о другом, тотчас оправилась.

– А! успели уж пожалобиться! – с досадой сказала она. – А коли уж все тебе рассказано, мне-то зачем еще пересказывать?.. Жениха на базаре мне заготовил!.. Да я не таковская, замуж неволей меня не отдашь... Не пойду за Снежкова, хоть голову с плеч. Сказала: «уходом» уйду... Так и сделаю.

– А как нагонят? – молвила Никитишна. – Как поймают? От твоего родителя мудрено «уходом» уйти. Подначального народу у него сколь?.. Коли такое дело и впрямь бы случилось, сколько деревень в погоню он разошлет!.. Со дна моря вынут...

– Тогда руки на себя наложу, – твердо и решительно сказала Настя. – Нож припасу, на тятиных глазах и зарежусь... Ты еще не знаешь меня, крестненька: коль я что решила, тому так и быть. Один конец!

– Полно, полно, Настенька, – уговаривала ее Никитишна. – Чтой-то какая ты в самом деле стала?.. А может, этот Снежков и хороший человек?

– Он тятю по торговле хорош, – с усмешкой молвила Настя. – Дела, вишь, у него со стариком какие-то есть; ради этих делов и надо ему породниться... Выдавай Парашу: такая же дочь!.. А ей все одно: хоть за попа, хоть за козла, хоть бы дубовый пень. А я не из таковских.

– Не гневи, Настенька, отца с матерью. Грех, – сказала Никитишна.

– Ничем я их не прогневила, – сказала Настя. – Во всем покорна, а насчет этого – ну уж нет. Силком за немилого замуж меня не выдадут.

– За немилого! – усмехнулась Никитишна. – А за милого пойдешь?

– Еще бы нейти! – улыбнувшись, ответила Настя.

– Не завелся ли такой? – лукаво поглядывая на крестницу, спросила Никитишна.

– Да ты, крестненька, от себя это спрашиваешь? – сложив накрест руки и нахмутив брови, спросила Настя. – Аль, может, тятенька велел тебе мысли мои выведывать?

– Известно, сама от себя, – отвечала Никитишна. – Разве я чужая тебе? Не носила, не кормила, а все же мать. Жалеючи тебя, спрашиваю.

Неправду сказала Никитишна. Еще в Ключове Патап Максимыч просил ее выпытать у Насти, не завелась ли у ней зазнобушка. «В скиту ведь жила, – говорил он, – а там девки вольные, и народу много туда наезжает».

Настя немного подумала и с твердостью сказала, как отрезала:

– Коли ты, крестненька, от себя спрашиваешь, так я одно тебе слово скажу: «нет». Больше у меня и не спрашивай. А коль велено тебе мои мысли спознать, так скажи им вот что: вздумают силой замуж отдавать, свяжусь с самым лядашим из тятиных работников... Сама навяжусь, забуду стыд девичий... Не он меня выкрадет, а я его «уходом» к попу сведу... Самого лядашего, слышишь?.. Так и скажи... Кто всех пьяней, кто всех вороватей, того и возьму в полюбовники... Жаль, что с дядей венчаться нельзя, а то бы вышла я за нашего пропойцу.

– Ах, Настенька, Настенька! – качая головой, сказала Никитишна. – В уме ли ты?

– Покуда в уме, – ответила Настя. – А пойдут супротив воли моей, решусь ума и таких делов настряпаю, что только ахнут... Не то что «уходом» венчаться сегу, к самому паскудному работнику ночевать уйду... Вот что!

Глава десятая

В Осиповке еще огней не вздували. По всей деревне мужички, лежа на полатах, сумерничали; бабы, сидя по лавкам, возле гребней дремали; ребятишки смолкли, гурьбой забившись на печи. На улицах ни души.

А у Патапа Максимыча в доме все на ногах. В горницах и в сенях огни горят, в передней, где гостям сидеть, на каждом окошке по две семитки лежит, и на каждой курится монашенка¹⁵. Все домашние разодеты по-праздничному. Особенно нарядно и богато разодета Настасья Патаповна. В шелковом пунцовом сарафане с серебряными золочеными пуговицами, в пышных батистовых рукавах, в ожерелье из бурмицких зерен и жемчугу, с голубыми лентами в косах, роскошно падавших чуть не до колен, она была так хороша, что глядеть на нее – не наглядисься... Но что-то недоброе порой пробежало на хмуром лице ее. Не суежилась Настя, как прочие, но и на месте не сидела. То к окну подойдет, то в светлицу сходит, то на кресло сядет; и все так порывисто, как бы со злом каким. Говорят ей что-нибудь, не ответит, либо скажет что невпопад. Глядя на дочь, Аксинья Захаровна только руками по полам хлопает, а Патап Максимыч исподлобья сурово поглядывает; но, помня прошлое, себя сдерживает, словечка не вымолвит, ходит себе взад да вперед по горнице, поскрипывая новыми сапогами.

Первым из гостей прикатил Иван Григорыч. Частой, дробной рысцой парочка кругленьких соловых вятков подвезла к растворенным настежь воротам Чапурина уютные легкие санки-катунки, казанской работы, промеж расписных вязков обитые немецким железом. В санках, рядом с седоватым кумом, сидела красивая молодая женщина в малиновой шелковой шубке с большим кунным воротником, голова у ней укутана была голубым ковровым платком. То была жена Ивана Григорыча – Аграфена Петровна, не родная, да и не чужая Патапу Максимычу – дочка его богоданная.

Иван Григорыч Заплатаин был тоже из заволжских тысячников. Верстах в пятнадцати от Осиповки, на краю «чищи», что полосой тянется вдоль левого волжского берега, под самой «раменью»¹⁶, проживал он в небольшой деревушке домов в двадцать, Вихорево прозывается. Как Чапурин верховодил в Осиповке, так Иван Григорыч в своем Вихореве. Эта деревня да еще с дюжину околных круглый год на него работали и звали Заплатаина своим «хозяином». А занимаются по тем местам делом валеным.

У Заплатаина при доме было свое заведение: в семи катальных банях десятка полтора наемных батраков зиму и лето стояло за работой, катая из поярка шляпы и валеную обувь. В окрестных деревнях на него же мягкий товар валяли. Кто ездил зимней порой по той стороне, тот видал, что там в каждом доме по скатам тесовых кровель, лицом к северу, рядами разложены сотни, тысячи белых валенок, а перед домом стоит множество «суковаток»¹⁷, у каждой десятка по два рогулин, и на каждой рогулине по валенку висит. Это мягкий товар промораживают, чтоб бело да казисто на покупателя смотрел. Из катальных бань то и дело выскакивают босые, с головы до пояса обнаженные, распотелые работники. Прокатится парень кубарем по снегу, прохладится и назад в баню за работу. А из распахнутых настежь дверей катален пар, как дым пожарный, валит, оседая по застрехам хлопками густой, белой кружевины. За сотню деревень таким промыслом кормятся.

В прежнее время Иван Григорыч больше по шляпной части занимался. Лет сорок тому назад заволжские катальщики чуть не на всю великорусскую сельщину шляпы работали. Валяли они и тот «шляпóк», что исстари в ходу по Тверской и Новгородской сторонам – с низенькой прямой тульей, – и ярославскую «верховку», такую же низенькую, но с тульей рас-трубом. В Суздальскую сторону, на Ветлугу, на Вятку, в Пермь и на волжское Низовье работали

¹⁵ Курильная свечка.

¹⁶ По левому берегу Волги тянется безлесная полоса верст в 20–25 шириной. Здесь в старину был лес; остатки пней местами сохранились, но он давно или вырублен, или истреблен пожарами и буреломами. Эта полоса зовется *чищею*. *Раменью* называется окраина лесов, прилегающих к чище. *Красная рамень* – окраина леса хвойного: сосны, ели, лиственницы; *черная рамень* – окраина лиственного леса. Есть за Волгой местности, которым свойственны названия Красной рамени и Черной рамени, как собственные имена. Таким образом, например, в Семеновском уезде Нижегородской губернии есть большие населенные пространства, носящие названия Красной и Черной Раменей.

¹⁷ **Суковатка** – семи-восьмигодовалая елка, у которой облуплена кора и окорочены сучья, в виде рогулек. Суковатку ставят в сугроб комлем кверху и на рогульки развешивают валенки.

шляпы гречушником «с подхватцем» либо «с переломом»; для Московской стороны «шпилек московский», на Рязань, на Тулу и дальше к Украине «шпилек ровный» да «кашники». Большим подспорьем шляпной торговле бурлаки в прежнее время бывали. Для них шляпу на особую стать за Волгой валяли, ни дать ни взять, как те низенькие, мягкие летние шляпы, что теперь у горожан в моду вошли. И татарам за Волгой белые шляпы валяли. Хоть иной катальщик и брезговал такой работой: греховное, дескать, дело христианские руки поганить, катая шляпу на бриту башку бусурманина, но таких не много бывало, потому что «татарка» товар сходный, никогда, бывало, не залежится. Много денег за Волгой шляпой добывали, немало досужих работников шляпа в люди вывела, тысячами поставила. Теперь не то. Все это было, да давно и сплыло, а что не сплыло, то быльем поросло.

Совсем подошла теперь шляпа заволжская. Хоть брось совсем. Спрос малый, сбыту вовсе почти не стало. Годов тридцать тому назад какой-то кантауровец¹⁸ ушел на жительство в Тверскую сторону и там, где-то около Торжка, завел родимый свой заволжский промысел. Сразу разбогател. Новые соседи стали у того кантауровца перенимать валеное дело, до того и взяться за него не умели; разбогатели ли они, нет ли, но за Волгой с той поры «шляпка» да «верховки» больше не валяют, потому что спросу в Тверскую сторону вовсе не стало, а по другим местам шляпу тверского либо ярославского образца ни за что на свете на голову не наденут – смешно, дескать, и зазорно. С легкой руки кантауровца, и другие заволжане по чужим сторонам пошли счастья искать и развели дедовский промысел по дальним местам. Спросу на шляпу за Волгой оттого стало еще меньше. А тут пароходы на Волге завелись, убили бурлачество, тогда и бурлацкой шляпе пришел конец. А больше всего бед наделал картуз. Вышел он на Русь из неметчины, да не из заморской, а из своей, из той, что лет сто тому назад мы, сами не зная зачем, развели на лучших местах саратовского Поволжья. Дешевый картуз вытеснил более ценную стародавнюю шляпу, и осталась она лишь праздничным убором молодежи, да еще степенные, седые мужики пока еще не променяли дедовских шляп на нововводный картуз.

Хизнул за Волгой шляпный промысел, но заволжанин рук оттого не распустил, головы не повесил. Сапоги да валенки у него остались, стал калоши горожанам работать по немецкому образцу, дамские ботинки, полусапожки да котики, охотничьи сапоги до пояса, – хорошо в них на медведя по сугробам ходить, – да мало ль чего еще не придумал досужий заволжанин.

Иван Григорьич вот какой промысел тогда произвел. Раз, будучи у Макарья, зашел по какому-то делу к знакомому барину. Погода стояла дождливая. Выходя из дому вместе с Иваном Григорьичем, барин велел подать себе непромокаемое пальто. Иван Григорьич полюбопытствовал, пощупал невиданное им дотоле пальто, видит, дело-то валеное, значит, сподручное, спросил у барина, где он добыл такую вещь, и, по его указанию, купил у заезжего на ярмарку чужеземца непромокаемое пальто, дал чуть ли не четвертную. Воротясь в Вихорево, принялся Иван Григорьич по иноземному образцу пальто работать, вышло ничем не хуже, зато вшестеро дешевле. Медаль получил на выставке. Вихоревские пальто спервоначалу шибко пошли в ход, только ненадолго: зазорно стало господам мужицкого дела одежду носить – подавай хоть поплоче, да подороже, да чтоб было не свое, а немецкое дело... Азямы тогда стал работать Иван Григорьич непромокаемые – эти пошли.

Жил Иван Григорьич, на Бога не жаловался. Всего у него было в досталь. Скупая валеный товар по окрестностям и работая в своем заведении, каждый год он его не на одну тысячу сбывал у Макарья и, кроме того, сам на Низ много валеной обуви сплавлял. В Нижнем у него лавка была, приказчик в ней круглый год сидел, да на ярмарке две лавки нанимал. Мельница-крупчатка на Линде у него стояла, о десяти поставках была. На последних годах пароход кабестан-

¹⁸ **Кантаурово** – село на реке Линде, за Волгой, верстах в двадцати от Нижнего Новгорода, один из центров валеночного промысла. По имени этого села всех вообще заволжских катальщиков, приготовляющих шляпы и валеную обувь, нередко зовут кантауровцами.

ный завел: пароход звался «Вихорем», забежка «Заплатой». Тысяч в семьдесят на серебро обошелся.

С Патапом Максимычем Заплатин с малолетства дружил. Оба из одной деревни: старик-от Заплатин тоже был осиповский и в шабрах проживал с Максимом Чапуриным. Патапушка да Ванюшка с ребятишками вместе на улице в козны да в горелки игравали, у келейницы Капитолины вместе грамоте обучились, вместе в люди вышли. Схоронив отца с матерью, Иван Григорыч не пожелал оставаться в Осиповке, а занявшись по валеному делу, из «рамени» в «чищу» перебрался, где было ему не в пример вольготнее, потому что народ там больше этим промыслом жил. Но, выселившись из Осиповки, в прежней любви с Чапуриным остался. Жили они после того три десятка лет ладно и советно; никогда промеж них серая кошка не пробегала. Не раз друг друга из беды выручали, не раз помощь в пору, вовремя друг другу подавали. Дай Господи родным братьям в таком согласье жить, в каком жили осиповский тысячник с вихоревским. И семейные их меж себя тоже как родные были.

Испокон веку народ говорит: жена добрая, домовитая во сто крат ценней золота, не в пример дороже камня самоцветного. Правдиво то русское извечное слово; правду его Иван Григорыч на себе спознал. Хозяйка у него была молодая, всего двадцати двух лет, но такое сокровище, что дай Бог всякому доброму человеку. Свежая, здоровая, из себя пригожая, Аграфена Петровна вот уж пятый год живет за ним замужем и, хоть Иван Григорыч больше чем вдвое старше ее, любит седого мужа всей душой, денно и нощно благодаря Создателя за счастливую долю, ей посланную. Ясное, веселое лицо Аграфены Петровны верней всяких речей говорило, что нет у нее ни горя на душе, ни тревоги на сердце. Тихо и мирно проходила жизнь этой любящей и всеми любимой женщины. Всегда спокойная, никогда ничем не возмутимая, красным солнцем сияла она в мужнином доме, и куда вчуже ни показывалась, везде ей были рады, как светлому гостю небесному, куда ни войдет, всюду несет с собою мир, лад, согласие и веселье. При ней и мрачные старики, угрюмо на постылый свет глядевшие, юнели и, будто сбросив десяток годов с плеч долой, становились мягче, добрей и приветливей. Никогда не слыхать было при ней пересудов, ни злых попреков, ни лихих перекоров. Как достигла Аграфена Петровна такого влияния на всех ею знаемых, сама не знала и другие не ведали. Как-то само собой вышло, а когда началось и с чего началось, никто бы не сумел и ответа дать. «Такая уж молодлица: от Бога ей дано», – говорили соседи, когда спрашивали у них, отчего при жене Заплатина ни злословить, ни браниться и ничего подобного никто сделать не может. Самый вздорный человек, самый охочий до ссор и брани стихал на глазах кроткой разумницы и потом сам на стороне говорил, что при Аграфене Петровне вздорить никак не приходится.

Росла она круглой сиротой, но святой Божий покров всегда был над нею. За молитвы, видно, родительские не довелось Груне изведать горечи и тяги, неразлучных с сиротской долей. С младенческой колыбели до брачного венца никогда почти не знавала она ни бед, ни печалей, а приняв венец, рай в мужнин дом внесла и царила в нем. *Почти* не знала бед и печалей, но не совсем же они были ей не ведомы. Без горя, без печали, что без греха, человеку века не изжить. И над Груней, еще девочкой, внезапно грозой разразилась беда тяжкая, и пришлось бы она ребенку не под силу, если б не нашлось добрых людей, что любовью своей отвели грозу и наполнили мирным счастьем душу девочки.

Отец ее был хоть не из великих тысячников, но все же достатки имел хорошие и жил душа в душу с молодой женой, утешаясь, не нарадуясь на подраставшую Груню. Дети у них не жили, одну ее сохранил Господь, и крепко любили родители белокурую дочку свою. Девять годов Груне на Купальницу исполнилось, через месяц после именин ее поехали отец с матерью к Макарью – там у них в Щепяном ряду на Песках, что у Стрелки, лавка была. Взяли они с собой и маленькую дочку. Так они ее любили, что ни за какие блага не покинули б в деревне с домовницей, чтоб потом, живучи в ярмарке, день и ночь думать и передумывать, не случилось ли чего недоброго с ненаглядной их дочуркой.

Год был тяжелый: смерть по людям ходила. Холера на ярмарке валила народ. У Грунина отца в один день двое молодцов заболели, свезли их в Мартыновскую, оттоль к Петру-Павлу¹⁹. Прошел день-другой, разом у Груни отец с матерью заболели, их тоже в больницу свезли. Одна-одинешенька, среди чужих людей, осталась в лавке девятилетняя Груня. Урвавшись как-то от соседних торговцев, Христа ради приглядывавших маленько за девочкой, она, не пивши, не евши, целый день бродила по незнакомому городу, отыскивая больницу; наконец, выбившись из сил, заночевала в кустах волжского откоса. Поутру, чуть еще брезжило, голодная девочка уж стояла и плакала у ворот Мартыновской больницы. Сторожа не пускали ее на двор. Долго лежала она под солнечным припеком, громко рыдая и умоляя пустить ее к отцу с матерью. Сторожа для порядка гнали Груню прочь от больничных ворот и сказали, что ни тятки, ни мамки у ней больше нет, что досветла обоих на кладбище стащили. Несмотря на угрозы, бедная Груня все-таки прочь от больницы не шла...

Тогда взглянул Господь на сироту милосердным оком и послал к ней доброго человека.

Проведал один ярмарочный торговец из-за Волги, что в Щепяном ряду выморочная лавка явилась и в ней один-одинешенек малый ребенок остался. Спросил у соседей той выморочной лавки, куда девалась сирота – никто не знает. Бросил свое дело добрый человек и пустился на розыски. Отыскал он Груню у ворот больницы и взял сиротинку в дом свой. Вспоил, вскормил ее и воспитал наравне с родными дочерями, ни на волос их от богоданной дочки не отличая. И благословение Божие почilo на добром человеке и на всем доме его: в семь лет, что прожила Груня под покровом его, седмицею достаток его увеличился, из зажиточного крестьянина стал он первым богачом по всему Заволжью. То был осиповский тысячник, Патап Максимыч Чапурин.

Двумя-тремя годами Груня была постарше дочерей Патапа Максимыча, как раз в подружки им сгодилась. Вырастая вместе с Настей и Парашей, она сдружилась с ними. Добрым, кротким нравом, любовью к подругам и привязанностью к богоданным родителям так полюбились она Патапу Максимычу и Аксинье Захаровне, что те считали ее третьей своей дочерью.

– Слушай, Аксинья, – говорил хозяйке своей Патап Максимыч, – с самой той поры, как взяли мы Груню в дочери, Господь, видимо, благословляет нас. Сиротка к нам в дом счастье принесла, и я так в мыслях держу: что ни подал нам Бог, – за нее, за голубку, все подал. Смотри ж у меня, – не ровен час, все под Богом ходим, – коли вдруг пошлет мне Господь смертный час, и не успею я насчет Груни распоряженья сделать, ты без меня ее не обидь.

– Чего ты только не скажешь, Максимыч! – с досадой ответила Аксинья Захаровна. – Ну, подумай, умная ты голова, возможно разве обидеть мне Грунюшку? Во утробе не носила, своей грудью не кормила, а все ж я ей мать, и сердце у меня лежит к ней все едино, как и к роженым дочерям. Все мои три девоньки заодно лежат на сердце.

– Знаю про то, Захаровна, и вижу, – продолжал Патап Максимыч, – я говорю для того, что ты баба. Стары люди не с ветру сказали: «Баба что мешок: что в него положишь, то и несет». И потому, что ты есть баба, значит, разумом не дошла, то, как меня не станет, могут тебя люди разбить. Мало ль есть в миру завистников? Впутаются не в свое дело и все вверх дном подымут.

– Да что ты в самом деле, Максимыч, дура, что ли, я повитая? Послушаюсь я злых людей, обижу я Грунюшку? Да никак ты с ума спятил? – заговорила, возвышая голос, Аксинья Захаровна и утирая рукавом выступившие слезы. – Обидчик ты этакой, право, обидчик!.. Какое слово про меня молвил!.. По сердцу ровно ножом полоснул!.. Бога нет в тебе!.. Право, Бога нет!..

– А ты горла-то зря не распускай, – в свою очередь возвысив голос, сказал ей Патап Максимыч. – Молчи да слушай... Ну же, не хныкать, покуда не бита; чтоб я не видал бабьих слез!..

¹⁹ Городская больница в Нижнем называется «Мартыновскою»; кладбище городское называется «у Петра и Павла», по церкви, там находящейся.

Слушай, что приказывать стану... Слова не смей проронить, все в точности исполни!.. Бог даст, женихи станут к Груне свататься и к дочерям – приданое всем поровну. Что Настасье, что Парасковье, то и Груне... Слышишь?... А помрем мы с тобой, весь дом и все добро, что останется, тоже на три доли всем поровну... Помни же завет мой, из ума его не выкладывай. Не то моим костям во гробу покоя не будет. Не будь Настасье с Прасковьей родительского моего благословенья, коли поровну они с Груней не поделятся. Не мое и не ихне добро, что мы нажили: его Бог ради Груни послал. Так я в разуме держу, и дочери так же пусть держат. Помни же слово мое. А коли после меня, как я приказываю, не сделаешь, так я тебя... – прибавил Патап Максимыч, поднимая кверху увесистый кулачище. – На том свете-то... Перед Богом на Страшном судище поставлю... И засудит он тебя, засудит, – в ад крошечный пошлет, коли Груню обидишь... Да, да... Ты это помни!.. А теперь вот что, – продолжал он, значительно понизив голос после окрику, – на той неделе, накануне Иванова дня, Груня именинница. Возьми канаус, что из Астрахани привезен, сарафан имениннице справа, пуговицы были бы серебряные. Есть там у тебя... И дочерям такие же сарафаны сшей, канаусу на всех должно хватить...

Понимал Патап Максимыч, что за бесценное сокровище в доме у него подрастает. Разумом острая, сердцем добрая, ко всему жалостливая, нрава тихого, кроткого, росла и красой полнилась Груня. Не было человека, кто бы, раз-другой увидавши девочку, не полюбил ее. Дочери Патапа Максимыча души в ней не чаяли, хоть и немногим была постарше их Груня, однако они во всем ее слушались. Ни у той, ни у другой никаких тайн от Груни не бывало. Но не судьба им была вместе с Груней вырасти.

Только что Груня заневестилась, стал Патап Максимыч присматривать хорошего степенного человека, на руки которого, без страха за судьбу, без опасенья за долю счастливую, можно бы было отдать богоданную дочку.

На ту пору овдовел Иван Григорьич. Покинула ему жена троих деток мал мала меньше. Бедовое ему настало время: известно, вдовец деткам не отец, сам круглый сирота. Нет за малыми детьми ни ухода, ни призору, не от кого им услышать того доброго, благодатного слова любви, что из уст матери струей благотворной падает в самые основы души ребенка и там семенами добра и правды рассыпается. Лежат те семена глубоко в тайнике души, дожидаясь поры-времени, когда ребенок, возмужав, вырастит, выхолит их доброй волей и свободным хотеньем... И благо тому, кто сумеет взрастить семена, посеянные в нем любовью матери, – добрый плод от них выйдет. Беда, горе великое малым деткам остаться без матери, пуще беда, чем пчелкам без матки. Понимал это горемычный Иван Григорьич, и тоской разрывалось сердце его, глядя на сироток.

А тут и по хозяйству не по-прежнему все пошло: в доме все по-старому, и затворы и запоры крепки, а добро рекой вон плывет, домовая утварь как на огне горит. Известно дело: без хозяйки дом, как без крыши, без огорожи; чужая рука не на то, чтобы в дом нести, а чтоб из дому вынести. Скорбно и тяжело Ивану Григорьичу. Как делу помочь?... Жениться?

Жениться! Легко слово молвишь, а сделать как? Жениться не мудрость, и дурак сумеет, но как вдовцу найти жену добрую, хозяйку хорошую, мать чужим детям? Где? В каком царстве, в каком государстве? Мало что-то таких видится... Как ни разводил Иван Григорьич разумом, как ни вскидывал мыслями на знакомых вдов и девушек, ни одной мало-мальски подходящей не отыскалось. Одно гребтит на уме бедного вдовца: хозяйку к дому сыскать не хитрое дело, было б у чего хозяйствовать; на счастье попадется, пожалуй, и жена добрая, советная, а где, за какими морями найдешь родную мать чужу детишу?... Эх, житье вдовца горькое, бесталанное!.. От печалей к немощам, от немощей к печалям!.. Не под стать Ивану Григорьичу слезы точить: голова уж заиндевела, а слезы старого и людям смешны, и себе стыдны. Крепится Иван Григорьич, а иной раз непрошенная слеза бежит да бежит по седым усам.

До гробовой доски, до белого савана думать бы да передумывать бедному горюну, если бы друг не выручил. Тот же старый друг, то же неизменное копье, что и в прежние года из житейских невзгод выручал, тот же Патап Максимыч.

Справив сорочины по покойнице, стал Иван Григорьич из дому по делам уезжать. Еще хуже пошло. Спиридоновна, родственница жены покойницы, старуха хвоя, хозяйством в дому у него заправляла и за детьми приглядывала. Но не сможет она с домом справиться – и хотела бы, да не умеет. Детей любила, да по-своему: в неряшестве Спиридоновна беды не видала, а тукманки, думала она, детям нужны: умнее растут... Другой хозяйки Ивану Григорьичу негде взять: родни только и есть, что Спиридоновна, а чужую в дом ко вдовцу зазорно вести. Не по чину, не по обряду; в добрых людях так не водится.

Заехал раз Иван Григорьич в Осиповку размыкать тоску свою в советной беседе с другом изведанным. Пора была вечерняя. В передней горнице вся семья Патапа Максимыча за чаем сидела. Обе дочери и Груня были на ту пору в Осиповке; из обители, куда в ученье были отданы, они гостить приезжали... Патап Максимыч и Акси́нья Захаровна при них завели с гостем беседу, толковали про трудное, горемычное житье-бытье его. Настя – тогда ей только что тринадцать лет минуло – о чем-то пересмеивалась с Парашей, а шестнадцатилетняя Груня прислушивалась к речам говоривших. Отпили чай. С громким смехом Настя с Парашей прыгнули вон из горницы и побежали играть в огород, клича с собой Груню, но Груня не пошла с ними... Уселись кумовья за пуншиком, Акси́нья Захаровна к ним же подсела с шитьем, рядом с ней Груня с вязаньем.

– Вот и живу я, кумушка, ровно божедом в скудельнице, – говорил Иван Григорьич Захаровне. – Один как перст! Слова не с кем перемолвить, умрешь – поплакать некому, помянуть некому.

– Что ты, батька, – возразила Акси́нья Захаровна, – детки по родительской душеньке помянники.

– Что детки? Малы они, кумушка, еще неразумны, – отвечал Иван Григорьич. – Пропадающие они дети без матери... Нестройно, неукладно в дому у меня. Не глядел бы... Все, кажись, стоит на своем месте, по-прежнему; все, кажется, порядки идут, как шли при покойнице, а не то... Пустым пахнет, кумушка.

– Это так, – пригорюнясь, ответила Акси́нья Захаровна, – правду говорят: без хозяйки дом, что мертвец несхороненный.

– Да что дом! Пропадай он совсем!.. – молвил Иван Григорьич. – Не дом крушит меня – сироты мои бедные. Как расти им без матери!.. Ходит за ними Спиридоновна, как умеет, усердствует, да разве мать? Ни приласкать, ни приголубить... У отца в дому, а детям горькая доля!.. Призору нет: приедешь из города али с мельницы: дети не умыты, не чесаны, грязные, оборванные. При покойнице разве водилось так?.. Недавно проведал, без меня иной раз голодными спать ложатся. Спиридоновна старуха старая, хвоя – где ей за всем углядеть?.. Рада-радешенька до подушки добратся, а работницы народ вольный. Спиридоновна на боковую, они на супрядки, дети-то одни и остались. Того и гляди, что грешным делом искалечутся... Горько житье мое, кумушка!

И, склонив голову на руку, тяжким вздохом вздохнул Иван Григорьич. Слезы в глазах засверкали.

Пристально глядела на плачущего вдовца Груня. Жаль ей стало сироток. Вспомнила, как сама, голодная, бродила она по чужому городу.

– Жениться надо, кум, вот что, – сказал Патап Максимыч.

– Легко сказать, а сделать-то как? – отвечал Иван Григорьич.

– Надо искать. Известно дело, невеста сама в дом не придет, – сказал Патап Максимыч.

– Где ее сыщешь? – печально молвил Иван Григорьич. – Не жену надо мне, мать детям нужна. Ни богатства, ни красоты мне не надо, деток бы только любила, заместо бы родной

матери была до них. А такую и днем с огнем не найдешь. Немало я думал, немало на вдов да на девок умом своим вскидывал. Ни единая не подходит... Ах, сироты вы мои, сиротки горькие!.. Лучше уж вам за матерью следом в сыру землю пойти.

– Что ты?.. Христос с тобой! Опомнись, куманек!.. – вступилась Акси́нья Захаровна. – Можно ль так отцу про детей говорить?.. Молись Богу да Пресвятой Богородице, не оставят... Сам знаешь: за сиротой сам Бог с калитой.

Долго толковали про бедовую участь Ивана Григорьяча. Он уехал, Акси́нья Захаровна по хозяйству вышла за чем-то. Груня стояла у окна и задумчиво обрывала поблекшие листья розанели. На глазах у ней слезы. Патап Максимыч заметил их, подошел к Груне и спросил ласково:

– Что ты, дочка моя милая?

Взглянула Груня на названного отца, и слезы хлынули из очей ее.

– Что ты, что с тобой, Грунюшка? – спрашивал ее Патап Максимыч. – О чем это ты?

– Сироток жалко мне, тятя, – трепетным голосом ответила девушка, припав к плечу названного родителя. – Сама сирота, разумею... Пошлет ли Господь им родную мать, как мне послал? Голубчик тятенька, жалко мне их!..

– Господь возлюбит слезы твои, Груня, – отвечал тронутый Патап Максимыч, обнимая ее, – святые ангелы отнесут их на небеса. Сядем-ка, голубонька.

И сели рядом на диван.

– Помнишь, что у Златоуста про такие слезы сказано? – внушительно продолжал Патап Максимыч. – Слезы те паче поста и молитвы, и сам Спас пречистыми устами своими рек: «Никто же больше тоя любви имать, аще кто душу свою положит за други своя...» Добрая ты у меня, Груня!.. Господь тебя не оставит.

– Тятенька, голубчик, как бы сирот-то устроить? – говорила Груня, ясно глядя в лицо Патапу Максимычу. – Я бы, кажись, душу свою за них отдала...

Молчал Патап Максимыч, глядя с любовью на Груню. Она продолжала:

– Сама сиротой я была. Недолго была по твоей любви да по милости, а все же помню, каково мне было тогда, какова есть сиротская доля. Бог тебя мне послал да мамыньку, оттого и не спознала я горя сиротского. А помню, каково было бродить по городу... Ничем не заплатить мне за твою любовь, тятя; одно только вот перед Богом тебе говорю: люблю тебя и мамыньку, как родных отца с матерью.

– Полно, полно, моя ясынька, полно, приветная, полно, – говорил растроганный Патап Максимыч, лаская девушку. – Что ж нам еще от тебя?.. Любовью своей сторицей нам платишь... Ты нам... счастье в дом принесла... Не мы тебе, ты добро нам сделала...

– Тятя, тятя, не говори. Не воздать мне за ваши милости... А если уж вам не воздать, Богу-то как воздать?

Припала Груня к груди Патапа Максимыча и зарыдала.

– Добрыми делами, Груня, воздашь, – сказал Патап Максимыч, глядя по голове девушку. – Молись, трудись, всего паче бедных не забывай. Никогда, никогда не забывай бедных да несчастных. Это Богу угодней всего...

– Слушай, тятя, что я скажу, – быстро подняв голову, молвила Груня с такой твердостью, что Патап Максимыч, слегка отшатнувшись, зорко поглядел ей в глаза и не узнал богоданной дочки своей. Новый человек перед ним говорил. – Давно я о том думала, – продолжала Груня, – еще махонькою была, и тогда уж думала: как ты меня призрел, так и мне надо сирот призирать. Этим только и могу я Богу воздать... Как думаешь ты, тятя?.. А?..

– Ты это хорошо сказала, Груня, – молвил Патап Максимыч, – по-Божески.

– Жаль мне сироток Ивана Григорьяча, – сказала Груня, – я бы, кажись, была им матерью, какую он ищет.

– Как же так? – едва веря ушам своим, спросил Патап Максимыч. – Нешто пойдешь за старика?

– Пойду, тятя, – твердо сказала Груня. – Он добрый... Да мне не он... Мне бы только сироток призреть.

– Да ведь он старый! Тебе не ровня, – молвил Чапурин.

– Стар ли он, молод – по мне, все одно, – отвечала Груня. – Не за него, ради бедных сирот...

– Ах, Грунюшка моя, Грунюшка! – говорил глубоко растроганный Патап Максимыч, обнимая девушку и нежно целуя ее. – Ангельская твоя душенька!.. Отец твой с матерью на небесах разыграли теперь!.. И еще согрешили в чем перед Господом, искупила ты грехи родительские. Стар я человек, много всего на веку я видал, а такой любви к ближнему, такой жалости к малым сиротам не видывал, не слыхивал... Чистая, святая твоя душенька!..

– Тятя, тятя, что ты? – вскрикнула Груня.

Богоданная дочка и названный отец крепко обнялись.

* * *

На другой день рано поутру Патап Максимыч собрался наскоро и поехал в Вихорево. Войдя в дом Ивана Григорьяча, увидал он друга и кума в таком гневе, что не узнал его. Воротясь из Осиповки, вдовец узнал, что один его ребенок кипятком обварен, другой избит до крови. От недосмотра Спиридоновны и нянек пятилетняя Марфуша, резвясь, уронила самовар и обварила старшую сестру. Спиридоновна поучила Марфушу уму-разуму: в кровь избила ее.

– Вот, кум, посмотри на мое житье! – говорил Иван Григорьяч. – Полюбуйся: одну обварили, другую избили... Из дому уедешь, только у тебя и думы – целы ли дети, друг мой любезный, беда неизбывная... Не придумаю, что и делать...

– Молчи ты, – весело отвечал на его жалобы Патап Максимыч. – Я к тебе с радостью.

– Какие тут радости! – с досадой отозвался Иван Григорьяч. – Не до радости мне... Думаю, не придумаю, какую бы старуху мне в домовницы взять. Спиридоновна совсем никуда не годится.

– Да ты слушай, что говорить стану, – сказал Патап Максимыч. – Невеста есть на примете.

– Какая тут невеста!.. – с досадой отозвался Иван Григорьяч. – Не до шуток мне, Патап Максимыч. Побойся Бога: человек в горе, а он с издевками...

– Хорошая невеста, – продолжал свое Чапурин. – Настоящая мать будет твоим сиротам... Добрая, разумная. И жена будет хорошая и хозяйка добрая. Да к тому ж не из бедных – тысяч тридцать приданого теперь получай да после родителей столько же, коли не больше, получишь. Девка молодая, из себя красавица писаная... А уж добра как, как детей твоих любит: не всякая, братец, мать любит так свое детище.

– Полно сказки-то сказывать, – отвечал Иван Григорьяч. – Про какую царевну-королевну речь ведешь? За морем, за океаном, что ль, такую сыскал?

– Поближе найдется: здесь же у нас, в лесах кое-где... – улыбаясь, говорил Патап Максимыч.

– Не мути мою душу. Грех!.. – с грустью и досадой ответил Иван Григорьяч. – Не на то с тобой до седых волос в дружбе прожили, чтоб на старости издеваться друг над другом. Полно чепуху-то молоть, про домашних лучше скажи! Что Аксинья Захаровна? Детки?

– Чего им делается? И сегодня живут по-вчерашнему, как вчор видел, так и есть, – отвечал Патап Максимыч. – Да слушай же, не с баснями я приехал к тебе, с настоящим делом.

– С каким это? – спросил Иван Григорьяч.

– Да все насчет того... Про невесту.

– Про какую? Где ты ее за ночь-то выкопал?

– Да хоть про нашу Груню, – молвил Патап Максимыч.
– С ума ты спятил, – отвечал Иван Григорыч. – Хоть бы делом что сказал, а то на-тка поди.

– Дело и говорю.
– Да подумай ты, голова, у нас с тобой бороды седые, а она ребенок. Сколько годов-то?
– Семнадцатый с Петровок пошел. Как есть заправская невеста.
– То-то и есть, – сказал Иван Григорыч. – Ровня, что ли? Охота ей за старика на детей идти.

– Без ее согласия, известно, нельзя дело сладить, – отвечал Патап Максимыч. – Потому хоша она мне и дочка, а все ж не родная. Будь Настасья постарше да не крестная тебе дочь, я бы разговаривать не стал, сейчас бы с тобой по рукам, потому она детище мое – куда хочу, туда и дену. А с Груней надо поговорить. Поговорить, что ли?

– Да полно тебе чепуху-то нести! – сказал Иван Григорыч. – Статочно ли дело, чтобы Груня за меня пошла? Полно. И без того тошно.

– А как согласна будет – женишься? – спросил Патап Максимыч.

– Пустишное дело, кум, говоришь, – отвечал Иван Григорыч. – Охотой не пойдет, силóm взять не желаю.

– Ну так слушай же, что было у меня с ней говорено вечор, как ты из Осиповки поехал.

И рассказал Патап Максимыч Ивану Григорычу разговор свой с Груней. Во время рассказа Иван Григорыч больше и больше склонял голову, и, когда Патап Максимыч кончил, он встал и, смотря плачущими глазами на иконы, перекрестился и сделал земной поклон.

– Голубушка! – сказал он. – Святая душа!.. Ангел Господень!.. Гришутка, Марфуша!.. Бегите скорей!

Вбежал шестилетний мальчик в красной рубашонке и Марфуша с синяками и запекшимся рубцом на щеке.

– Молитесь Богу, дети! – сказал им Иван Григорыч. – Кладите земные поклоны, творите молитву за мной: «Сохрани, Господи, и помилуй рабу твою, девицу Агриппину! Воздай ей за добро добром, Владыко многомилостивый!»

И сам вместе с детьми клал земной поклон за поклоном.

Патап Максимыч стоял сзади и тоже крестился.

– Вот вам отцовский наказ, – молвил детям Иван Григорыч, – по утрам и на сон грядущий каждый день молитесь за здоровье рабы Божьей Агриппины. Слышите? И Маша чтобы молилась. Ну, да я сам ей скажу.

– Какая же это Агриппина, тятя? – спросил маленький Гриша.

– Святая душа, что любит вас, добра вам хочет. Вот кто она такая: мать ваша, – сказал детям Иван Григорыч.

На другой день были смотрины, но не такие, как бывают обыкновенно. Никого из посторонних тут не было, и свахи не было, а жених, увидав невесту, поступил не по старому чину, не по дедовскому обряду.

Как увидел он Груню, в землю ей поклонился и, дав волю слезам, говорил, рыдая:

– Матушка!.. Святая твоя душа!.. Аграфена Петровна!.. Будь матерью моим сиротам!..

– Буду, – тихо с улыбкой промолвила Груня.

Через две недели привезли беглого попа из Городца, и в моленной Патапа Максимыча он обвенчал Груню с Иваном Григорычем.

Засиял в Вихореве осиротелый дом Заплата. Достатки его удвоились от приданого, принесенного молодой женой. Как сказал, так и сделал Патап Максимыч: дал за Груней тридцать тысяч целковых, опричь одежи и разных вещей. Да, опричь того, выдал ей капитал, что после родителей ее остался: тысяч пять на серебро было.

Растит Груня чужих детей, растит и своих: два уж у ней ребеночка. И никакой меж детьми розни не делает, пасынка с падчерицами любит не меньше родных детей. А хозяйка какая вышла, просто на удивление.

И прошла слава по Заволжью про молодую жену вихоревского тысячника. Добрая слава, хорошая слава!.. Дай Бог всякому такой славы, такой доброй по людям молвы!

Глава одиннадцатая

Весело, радостно встретили дорогих гостей в Осиповке. Сначала, как водится, уставные поклоны гости перед иконами справили, потом здороваться начали с хозяевами. Приветам, обниманьям, целованиям, казалось, не будет конца. Особенно обрадовались Аграфене Петровне дочери Патапа Максимыча.

– Здравствуй, голубушка моя Настасьюшка, – говорила Аграфена Петровна, крепко обнимая подругу детства. – Ох ты, моя приветная! Ох ты, моя любезная!.. Да как же ты выросла, да какая же стала пригожая!.. Здравствуй, сестрица, здравствуй, Парашенька, – продолжала она, обнимая младшую дочь Патапа Максимыча. – Да как же раздобрела ты, моя ясынька, чтоб только не сглазить! Ну, да у меня глаз-от легкий, не бойся. Да и люблю я вас, сестрицы, всей душой, так с моего глаза никакого дурна вам не будет. А раздобрела Параня, раздобрела... Ах вы, мои хорошие, ах вы, мои милые!.. Здравствуй, Фленушка! Каково живешь-можешь? Давно не видались. Тетенька здорова ли, матушка Манефа?

А матушка Манефа как раз сама налицо. Вышла из боковуши, приветствует приезжую гостью.

– Здравствуй, Аграфенушка! Иван Григорыч, здравствуйте! Здорово ли поживаете?

Не отвечая словами на вопрос игуменьи, Иван Григорыч с Аграфеной Петровной прежде обряд исполнили. Сотворили пред Манефой уставные метания²⁰, набожно вполголоса приговаривая:

– Прости, матушка, благослови, матушка!

– Бог простит, Бог благословит, – сказала, кланяясь в пояс, Манефа, потом поликовалась²¹ с Аграфеной Петровной и низко поклонилась Ивану Григорычу.

– Ну как вас, дорогих моих, Господь милует? Здоровы ли все у вас? – спрашивала Манефа, садясь на кресло и усаживая рядом с собой Аграфену Петровну.

– Вашими святыми молитвами, – отвечали зараз и муж и жена. – Как ваше спасение, матушка?

– Пока милосердный Господь грехам терпит, а впредь уповаю на милость Всевышнего, – проговорила уставные слова игуменья, ласково поглядывая на Аграфену Петровну.

Аксинья Захаровна как поздоровалась с гостями, так и за чай. Уткой переваливаясь с боку на бок, толстая Матрена втащила в горницу и поставила на стол самовар; ради торжественного случая был он вычищен кислотой и как жар горел. На другом столе были расставлены заедки, какими по старому обычаю прежде всюду, во всех домах угощали гостей перед сбитнем и взварцем, замененными теперь чаем. Этот обычай еще сохранился по городам в купеческих домах, куда не совсем еще проникли нововводные обычаи, по скитам, у тысячников и вообще сколько-нибудь у зажиточных простолюдинов. Заедки были разложены на тарелках и расставлены по столу. Тут были разные сласти: конфеты, пастила, разные пряники, орехи грец-

²⁰ **Метание** – слово греческое, вошедшее в русский церковный обиход, особенно соблюдается старообрядцами. Это малый земной поклон. Для исполнения его становятся на колени, кланяются, но не челом до земли, а только руками касаясь положенного впереди подручника, а за неимением его – полы своего платья, по полу постланной.

²¹ У старообрядцев монахи и монахини, иногда даже христосуясь на Пасхе, не целуются ни между собой, ни с посторонними. Монахи с мужчинами, монахини с женщинами только «ликуются», то есть щеками прикладываются к щекам другого. Монахам также строго запрещено «ликоваться» с мальчиками и с молодыми людьми, у которых еще ус не пробился.

кие, американские, волошские и миндальные, фисташки, изюм, урюк, винные ягоды, киевское варенье, финики, яблоки свежие и моченые с брусникой, и вместе с тем икра салфеточная прямо из Астрахани, донской балык, провесная шема, белорыбица, ветчина, грибы в уксусе и, среди серебряных, золоченых чарочек разной величины и рюмок бемского хрусталя, графины с разноцветными водками и непременно бутылка мадеры. Как Никитишна ни спорила, сколько ни говорила, что не следует готовить к чаю этого стола, что у хороших людей так не водится, Патап Максимыч настоял на своем, убеждая куму-повариху тем, что «ведь не губернатор в гости к нему едет, будут люди свои, старозаветные, такие, что перед чайком от настоячки никогда не прочь».

– Ну-ка, куманек, перед чайком-то хватим по рюмочке, – сказал Патап Максимыч, подводя к столу Ивана Григорыча. – Какой хочешь? Вот зверобойная, вот полынная, а вот трифоль, а то не хочешь ли сорокатравчатой, что от сорока недугов целит?

– Ну, пожалуй, сорокатравчатой, коли от сорока недугов она целит, – молвил Иван Григорыч и, налив рюмку, посмотрел на свет, поклонился хозяину, потом хозяйке и выпил, приговаривая:

– С наступающей именинницей!

– Груня, а ты стукнешь по сорокатравчатой али нет? – спросил Патап Максимыч, обращаясь с усмешкой к Аграфене Петровне.

– Не выучилась, тятенька, – весело отвечала Аграфена Петровна.

– Ну, так мадерцы испей; перед чаем нельзя не выпить, беспрерывно надо живот закрепить, – приставал Патап Максимыч, таща к столу Груню.

– Не мне же первой, постарше меня в горнице есть, – говорила Аграфена Петровна.

К матушке Манефе хозяева с просьбами приступили. Та не соглашалась. Стали просить хоть пригубить, Манефа и пригубить не соглашалась. Наконец, после многих и долгих приставаний и просьб, честная мать игуменя согласилась пригубить. Все это так следовало – чин, обряд соблюдался. После матушки игуменьи выпила Никитишна, все-таки уверяя Патапа Максимыча и всех, кто тут был, что у господ в хороших домах так не водится, никто перед чаем ни настойки, ни мадеры не пьет. Потом выпила и Аграфена Петровна без всякого жеманства, выпила и Фленушка после долгих отказов. Пропустила рюмочку и сама хозяйюшка, а за ней и Настя с Парашей пригубили.

Иван Григорыч и Патап Максимыч балыком да икрой закусывали, а женщины сластями. Кумовья, «чтоб не хромать», по другой выпили. Затем уселись чай пить. Аксиныя Захаровна заварила свежего, шестирублевого.

Патап Максимыч с кумом уселся на диване и начал толковать про последний Городецкий базар и про взятую им поставку. Аграфена Петровна с Настей да Парашей разговаривала.

– Что это, сестрица: погляжу я на тебя, ровно ты не по себе? – спросила она Настю.

– Я?... Я ничего, – отрывисто отвечала Настя и вспыхнула.

– Меня не проведешь – вдоль и поперек тебя знаю, – возразила Аграфена Петровна. – Либо неможется, да скрыть хочешь, либо на уме что засело.

– Ничего у меня на уме не засело, – сухо ответила Настя.

– Ну, так хвораеть.

– И хвори нет никакой... С чего ты взяла это, сестрица? – молвила Настя и пересела поближе к Фленушке.

Подойдя к Аксиные Захаровне, спросила ее потихоньку Аграфена Петровна:

– Сказали, видно, Насе про жениха-то?

– Молвил отец, – шепотом ответила Аксиныя Захаровна. – Эх, как бы знала ты, Грунюшка, что у нас в эти дни деялось! – продолжала она. – Погоди, уж расскажу, ты ведь не чужая.

Никому не было говорено про сватовство Снежкова, но Заплатины были повешены. Еще стоя за богоявленской вечерней в часовне Скорнякова, Патап Максимыч сказал Ивану Григорычу, что Настина судьба, кажется, выходит, и велел Груне про то сказать, а больше ни единой душе. Так и сделано.

– Что ж она? – тихонько спрашивала Аграфена Петровна у названной матери. – Не прочь?

– Какое не прочь, Грунюшка! – грустно ответила Аксинья Захаровна. – Слышать не хочет. Такие у нас тут были дела, такие дела, что просто не приведи Господь. Ты ведь со мной спать-то ляжешь, у меня в боковушке постель тебе сготовлена. Как улягутся, все расскажу тебе.

Настя хмурая сидела. Как ни старалась притворяться веселой, никак не могла. Только и было у ней на уме: «Вот-вот зазвонят бубенчики, заскрипят у ворот санные полозья, принесет нелегкая этих Снежковых. И все-то на меня глядеть уставятся, все – и свои и чужие. Замечать станут, как на него взглянула я, не проронят ни единого моего словечка. А тут еще после ужина Груня, пожалуй, зачнет приставать, зачнет выпытывать. Она и то уж, кажись, заметила... Рассказать разве ей всю правду-истину? Она ведь добрая, любит меня, что-нибудь хорошее посоветует... А как крестному скажет, а крестный тятя?.. Тогда что?.. Загубит тятя соколика моего ясного; Фленушка правду говорит... Нет, не надо Груне ничего говорить... А ее не обманешь... Ох ты, Господи, Господи! Мученье какое!.. Хоть бы проходили уже скорей эти пиры да праздники!..» И вдруг вспомнился Насте ее ясный светлоокий соколик. «Вот, думает, сижу я здесь разряженная, разукрашенная напоказ жениху постылому, сижу с отцом, с матерью, с гостями почетными, за богатым угощением: вокруг меня гости беседу ведут согласную, идут у них разговоры веселые... А он-то, голубчик, он-то, радость моя!.. Сидит, бедняжка, в своей боковушке, ровно в темнице. Сидит один-одинешенек с своей думой-кручиной. И взойти-то сюда он не смеет, и взглянуть-то на наши гостины не может. Ровно рабу неключимому, нет ему места на веселом пиру. Бедный мой, бедный соколик!.. Скучно тебе, грустно сидеть одинокому... да и мне не легче тебя...»

– Да не хмурься же, Настенька! – шепотом молвила крестнице Никитишна, наклонясь к ней будто для того, чтоб ожерелье на шее поправить. – Чтой-то ты, матка, какая сидишь?.. Ровно к смерти приговоренная... Гляди у меня веселей!.. Ну!..

– Ты знаешь, каково мне, крестненька. Я тебе сказывала, – шепотом ответила Настя. – Высижу вечер, и завтра все праздники высижу; а веселой быть не смогу... Не до веселья мне, крестненька!.. Вот еще знай: тятенька обещал целый год не поминать мне про этого. Если слово забудет да при мне со Снежковыми на сватовство речь сведет, таких чудес натворю, что, кроме сраму, ничего не будет.

– Полно ты, – уговаривала крестницу Никитишна. – Услышат, пожалуй... Ну уж девка! – проворчала она, отходя от Насти и покачивая головой. – Кипяток!.. Бедовая!.. Вся в родителя, как есть вылита: нраву моему перечить не смей.

Затем, сказав Аксинье Захаровне что-то про ужин, отправилась Никитишна к своему месту в стряпушую.

Меж тем у Патапа Максимыча с Иваном Григорычем шел свой разговор.

– Каково с подрядом справляешься? – спросил у кума Иван Григорыч.

– Помаленьку справляюсь, Бог милостив – к сроку поспеем, – отвечал Патап Максимыч. – Работников принанял; теперь сорок восемь человек, опричь того по деревням роздал работу: по своим и по чужим. Авось управимся.

– Работники-то ноне подшиблись, – заметил Иван Григорыч. – Лежебоки стали. Им бы все как-нибудь деньги за даровщину получить, только у них и на уме... Вот хоть у меня по валеному делу – бьюсь с ними, куманек, бьюсь – в ус себе не дуют. Вольный стал народ, самый вольный! Обленился, прежнего раденья совсем не видать.

– Это так, это точно, – отвечал Патап Максимыч. – Слабость пошла по народу. Что прикажешь делать? Кажись, и хмелем не очень зашибаются и никаким дурным делом не заимству-

ются, а не то, как в прежнее время бывало. Правду говоришь, что вольный народ стал, – а главное то возьми, что страху Божьего ни в ком не стало. Вот что! Все бы им как-нибудь да как ни попало. Беда с ними, горе одно. У меня еще есть, коли правду сказать, пять-шесть знатных работников – золото, не ребята! А другие-прочие хоть рукой махни – ничего не стоящие люди, как есть никакого звания не стоящие! А вот недавно порядился ко мне паренек из недалних. Ну, этот один за пятерых отслужит.

– Уж за пятерых! – недоверчиво сказал Иван Григорьич.

– Правду говорю, – молвил Патап Максимыч. – Что мне врать-то? Не продаю его тебе. Первый токарь по всему околотку. Обойди все здешние места, по всему Заволжью другого такого не сыскать. Вот перед истинным Богом – право слово.

– Отколь же такого доспел? – спросил Иван Григорьич.

– По соседству, из деревни Поромовой, – ответил Патап Максимыч. – Трифона Лохматого слышал?

– Лохматого? Знаю, – ответил Иван Григорьич, – добрый мужик, хороший.

– Сын его большой, – сказал Патап Максимыч. – Знатный парень, умница, книгочей и рассудливый. А из себя видный да здоровый такой, загляденье. Одно слово: парень первый сорт.

Настя в то время говорила с Аграфеной Петровной, отвечая ей невпопад. Словечко боялась проронить из отцовых речей.

– Как же ты залучил его? – спросил Иван Григорьич. – Старик Лохматый не то чтоб из бедных. Своя токаря. Как же он пустил его? Такой парень, как ты об нем сказываешь, и дома живучи копейку доспеет.

– Сожгли их по осени, – молвил Патап Максимыч. – Недобрые люди токарню спалили. Водятся такие по нашим местам. Сами век по гулянкам, а доброму человеку зло. Мало, что сожгли старика Лохматого, обокрали на придачу. Что ни было залежных – все снесли, и коней со двора свели и коровенок. Оттого Алексей Лохматый и пошел ко мне, по бедности, значит, чтоб отцу поскорее оправиться. А не то – шут бы ему велел в чужие люди идти. Золото – век другого такого не нажить: дело у него в руках так и горит... Разборку посуды по сортам тоже знает! Лучше Савельича, дай Бог ему Царство Небесное, даром что молод... Намедни посуду с ним разбирали, ему только взглянуть – тотчас видит, куда что следует, в какой, значит, сорт, и каждый изъянец сразу заметит. Чаял дня в два разобрать, с ним в одно утро управился. Золото парень, говорю, просто золото.

– А надолго нанял? – спросил Иван Григорьич.

– Рядились до зимнего Николы. А теперь другой уговор. Порешили с его стариком.

– Что порешили? – спросил Иван Григорьич, прихлебывая пунш из большой золоченой чашки.

– В годы взял. В приказчики. На место Савельича к заведенью и к дому приставил, – отвечал Патап Максимыч. – Без такого человека мне невозможно: перво дело, за работой глаз нужен, мне одному не углядеть; опять же по делам дом покидаю на месяц и на два, и больше: надо на кого заведенье оставить. Для того и взял молодого Лохматого.

– Вот как! – молвил Иван Григорьич. – Дай Бог тебе, куманек.

– Я решил, чтобы как покойник Савельич был у нас, таким был бы и Алексей, – продолжал Патап Максимыч. – Будет в семье как свой человек, и обедать с нами и все... Без того по нашим делам невозможно... Слушаться не станут работники, бояться не будут, коль приказчика к себе не приблизишь. Это они чувствуют... Матренушка! – крикнул он, маленько подумав, работницу, что возилась около посуды в большой горенке.

Матрена вошла и стала у притолки.

– Кликни Алексея Трифоныча, – сказал ей Патап Максимыч. – Хозяин, мол, велел скорее наверх взойти.

Ни жива ни мертва сидела Настя. Аграфена Петровна заводила с ней речь о том, о другом, ничего та не слыхала, ничего не понимала и на каждое слово отвечала невпопад.

– Да что с тобой, Настенька? – сказала наконец Аграфена Петровна. – Ровно ты не в себе.

Ни слова не ответила Настя. Аграфена Петровна, пристально поглядев на нее, подумала: «Это неспроста, что-нибудь да есть на уме. Это не оттого, что ждет жениха, другое что-нибудь тут кроется. Что ж бы это такое?»

Вошел Алексей. Настя поалела. Груня взглянула на нее: «Теперь понимаю», – подумала.

Алексей был в будничном кафтане. Справив уставные поклоны перед иконами и низко поклонясь хозяевам и гостям, стал он перед Патапом Максимычем.

– Кликнуть велели меня, – молвил.

Оглянул его с ног до головы Чапурин, слегка подбоченился и, склонив немного голову на сторону, с важностью спросил Алексея:

– В хорошей компании быть умеешь?

– Как в хорошей компании? – спросил Алексей, смутясь неожиданным вопросом и не понимая, к чему хозяин речь свою клонит.

– Ну, вот, примером сказать, хоть бы с нами теперь, – сказал Патап Максимыч.

– Не приводилось с такими людьми, – наклонив покорно голову, молвил Алексей.

Любо то слово показалось Патапу Максимычу, а вдвое больше по сердцу пришлось покорный вид Алексея и речь его почтительная.

– Гм! – молвил Патап Максимыч. – Одежа хорошая есть?

– Есть.

– Вырядись, приходи.

Алексей вышел. Аксинья Захаровна с удивленьем посмотрела на мужа. Не ждала она, чтоб Патап Максимыч на такую короткую ногу и так скоро приблизил Лохматого. «Правда, поступил он на место Савельича: значит, его место, его и честь, – думала Аксинья Захаровна. – Но Савельич был человек старый, опять же сколько годов в дому выжил, а этого парня всего полторы недели как знать-то зачали. Хороший паренек, услужливый, почтительный, богомольный, а все бы не след так приближать его. Ведь это, значит, с нынешнего дня он, как Савельич, и обедать с нами будет и чай пить, а куда отъедет Патап Максимыч, он один мужчина в семье останется. Да такой молодой, да красавец такой и разумный. Злые люди не знай чего наплетут на девонек... Ах, батюшки светы, неладно!.. А что станешь делать?.. Сам решил... не переломишь!..»

Видела Настя, как пришел Алексей, видела, как вышел, и ни слова из отцовских речей не проронила... И думалось ей, что во сне это ей видится, а меж тем от нечаянной радости сердце в груди так и бьется.

Лукаво взглянула Фленушка на приятельницу, дернула ее тихонько за сарафан и, найдя какое-то дело, вышла из горницы.

– Молодец из себя! – заметил Иван Григорыч по уходе Алексея.

– А ты не гляди снаружи, гляди снутри, – сказал Патап Максимыч. – Умница-то какой!.. Все может сделать, а уж на работу – беда!.. Так я его, куманек, возлюбил, что, кажись, точно родной он мне стал. Вот и Захаровна то же скажет.

– Добрый парень, неча сказать, – молвила Аксинья Захаровна, обращаясь к Ивану Григорычу, – на всяку послугу по дому ретивый и скромный такой, ровно красная девка! Истинно, как Максимыч молвил, как есть родной. Да что, куманек, – с глубоким вздохом прибавила она, – в нонешне время иной родной во сто раз хуже чужого. Вон меня наградил Господь каким чадушкой. Братец-то родимый... Напасть только одна!

– А где он? – спросил Иван Григорыч.

– У нас обретається, – сухо промовив Патап Максимич. – Намедни приволокся як єсть в одній рубаші да в дырявом полушубке, растерзанный весь... Хочу его на Узени по весне справить, авось уймется там; на сорок верст во все стороны нет кабака.

– Эка человек-от пропадает, – заметил Иван Григорыч. – А ведь добрый, и парень бы хоть куда... Винище это проклятое.

– Не пьет теперь, – сказал Патап Максимич. – Не дают, а пропивать-то нечего... Знаешь что, Акси́нья, он тебе все же брат, не одеть ли его как следует да не позвать ли сюда? Пусть его с нами попразднует. Моя одежда ему как раз по плечу. Синяки-то на роже прошли, человеком смотрит. Как думаешь?

– Как знаешь, Максимич, – сдержанно ответила Акси́нья Захаровна. – Не начудил бы при чужих людях чего, не осрамил бы нас... Сам знаешь, каков во хмелю.

– Не в кабаке, чай, будет, не перед стойкой, – отвечал Патап Максимич. – Напиться не дам. А то, право, не ладно, как Снежковы после проводят, что в самое то время, как они у нас пировали, родной дядя на запоре в подклете, ровно какой арестант, сидел. Так ли, кум, говорю? – прибавил Чапурин, обращаясь к Ивану Григорычу.

– Точно что не совсем оно ладно, – заметил в свою очередь Иван Григорыч.

– И что ж, в самом деле, это будет, мамынька! – молвила Аграфена Петровна. – Пойдет тут у вас пированье, работникам да странному народу столы завтра будут, а он, сердечный, один, как оглашенный какой, взаперти. Коль ему места здесь нет, так уж в самом деле его запереть надо. Нельзя же ему с работным народом за столами сидеть, слава пойдет нехорошая. Сами-то, скажут, в хоромах пируют, а брата родного со странным народом сажают. Неладно, мамынька, право, неладно.

– Пойду, обряжу его, – сказал Патап Максимич и ушел в свою горницу, сказав мимоходом Матрене: – Позови Никифора.

«Родной дядя! Так он сказал, – думала Настя. – Дядя, не брат, он сказал. Значит, у тяти и тут про меня дума была... Ох, чтоб беде не случиться!..»

Выйдя в сени, Фленушка остановилась, оглянулась на все стороны и кошкой бросилась вниз по лестнице. Внизу пробежала в подклет и распахнула дверь в Алексееву боковушку.

Алексей вынимал из укладки праздничное платье: синюю, хорошего сукна сибирку, плисовые штаны, рубашку из александрийки.

– Что, беспутный, каково дело-то выгорело?.. А?.. – спросила Фленушка.

– Не знаю, что и думать, Флена Васильевна, – отвечал от радости себя не помнивший Алексей. – Не разберу, во сне это аль наяву.

Как щипнет его Фленушка изо всей силы за руку, Алексей чуть не вскрикнул.

– Что?.. Не во сне?.. Ха-ха-ха!.. Обезумел?.. Постой, впереди не то еще будет, – хохотала изо всей мочи Фленушка.

– А что будет?

– А то, что с этого вечера каждый Божий день станешь ты обедать и чаи распивать со своей сударушкой, – сказала Фленушка. – Что, бесстыжий, сладко небось?.. Ну да теперь не о том говорить. Вот что: виду не подавай, особенно Аграфене Петровне; с Настей слова сказать не моги, сиди больше около хозяина, на нее и глядеть не смей. Она и то ровно на каленых уголках сидит, а тут еще ты придешь да эти Снежковы... Боюсь, при чужих чего не начудила бы... А отужинают, минуты в горницах не оставайся, сейчас сюда... Слышишь?.. Да вот еще что: коли когда услышишь, что над тобой три раза ногой топнули, в окно гляди: птичка прилетит, ты и лови... Да чтоб чужих глаз при том не было.

– Какая птичка? Что ты говоришь? – спросил Алексей, не понимая, про что говорит ему Фленушка.

– Нечего тут, – сказала она, – облокайся скорей да рожу-то свою бесстыжую помой, космы-то причеши... Ох, бить-то тебя некому!..

Мигом Фленушка вбежала наверх и со скромной умильной улыбкой вошла в горницу.

Вскоре пришел Алексей. В праздничном наряде таким молодцом он смотрел, что хоть сейчас картину писать с него. Усевшись на стуле у окна, близ хозяина, глаз не сводил он с него и с Ивана Григорыча. Помня приказ Фленушки, только разок взглянул он на Настю, а после того не смотрел и в ту сторону, где сидела она. Следом за Алексеем в горницу Волк вошел, в платье Патапа Максимыча. Помолясь по уставу перед иконами, поклонившись всем на обе стороны, пошел он к Аксинье Захаровне.

– Здравствуй, разлюбезная сестрица, – желчно сказал. – Две недели, по милости Патапа Максимыча, у вас живу, а с тобой еще не успел повидеться за великими твоими недосугами...

– Отойди, – сурово ответила брату Аксинья Захаровна. – Как бы воля моя, в жизнь бы тебя не пустила сюда. Вот залетела ворона в высоки хоромы. На, пей, что ли! – прибавила она, подавая ему чашку чаю.

– А вот мы прежде первоначал заложим, а после того можно тебе, сестрица моя любезная, и чайком братца попотчевать.

Никифор Захарыч подошел к столу с графинами и закусками. Две недели капельки у него во рту не бывало; и теперь, остановясь перед разноцветными графинами, он созерцал их как бы в священном восторге и, радостно потирая ладони, думал: «С которого бы начать?»

Вскочила с места Аксинья Захаровна и, подойдя к брату, схватила его за рукав.

– И думать не моги! – крикнула она. – Его как путного обрядили, до хороших людей допустили, а он на-тка поди!.. Не в кабак, батька, затесался!.. Прочь, прочь!.. И подходить к водке не смей!..

Распустив руки, Никифор Захарыч стоял в недоумении, что теперь ему делать. Не будь тут Патапа Максимыча, сумел бы он по-свойски ответить сестрице, сиди тут хоть сотня гостей. Но Патапа Максимыча бесшабашный Волк не на шутку боялся. Даже когда море бывало ему по колено, всегда он держал себя перед зятем робко и приниженно. А тут еще эта Аграфена Петровна сидит да таково зорко глядит на него... Стыдно как-то перед ней... А пуще всего стыдно, совестно перед Настей – любил он ее беззаветно, хоть никогда почти с ней не видался... А выпить так и тянет.

С минуту продолжалась пытка Никифора. Даже пот его прошиб, слеза в глазу блеснула. Патап Максимыч дело решил.

– Выпей, Никифор, – сказал он ему.

– Охмелеет он, Максимыч, осрамит при гостях наши головы. Не знаешь, каков он во хмелю живет? – возражала Аксинья Захаровна.

– С одной не охмелеет, другой не дам, – решил Патап Максимыч и, обратясь к Ивану Григорычу, продолжал рассказывать ему про подряды.

Дрожащей рукой налил Никифор рюмку и выпил ее залпом. Затем, откромсав добрый кусок салфеточной икры, намазал на ломоть хлеба и, подойдя к сестре, сказал:

– Ну теперь, сестрица, чаем потчуй. Давно не пивал этой дряни.

– Непутный! – молвила Аксинья Захаровна, подавая брату чашку лянсина. – Тоже чаю!.. Не в коня корм!.. Алексеюшка, – продолжала она, обращаясь к Лохматому, – пригляди хоть ты за ним, голубчик, как гости-то приедут... Не допускай ты его к тому столу, не то ведь разом навищется.

– И вправду, Алексей, присмотри за Никифором, – подтвердил Патап Максимыч. – Не отходи от него и пить без моего приказа не давай. За ужином сядь с ним рядом.

Тут только заметил Никифор Алексея. Злобно сверкнули глаза у него. «А! деушник! – подумал он. – И ты тут! Да тебя еще смотреть за мной приставили! Постой же ты у меня!.. Будет и на моей улице праздник!» И с лукавой усмешкой посмотрел на Фленушку.

* * *

Послышался ямской колокольчик. Ближе и ближе. Кто-то к дому подъехал.

– Не исправник ли, чтоб ему пусто было, аль не становой ли? – с досадой сказал Патап Максимыч, вставая с места и направляясь к двери. – Вот уж, поистине, незванный гость хуже татарина.

И всем стало неловко при мысли об исправнике. Исправник и становой в самом деле никогда не объезжали Осиповки, зная, что у Чапурина всегда готово хорошее угощение. Матушка Манефа, хоть и в приязни жила с полицейскими чинами, однако поспешно вышла из горницы. Была она во всем иночестве, даже в наметке²², а в таком наряде на глаза исправнику показываться нехорошо. Скитницы были обязаны подпиской иноческим именем не зваться, иноческой одежи не носить. Фленушка осталась в горнице, на ней ничего запретного не было.

Минуты через две Патап Максимыч ввел в горницу новых гостей. То был удельный голова Песоченского приказа Михайло Васильич Скорняков с хозяйшкой, приятель Патапа Максимыча.

После обычных входных поклонов перед иконами, после установленных дедовскими преданиями приветствий и взаимных пожеланий усьелись.

– Напугал же ты нас своим колокольцем, Михайло Васильич, – сказал Патап Максимыч, подводя удельного голову к столу с водками и закусками. – Мы думали, не исправника ль принесла нелегкая.

– Ха-ха-ха! – громко захохотал Скорняков. – А разве ноне стал бояться властей предрержащих?

– Бояться, опричь Господа Бога, никого не боюсь, – спесиво отвечал Чапурин, – а не люблю, как чужой человек портит беседу. С чего же это ты по-исправничьему с колокольчиком ездешь?

– На стоешных, из приказа приехал, – с важностью погладив бороду, отвечал Михайло Васильич.

Не успели Скорняковы по первой чашке чая выпить, как новые гости приехали: купец из города, Самсон Михайлыч Дюков, да пожилой человек в черном кафтане с мелкими пуговками и узеньким стоячим воротником, – кафтан, какой обыкновенно носят рогожские, отправляясь к службе в часовню.

– Узнал старого приятеля? – поздоровавшись со всеми бывшими в горнице, спросил Дюков у Патапа Максимыча.

Чапурин не узнавал.

– И я не признал бы тебя, Патап Максимыч, коли б не в дому у тебя встретился, – сказал незнакомый гость. – Постарели мы, брат, оба с тобой, ишь и тебя сединой, что инеем, подернуло... Здравствуйте, матушка Аксинья Захаровна!.. Не узнали?.. Да и я бы не узнал... Как последний раз виделись, цвела ты, как маков цвет, а теперь, гляди-ка, какая стала!.. Да... Время идет да идет, а годы человека не красят... Не узнаете?..

– Никак не признать, – сказал Патап Максимыч. – Голос будто знакомый, а вспомнить не могу.

– Стуколова Якима помнишь?.. – молвил гость.

– Яким Прохорыч!.. Дружище!.. Да неужели это ты?.. – вскрикнул Патап Максимыч, обнимаясь и целуясь со Стуколовым. – А мы думали, что тебя и в живых-то давным-давно нет... Откудова?.. Какими судьбами?..

²² Черный креп, что накидывается поверх шапочки (иночество), спускается вроспуск по плечам и спине, закрывая лоб черницы.

– Яким Прохорыч! – подходя к нему, сказала Аксинья Захаровна. – Сколько лет, сколько зим! И я не чаяла свидеть тебя на сем свете. Ах, сватушка, сватушка! Чать, не забыл: сродни маленько бывали.

– Бывало так в старые годы, Аксинья Захаровна, – отвечал Стуколов. – Считались в сватовстве.

И Заплатин и Скорняков оказались тоже старыми приятелями Стуколова; знал он и Никифора Захарыча, когда тот еще только в годы входил. Дочерей Патапа Максимыча не знал Стуколов. Они родились после того, как он покинул родину. С тех пор больше двадцати пяти годов прошло, и о нем по Заволжью ни слуху ни духу не было.

Стуколову было лет под шестьдесят. Был высок ростом, сухощав, и с первого взгляда было заметно, что, обладая большой телесной силой, был одарен он неистомною силой воли и необычайною твердостью духа. Худощавое, смуглое лицо его было обрамлено густою черною бородой, с сильной проседью. Раскаленными углями светились черные глаза его, и не всякий мог долго выдерживать пристально устремленный на него взгляд Стуколова. По всему было видно, что человек этот много видал на своем веку, а еще больше испытал треволнений всякого рода.

Начал расспросы Стуколов, спрашивал про людей былого времени, с которыми, живучи за Волгой, бывал в близких сношениях, и про всех почти, про кого ни спрашивал, дали ему один ответ: «помер... помер... померла».

Сидел Стуколов, склонив голову, и, глядя в землю, глубоко вздыхал при таких ответах. Сознавал, что, воротясь после долгих странствий на родину, стал он в ней чужанином. Не то что людей, домов-то прежних не было; город, откуда родом был, два раза дотла выгорал и два раза вновь обстраивался. Ни родных, ни друзей не нашел на старом пепелище – всех прибрал Господь. И тут-то спознал Яким Прохорыч всю правду старого русского присловья: «Не временем годы долги – долги годы отлучкой с родной стороны».

– Где ж пропадал ты все это время, Яким Прохорыч? – спросил у странника Патап Максимыч.

Маленько помолчав и окинув беглым взглядом сидевших в горнице, Стуколов стал говорить тихо, истово, отчеканивая каждое слово:

– Немало государств мною исхожено, немало морей переехано, много всяких народов очами моими видано. Привел Господь во святой реке Иордане погружаться, Спасов живоносный гроб целовать, всем святым местам поклониться... Много было странствий моих...

– Неужели все двадцать пять лет ты в странстве пребывал? – спросил его Иван Григорыч. – Чай, поди, где и на месте живал?

– Как не жить! Жил и на месте, – сказал Стуколов. – За Дунаем немалое время у некрассовцев, в Молдавии у наших христиан, в Сибири, у казаков на Урале... Опять же довольно годов выжил я в Беловодье, там, далеко, в Опоньском государстве.

– Какое же это государство? Про такое я что-то не слыхивал, – спросил у паломника Патап Максимыч.

– Не мудрено, что про Опоньское государство ты не слыхивал, – сдержанно ответил Яким Прохорыч. – То государство не простое, не у всех на виду. Государство сокровенное...

– Сокровенное? – в недоуменье спросил Чапурин у Стуколова, а сидевшие в горнице с изумленьем глядели на паломника.

Замолк Яким Прохорыч. Не дал ответа. Через малое время спросил его Патап Максимыч:

– Помнится, ты в Москву уехал тогда, потом пали к нам слухи, что в монастыре каком-то проживаешь, а после того и слухов про тебя не стало.

– Постой, погоди... Все странства по ряду вам расскажу, – молвил Стуколов, выходя из раздумья и подняв голову. – Люди свои, земляки, старые други-приятели. Вам можно сказать.

– Расскажи, Расскажи, старый дружище, – молвил Патап Максимыч, кладя руку на плечо паломника. – Да чайку-то еще. С ромком не хочешь ли?

– Не стану, а чайком побаловаться можно, – отвечал Стуколов, собираясь начать рассказ про свои похождения.

– Постой, постой маленько, Яким Прохорыч, – молвила Аксинья Захаровна, подавая Стуколову чашку чая. – Вижу, о чем твоя беседа будет... Про святыню станешь рассказывать... Фленушка! Подь кликни сюда матушку Манефу. Из самого, мол, Иерусалима приехал гость, про святые места рассказывать хочет... Пусть и Евпраксеюшка придет послушать.

– Какая это Манефа? – спросил Стуколов, когда Фленушка вышла в сени.

– Да Матрену-то Максимовну, сестру Патапа Максимыча, помнишь, чай? – сказала Аксинья Захаровна.

– Матрена Максимовна?... – оживляясь, спросил сумрачный дотоле странник. – Так она во иночестве?

– Давно. Больше двадцати годов, как она пострижена. Теперь игуменствует в Комарове, – отвечала Аксинья Захаровна.

– Так... Так... – медленно проговорил Стуколов и задумался.

Вошла мать Манефа с Фленушкой и Евпраксией. После обычных «метаний» и поклонов Яким Прохорыч пристально поглядел на старушку и дрогнувшим несколько голосом спросил у нее:

– Узнала ль меня, матушка Манефа?... Аль забыла Якима Стуколова?

– Яким Прохорыч?... – быстро вскинув на паломника заблиставшими глазами, вскрикнула игуменья и вдруг поправила «наметку», опустила креп на глаза. – Не чаяла с тобой свидеться, – прибавила она более спокойно.

Пристальным, глубоким взором глядела она на паломника. В потускневших глазах старицы загорелось что-то молодое... Перебирая лестовку, игуменья чинно уселась, еще раз поправила на голове «наметку» и поникла головою. Губы шептали молитву.

– Ну, рассказывай свои похождения, – молвил Патап Максимыч Яким Прохорычу.

Стуколов стал рассказывать, часто и зорко взглядывая на смущенную игуменью.

– Горько мне стало на родной стороне. Ни на что бы тогда не глядел я и не знай куда бы готов был деваться!.. Вот уже двадцать пять лет и побольше прошло с той поры, а как вспомнишь, так и теперь сердце на клочья рваться зачнет... Молодость, молодость!.. Горячая кровь тогда ходила во мне... Не стерпел обиды, а заплатить обидчику было нельзя... И решил я покинуть родную сторону, чтоб в нее до гробовой доски не заглядывать...

Ниже и ниже склоняла Манефа голову. Бледные губы спешно шептали молитву. Если б кто из бывших тут пристальнее поглядел на нее, тот заметил бы, что рука ее, перебирая лестовку, трепетно вздрагивала.

– Какая ж это обида, Яким Прохорыч? – спросил Иван Григорыч. – Что-то не припомню я, чтобы перед уходом из-за Волги с тобой горе какое приключилось.

– Про то знают Бог, я да еще одна душа... Больше никто не знает и никто не узнает... Послушайте-ка, матушка Манефа, про мои странства по дальним палестинам... Как решил я родное Заволжье покинуть, сам с собой тогда рассуждал: «Куда ж мне теперь, безродному, приклонить бедную голову, где сыскать душевного мира и тишины, где найти успокоение помыслов и забвение всего, что было со мной?...» Решил в монастырь идти, да подальше, как можно подальше от здешних мест. Слышал прежде про монастырь Лаврентьев, что стоит неподалеку от славной слободы Ветки. Житие там строгое. Не каменными стенами, не богатыми церквями красовалась обитель та, – красовалась она старческими слезами, денно-нощными трудами, постом да молитвой... Много там было крепких подвижников, много иноков учительных, в деле душевного спасения искусных. Было немало и молодого, как я, народу: тогда в Лаврентьеву обитель юноши из разных сторон приходили, да управят души свои по словеси

Господню. Все молодые трудники чтению Божественных книг прилежали и в преданиях церковных были крепки и подвижны... Без малого пять лет выжил я с ними, под начальством блаженного старца, и открыл мне Господь разум Писания, разверз умные силы и сподобил забыть все, все прошлое... сподобил... простить обидчику... В пучине Божественного Писания и святоотеческих книг чрез малое время потопил я бывшее горе и прежние печали... И как скоро со мною такая перемена совершилась, восстала в душе другая буря, по иным новым волнам душевный корабль мой стал вляяться... Не сиделось на месте, стало тянуть меня куда-то далеко-далеко, а куда, сам не знаю... Прискучили леса и пустыни, прискучили благочестивые старцы; не иноческой тишины мне хотелось, хотелось повидать дальние страны, посмотреть на чужие государства, поплавать по синему морю, походить по горам высоким. Как птица из клетки, рвался я на волю, чтоб идти, куда глаза глядят, – идти, пока где-нибудь смерть меня не настигнет... Хотел бежать из обители, думал в мир назад воротиться, но Бог не пустил... Приезжали в то время к нашему отцу игумну Аркадию зарубежные старцы из молдавских монастырей, в Питере по соборам были и возвращались восвояси. Два дня и две ночи игумен Аркадий тайные речи вел с ними, на третий всех молодых трудников призвал в келью к себе. Пришло нас пятнадцать человек. И стал нам сказывать отец Аркадий про оскудение благочестивого священства, про душевный глад, христиан постигший. «А есть, говорит, в дальних странах места сокровенные, где старая вера соблюдена в целостности и чистоте. Там она, непорочная невеста Христова, среди бусурман, яко светило сияет. Первое такое место на райской реке Евфрате, промеж рубежей турецкого с персидским, другая страна за Египтом – зовется Емакань, в земле Фиваидской, третье место за Сибирью, в сокровенном Опоньском государстве. Вот бы, говорит отец игумен, порадеть вам, труднички молодые, положить ваши труды на спасение всего христианства. Поискать бы вам благодать таковую, там ведь много древлеблагодатных епископов и митрополитов. Вывезти бы вам хоть одного в наши российские пределы, утвердили бы мы в России корень священства, утолили бы душевный глад многого народа. Свои бы тогда у нас попы были, не нуждались бы мы в беглецах никоньянских... И еще исполните мое слово – в сем мире будет вам от людей похвала и слава, а в будущем веке от Господа неизглаголанное блаженство...» Как услышал я такие глаголы, тотчас игумну земно поклонился, стал просить его благословения на подвиг дальнего странства. За мной другие трудники поклонились: повеление пославшего все готовы исполнить. Снабдил нас игумен деньгами на дорогу, дал для памяти тетрадки, как и где искать благочестных архиереев... И пошли мы пятнадцать человек к реке Дунаю, пришли во град Измаил, а там уж наши христиане нас ожидают, игумен Аркадий к ним отписал до нашего приходу. Без паспортов пропуск за Дунай был заказан, стояла на берегу великая стража, никого без паспорта за реку не пускала. В камыши спровадили нас христолюбцы, а оттоле ночью в рыбацких челноках, крадучись, яко тати, на турецкую сторону мы перебрались. Тут пошли мы в славное Кубанское войско, – то наши христиане казаки, что живут за Дунаем, некрасовцами зовутся. Соблюли они старую веру и все преданья церковные сохранили. Хорошо было нам жить у них и привольно. Богатейшие у них там рыбные ловли и земли вдоволь; хлебом, виноградом, кукурузой и всяким овощем там преизобильно. А живут те некрасовцы во ослабе: старую веру соблюдают, ни от кого в том нет им запрету; делами своими на «кругах» заправляют, турецкому султану дани не платят, только как война у турки зачнется, полки свои на службу выставляют... Прожили мы у некрасовцев без мала полгода в ихнем монастыре, а зовется он Славой, и жили мы там в изобилии и довольстве. Еще больше тут к нам из России путников на дальнее странство набралось – стало всего нас человек сорок. И поплыли мы к Царьграду по Черному морю и, поживши мало время в Царьграде, переплыли в каюках Мраморное море и тамо опять пришли к нашим старообрядцам, тоже к казакам славного Кубанского войска, а зовется их станица Майносом. Оттоль пошли к райской реке Евфрату...

Смолк Яким Прохорыч. Жадно все его слушали, не исключая и Волка. Правда, раза два задумывал он под шумок к графинам пробраться, но, заметив следившего за ним Алексея, как ни в чем не бывало повертывал назад и возвращался на покинутое место.

– Что ж? Дошли до Евфрата? – спросила Аксинья Захаровна.

– Из сорока человек дошло только двадцать, – продолжал паломник. – Только двадцать!.. Зарыли остальных в песках да в горных ущельях... десять недель шли: на каждую неделю по два покойника!.. Голод, болезни, дикие звери, разбойники да бусурманские народы – везде беды, везде напасти... Но не смущалось сердце наше, и мы шли, шли да товарищей хоронили... Безвестны могилки бедных, никому их не сыскать и некому над ними поплакать!.. Прошли мы вдоль реки Евфрата, были меж турецкой и персидской границей и не нашли старообрядцев... А смерть путников косила и косила... Назад к Царьграду поворотили. Шли, шли и помирали... И никому-то не хотелось лечь на чужой стороне, всякой-то про свою родину думал и, умирая, слезно просил товарищей, как умрет, снять у него с креста ладанку да, разрезавши, посыпать лицо его зашитой там русской землею... У меня одного ладанки с родной земли не бывало... И встосковалось же тогда сердце мое по матушке по России... В Царьград я один воротился, молодые трудники все до единого пошли в мать сыру-землю... Добрел до Лаврентьева и про все рассказал отцу игумну подробно. Справил он по ним соборную панихиду, имена их записал в синодик, постенный и литейный, а дела не покинул. Нудит опять меня: «Ступай, говорит, в Екамань, в страну Фиваидскую, за Египет. Там беспрерывно найдешь епископов; недавно, говорит, некие христолюбцы тамо бывали, про тамошнее житие нам писали». Новые трудники на подвиг странства сыскались, опять все люди молодые, всего двадцать пять человек... Как бывалого человека, меня с ними послали... Тем же путем в Царьград мы пошли, там на корабли сели и поехали по Белому морю²³, держа путь ко святому граду Иерусалиму. Были у Спасова гроба, зрели, как все веры на едином месте служат. Отслужат свою обедню армяне, пойдут за ними латины, на месте святе в бездушные органы играют, а за ними пойдут сирийцы да копты, молятся нелепо, козлогласуют, потом пойдут по-своему служить арабы, а сами все в шапках и чуть не голы, пляшут, беснуются вокруг Христова гроба. Тут и греческие служат... Не обрели мы древлего благочестия ни в Иерусалиме, ни в Вифлееме, ни на святой реке Иордане – всюду пестро и развращено!.. Поплакали, видя сие, и пошли во град Иоппию; сели на корабль, и привезли нас корабельщики во Египет. Пошли мы вверх по реке Нилу, шли с караванами пеши, дошли до земли Фиваидской, только никто нам не мог указать земли Емаканьской, про такую, дескать, там никогда не слышали... И напала на нас во Египте чума: из двадцати пяти человек осталось нас двое... Поплыли назад в Россию, добрали до отца игумна, обо всем ему доложили: «Нет, мол, за Египтом никакой Емакани, нет, мол, в Фиваиде древней веры...» И опять велел игумен служить соборную панихиду, совершить поминовение по усопшим, ради Божия дела в чуждых странах живот свой скончавших... А потом опять меня призывает, опять на новый подвиг странствия посылает. «Есть, говорит, в крайних восточных пределах за Сибирью хриstopодражательная древняя церковь асирского языка. Тамо в Опоньском царстве, на Беловодье, стоит сто восемьдесят церквей без одной церкви, да, кроме того, российских древлего благочестия церквей сорок. Имеют те российские люди митрополита и епископов асирского поставленья. А удалились они в Опоньское государство, когда в Москве изменение благочестия стало. Тогда из честные обители Соловецкой да из многих иных мест много народу туда удалилось. И светского суда в том Опоньском государстве они не имеют, всеми людьми управляют духовные власти. Идти тебе за Сибирские пределы, искать за ними того Беловодья, доставить к нам епископа древней веры благочестивой. А товарищи тебе готовы». Так повелел мне игумен. Шесть недель мы в Лаврентьевой обители пожили, ровно погостили, и потом всемером пошли к Беловодью. Дошли в Сибири до реки Катунь и нашли там христолю-

²³ Архипелаг.

бывших странноприимцев, что русских людей за Камень в Китайское царство переводят. Тамо множество пещер тайных, в них странники привитают, а немного подале стоят снеговые горы, верст за триста, коли не больше, их видно. Перешли мы те снеговые горы и нашли там келью да часовню, в ней двое старцев пребывало, только не нашего были согласу, священства они не приемлют. Однако ж путь к Беловодью нам указали и проводника по малом времени ссылали... Шли мы через великую степь Китайским государством сорок и четыре дня сряду. Чего мы там не натерпелись, каких бед-напастей не испытали; сторона незнакомая, чужая, и совсем как есть пустая – нигде человечья лица не увидишь, одни звери бродят по той пустыни. Двое наших путников теми зверями при нашем виденье заедены были. Воды в той степи мало, иной раз два дня идешь, хотя б калужинку какую встретить; а как увидишь издали светлую водицу, бежишь к ней бегом, забывая усталость. Так однажды, увидав издали речку, побежали мы к ней водицы напиться; бежим, а из камышей как прыгнет на нас зверь дикий, сам полосатый и ровно кошка, а величиной с медведя; двух странников растерзал во едино мгновение ока... Много было бед, много напастей!.. Но дошли-таки мы до Беловодья. Стоит там глубокое озеро да большое, ровно как море какое, а зовут то озеро Лопонским²⁴ и течет в него с запада река Беловодье²⁵. На том озере большие острова есть, и на тех островах живут русские люди старой веры. Только и они священства не приемлют, нет у них архиереев, и никогда их там не бывало... Прожил я в том Беловодье без малого четыре года. Выпуску оттудова пришедшим людям нету, боятся те опонцы, чтоб на Руси про них не спознали и назад в русское царство их не воротили... И, живучи в тех местах, очень я по России стосковался. Думаю себе: «Пускай мне хоть голову снимут, а уйду же я от тех опонцев в Российское царство». А там в первые три года свежаков²⁶ с островов на берег великого озера не пускают, пока не уверятся, что не сбежит тот человек во матушку во Россию. На четвертом году хозяин, у которого я проживал в батраках, стал меня с собой брать на рыбную ловлю. И уж скажу ж я вам, что только там за рыбная ловля! Много рек видал я на своем веку: живал при Дунае и на тихом Дону, а матушку Волгу сверху донизу знаю, на вольном Яике на багреньях бывал, за бабушку Гугниху пивал²⁷, все сибирские реки мне вдосталь известны, а нигде такого рыбного улова я не видал, как на том Беловодье!.. Кажется, как к нашим местам бы да такие воды, каждый бы нищий тысячником в один год сделался. Такое во всем приволье, что нигде по другим местам такого не видно. Всякие земные плоды там в обилье родятся: и виноград и пшено сорочинское; одно только плохо: матушки ржицы нет и в заводе... Но как ни привольно было жить в том Беловодье, все-то меня в Россию тянуло. Взял меня однажды Сидор – хозяин мой – на рыбную ловлю, переехали озеро, в камышах пристали. Грешный человек, хотел его сонного побывшить²⁸, да зазрела совесть. Пьян он был на ту пору: чуть не полкувшина кумышки из сорочинского пшена с вечера выпил; перевязал его веревками, завернул в сети, сам бежал в степи... Три месяца бродил я, питаюсь кореньями да диким луком... Не зная дороги, все на север держал по звездам да по солнцу. На реку, бывало, наткнешься, попробуешь броду, нет его, и пойдешь обходить ту реку; иной раз идешь верст полсотни и больше... На сибирском рубеже стоят снежные горы; без проводника, не зная тамошних мест, их ввек не перелезть, да послал Господь мне доброго человека из варнаков – беглый каторжный, значит, – вывел на русскую землю!.. Спаси его, Господи, и помилуй!

Замолчал Яким Прохорыч и грустно склонил голову. Все молчали под впечатлением рассказа.

²⁴ Лоп-Нор, на островах которого и по берегам, говорят, живет несколько забеглых раскольников.

²⁵ Ак-су – что значит по-русски *белая вода*.

²⁶ Новый, недавний пришелец.

²⁷ Бабушка Гугниха уральскими (прежде яицкими) казаками считается их родоначальницей. После багренья рыбы и на всяких иных пирах первую чару там пьют за бабушку Гугниху.

²⁸ Убить.

– Что ж, опять ты пошел в монастырь к своему игумну? – через несколько минут спросил у паломника Патап Максимыч.

– Не дошел до него, – отвечал тот. – Дорогой узнал, что монастырь наш закрыли, а игумен Аркадий за Дунай к некрасовцам перебрался... Еще сведал я, что тем временем, как проживал я в Беловодье, наши сыскали митрополита и водворили его в австрийских пределах. Побрел я туда. С немалым трудом и с большою опаской перевели меня христолюбцы за рубеж австрийский, и сподобил меня Господь узреть недостойными очами святую митрополию Белой Криницы во всей ее славе.

– Расскажи нам про это место, – спрашивал Стуколова Патап Максимыч. – Все Расскажи, поподробну.

– Поистине, – с торжественностью продолжал паломник, – явился благодать спасительная всем человекам, живущим по древлеблагочестивой вере. Нашел я в Белой Кринице радость духовную, ликование неумолкаемое о господине владыке митрополите и епископах и о всем чину священном. Двести лет не видано и не слыхано было у наших христиан своей священной иерархии, ныне она воочию зрится. Притек я в Белую Криницу, встретил там кое-кого из лаврентьевских мнихов. Меня узнали, властям монастырским обо мне доложили. Рассказал я им по ряду про свое сибирское хождение и про жизнь в Беловодье. Они меня, странного, всем успокоили, келью мне дали и одежду монастырскую справили. Был и у самого владыки Амвросия под благословеньем, и он через толмача много меня расспрашивать изволил обо всех моих по дальним странам хождениях. Прожил я в той Белой Кринице два с половиною года, ездил оттоль и за Дунай в некрасовский монастырь Славу, и тамо привел меня Бог свидеться с лаврентьевским игумном Аркадием. Немало вечеров в тайных беседах у нас протекло с сим учительным старцем. Много рассказывал я ему про три хождения наши: про евфратское, египетское и в Беловодье. И скорбел я перед ним, заливаясь слезами: «Не благословил Бог наш подвиг: больше семидесяти учеников твоих, отче, три раза в дальние страны ходили и ничего не сыскали, и все-то семьдесят учеников полегли в чужих странах, один аз, грешный, в живых остался». Отвечал на такие речи старец, меня утешая, а сам от очию слезы испуская: «Не скорби, брате, – говорил он, – не скорби и душевного уныния бегай: аще троечастный твой путный подвиг и тщетен остался, но паче возвеселиться должен ты ныне с нашими радостными лики: обрели мы святителей, и теперь у нас полный чин священства. За труды твои церковь тебя похваляет и всегда за тебя молить Бога будет, а трудникам, что нужною смертью в пути живот свой скончали, – буди им вечная память в роды и роды!...» Тут упал я к честным стопам старца, открыл перед ним свою душу, поведал ему мои сомнения. «Прости, – сказал ему, – святой отче, разреши недоуменный мой помысл. Корень иерархии нашей от греков изыде, а много я видал греческих властей в Царьграде, и в Иерусалиме, и во Египте: пестра их вера, благочестия обнажена совершенно. Как же новая иерархия от столь мутного источника изыде, како в светлую реку претворися?» И довольно поучил меня старец Аркадий, и беседою душеполезной растопил окаменелое мое сердце, отогнал от меня лукавого духа. Потом и сам я исследовал все дело подробно и со многими искусными в Божественном Писании старцами много беседовал и вконец удостоверился, что наша священная иерархия истинна и правильна!... Ей! Перед Господом Богом свидетельствую вам и всех вас совершенно заверяю, – прибавил, вставая с места и подходя к иконам, паломник, – истинна древлеправославная австрийская иерархия, нет в ней ни едина порока!

Медленною поступью подошла Манефа к паломнику и твердым голосом сказала:

– Не чаяла тебя видеть, Яким Прохорыч!... Как из гроба стал передо мною... Благодарю Господа и поклоняюсь ему за все чудодейния, какие оказал он над тобою.

Поклонилась мать Манефа паломнику и скорей, едва слышной поступью, пошла из горницы, а поравнявшись с Фленушкой, сказала ей шепотом:

– Пойдем... Евпраксию позови... Укладываться... Чем свет поедем.

– Зачем же ты, Яким Прохорыч, ушел из митрополии? – спросила Акси́нья Захаровна у Стуколова.

– Творя волю епископа, преосвященного господина Софрония, – внушительно отвечал он и, немного помолчав, сказал: – Через два с половиною года после того, как водворился я в Белой Кринице, прибыл некий благочестивый муж Степан Трифонович Жиров, начетчик великий, всей Москве знаем. До учреждения митрополии утолял он в России душевный глад христиан, привлекая к древнему благочестию никонианских иереев. Письма привез он из Москвы, и скоро его митрополит по всем духовным степеням произвел: из простецов в пять дней стал он епископ Софроний и воротился в Россию. Белокриницкие власти повелели мне находиться при нем. С ним и приехал я до Москвы.

– И за Волгу он же прислал тебя? – спросил Патап Максимыч.

– Он же, только совсем по другому делу. Не по церковному, – отвечал Яким Прохорыч.

– Что за дело? – продолжал расспросы Патап Максимыч.

Стуколов замолчал.

– Коли клятвы не положено, чтобы тайны не поведать, что не говоришь?.. – сказал Патап Максимыч.

– Клятву не положено, и приказу молчать не сказано, – вполголоса проговорил Стуколов.

– Зачем же нас в неведение держишь? – сказал Патап Максимыч. – Здесь свои люди, стары твои друзья, кондовые приятели, а кого не знаешь – то чада и домочадцы их.

Молчал Яким Прохорыч.

– Видно, долга разлука холодит старую дружбу, – вполголоса промолвил Чапурин Ивану Григорычу.

– Скажу, – молвил Стуколов. – Только не при женах говорить бы...

– Ах, батька! Уйти можем, – воскликнула Акси́нья Захаровна. – Насть, велика Матрене заедки-то в задню нести. Пойдемте, Арина Васильевна, Грунюшка, Параша. Никифору-то не уйти ли с нами, Максимыч?

– Ступай-ка с ними в самом деле, – сказал ему Патап Максимыч.

Никифор пошел, с горестью глядя, что Матрена в заднюю несет одни сладкие заедки. Разноцветные графины и соленья остались, по приказу хозяина, в передней горнице.

Обведя собеседников глазами, Стуколов начал:

– Вот вы тысячники, богатеи: пересчитать только деньги ваши, так не один раз устанешь... А я что перед вами?.. Убогий странник, нищий, калика перехожий... А стоит мне захотеть, всех миллионщиков богаче буду... Не хочу. Отрекся от мира и от богатства отказался...

– Научи нас, как сделаться миллионщиками, – слегка усмехнувшись, сказал удельный голова.

– Научу... И будете миллионщиками, – отвечал Стуколов. – Беспременно будете... Мне не надо богатства... Перед Богом говорю... Только маленько работы от вас потребуется.

– Какой же работы? – спросил голова.

– Не больно тяжелой, управиться сможете. Да не о том теперь речь... Покаместь... – с запинками говорил Стуколов. – Земляного масла хотите? – примолвил он шепотом.

Все переглянулись.

– Что за масло такое? – Чапурин спросил.

– Не слыхал?.. – с лукавой усмешкой спросил паломник. – А из чего это у тебя сделано? – спросил он Патапа Максимыча, взявши его за руку, на которой для праздника надеты были два дорогих перстня.

– Из золота.

– По-нашему, по-сибирски, – это земляное масло. Видал ли кто из вас, как в земле-то сидит оно?

– Кому видеть? Никто не видал, – отозвался Чапурин.

– А я видал, – сказал паломник. – Бывало, как жил в сибирских тайгах, сам доставал это маслицо, все это дело знаю вдоль и поперек. Не в пронос будь слово сказано, знаю, каким способом и в Россию можно его вывозить... Смекаете?

– Да ведь это далеко, – заметил Патап Максимыч. – В Сибири. Нам не рука.

– Ближе найдем, – отвечал паломник. – По золоту ходите, по серебру бродите... Понимаете вы это?

– Разве есть за Волгой золото? Быть того не может! Шутки ты шутишь над нами, – сказал удельный голова.

– Известно, здесь в Осиповке опричь илу да песку нет ничего. А поблизости найдется, – сказал Стуколов. – Слушайте: дорогой, как мы из австрийских пределов с епископом в Москву ехали, рассказал я ему про свои хождения, говорил и про то, как в сибирских тайгах земляным маслом заимствовался. Епископ тут и открылся мне: допрежь в Москве постоянный двор он держал, и некие от христиан земляное масло из Сибири ему важивали в осетрах да в белугах, еще в меду. Епископа брат путь-дорогу привезенному маслу показывал, куда, значит, следует идти ему. Хоть дело запретное, да находились люди, что с радостью масло то покупали. Однако ж начальство сведало. Тогда и пришло на мысль епископу, чем тайно сбытом земляного масла заимствоваться, лучше настоящим делом, как есть по закону, искать золото. В Сибирь не раз Жировы ездили прииска открывать. Найти золотой прииск там не мудреное дело, только нашему брату не дадут им пользоваться. Ты сыщешь, а богатый золотопромышленник из-под носу его у тебя выхватит, к своим рукам приберет, а тебя из тайги-то взашей, чтоб и духа твоего там не было. Это так, это я сам видел, как в Сибири проживал. И узнал преосвященный наш владыка, что недалече от родины его, в Калужской, значит, губернии, тоже есть золото. Поглядели, в самом деле нашли песок золотой. Не оглашая дела, купили они золотиносное место у местного барина, пятьдесят десятин. В Петербург пробы возили; там пробу делали и сказали, что точно, тут золото есть²⁹. Рассказавши про такое дело, епископ и говорит: «Этим делом мне теперь заниматься нельзя, сан не позволяет, но есть, говорит, у меня братья родные и други-приятели, они при том деле будут... А перед самым, говорит, отъездом моим в Белу Криницу, мне отписывали, что за Волгой по тамошним лесам водится золото. Я, говорит, тебя туда заместо послушания пошлю спроведать, правду ль мне отписывали, а если найдешь, предложи там кому из христиан, не пожелает ли кто со мной его добывать...» Вот я и пришел сюда, творить волю пославшего.

– Что же, нашел? – с нетерпением спросил Патап Максимыч.

– Видимо-невидимо! – ответил Стуколов. – Всю Сибирь вдоль и поперек изойди, такого богатства не сыщешь. Золото само из земли лезет... Глядите!

И, вынув из кармана замшевый мешок, в каких крестьяне носят деньги, Стуколов развязал его, и густая струя золотого песку посыпалась на чайное блюдечко.

Все столпились вокруг стола и жадно смотрели на золотую струю. Ни слова, ни звука... Даже дыханье у всех сперлось. Один маятник стальных часов мерно чикал за перегородкой.

Вдруг скрип полозьев. Остановились у ворот сани. Внизу забежали, в сенях засуетились.

Патап Максимыч очнулся и побежал гостей встречать. Паломник, не торопясь, высыпал золотой песок с блюдечка в мешок и крепко завязал его.

– Где нашел?... В каком месте? – спрашивал его Алексей, едва переводя дух и схватив паломника за руку.

²⁹ Истинное происшествие. Кочуев, которому принадлежит первая мысль об устройстве Белокриницкой иерархии, вместе с братьями Жировыми, купцом Заказновым и племянником своим Александром Кочуевым искали золото в Калужской губернии. Для этого в 1849 году купили у г. Поливанова 50 десятин земли и, чтобы не огласить цели покупки, говорили, что думают устроить химический завод. Заказнов привез в Петербург непромытый песок, говоря, что он взят на купленной у Поливанова земле. По свидетельству пробирера Гронмейера, в пуде непромытого песка с глиной найдено было 6 1/4 долей золота и 25 долей серебра.

– Неподалеку отсюда, в лесу... – равнодушно молвил Стуколов, кладя мешок в карман. Загорелись у Алексея глаза. «Вот счастье-то Бог посылает, – подумал он. – Накопаю я этого масла, тогда...»

Патап Максимыч вошел в горницу, ведя под руку старика Снежкова. За ним шел молодой Снежков.

Глава двенадцатая

Струя золотого песку, пущенная паломником, ошеломила гостей Патапа Максимыча. При Снежковых разговор не клеился. Даниле Тихонычу показалось странным, что ему отвечают нехотя и невпопад и что сам хозяин был как бы не по себе.

«Что за притча такая? – думают Снежковы. – Звали именинный пир пировать, невесту хотели показывать, родниться затевали, а приехали – так хоть бы пустым словом встретили нас. Будто и не рады, будто мы лишние, неожиданные». Коробило отца Снежкова – самолюбив был старик.

Меж тем Патап Максимыч, улуча минуту, подошел к Стуколову. Стоя у божницы, паломник внимательно разглядывал старинные иконы. Патап Максимыч вызвал его на пару слов в боковушку.

– Это Снежковы приехали, – сказал он, – богатые купцы самарские, старик-от мне большой приятель. Денег куча, никаких капиталов он не пожалеет на разведки. Сказать ему, что ли?

– Оборони, Господи! – отвечал Стуколов. – Строго-настрога наказано, чтоб, oprичь здешних жителей, никому словечка не молвить... Там после что Бог даст, а теперь нельзя.

Не по нраву пришлись Чапурину слова паломника. Однако сделал по его: и куму Ивану Григорычу, и удельному голове, и Алексею шепнул, чтоб до поры до времени они про золотые прииски никому не сказывали. Дюкова учить было нечего, тот был со Стуколовым заодно. К тому же парень был не говорливого десятка, в молчанку больше любил играть.

Кой-как завязалась беседа, но беседовали невесело. Не стала веселей беседа и тогда, как вошли в горницу Аксинья Захаровна с дочерьми и гостями. Манефа не вышла взглянуть на суженого племянницы.

Когда Настя входила в горницу, молодой Снежков стоял возле Алексея. Он был одет «помодному»: в щегольский короткополый сюртук и черный открытый жилет, на нем блестела золотая часовая цепочка со множеством разных привесок. Белье на Снежкове было чистоты белоснежной, на левой руке белая перчатка была натянута. Михайло Данилыч принадлежал к числу «образованных старообрядцев», что давно появились в столицах, а лет двадцать тому назад стали показываться и в губерниях. Строгие рогожские уставы не смущали их. Не верили они, чтоб в иноземной одежде, в клубах, театрах, маскарадах много было греха, и Михайло Данилыч не раз, сидя в особой комнате Новотроицкого с сигарой в зубах, за стаканом шампанского, от души хохотал с подобными себе над увещаниями и проклятиями рогожского попа Ивана Матвеича, в новых обычаях видевшего конечную погибель старообрядства.

Михайло Данилыч был из себя красив, легкие рябины не безобразили его лица; взгляд был веселый, открытый, умный. Но как невзрачен показался он Насте, когда она перевела взор свой на Алексея!

Патап Максимыч познакомил с женой и дочерьми. Уселись: старик Снежков рядом с хозяйкой, принявшей снова чай разливать, сын возле Патапа Максимыча.

– Просим любить нас, лаской своей не оставить, Аксинья Захаровна, – говорил хозяйке Данило Тихоныч. – И парнишку моего лаской не оставьте... Вы не смотрите, что на нем такая одежда... Что станешь делать с молодежью? В городе живем, в столицах бываем; нельзя... А по душе, сударыня, парень он у меня хороший, как есть нашего старого завета.

– Что про то говорить, Данило Тихоныч, – отвечала Аксинья Захаровна, с любопытством разглядывая Михайла Данилыча и переводя украдкой глаза на Настю. – Известно, люди молодые, незрелые. Не на ветер стары люди говаривали: «Незрел виноград, невкусен, млад человек неискусен; а молоденький умок, что весенний ледок...» Пройдут, батюшка Данило Тихоныч, красные-то годы, пройдет молодость: возлюбят тогда и одежду степенную, святыми отцами благословенную и нам, грешным, заповеданную; возлюбят и старинку нашу боголюбезную, свычаи да обычаи, что дедами, прадедами нерушимо уложены.

– Это вы правильно, Аксинья Захаровна, – отвечал старый Снежков. – Это, значит, вы как есть в настоящую точку попали.

– Куда я попала, батюшка? – с недоуменьем спросила Аксинья Захаровна.

– В настоящую точку, значит, в линию, как есть, – ответил Данило Тихоныч. – Потому, значит, в ваших словах, окромя настоящей справедливости, нет ничего-с.

– Невдомек мне, глупой, ваши умные речи, – сказала Аксинья Захаровна. – Мы люди простые, темные, захолустные, простите нас, Христа ради!

– А ты слушай да речей не перебивай, – вступился Патап Максимыч, и безмолвная Аксинья Захаровна покорно устремила взор свой к Снежкову: «Говорите, мол, батюшка Данило Тихоныч, слушать велит».

Прочие, кто были в горнице, молчали, глядя в упор на Снежковых... Пользуясь тем, Никифор Захарыч тихохонько вздумал пробраться за стульями к заветному столику, но Патап Максимыч это заметил. Не ворочая головы, а только скосив глаза, сказал он:

– Алексей!

Алексей проснулся из забытья. Все время сидел он, опустил глаза в землю и не слыша, что вокруг его говорится... Золото, только золото на уме у него... Услышав хозяйское слово и увидя Никифора, встал. «Волк» повернул назад и, как ни в чем не бывало, с тяжелым вздохом уселся у печки, возле выхода в боковушку. И как же ругался он сам про себя.

– По нынешним временам, сударыня Аксинья Захаровна, – продолжал свои речи Данило Тихоныч, – нашему брату купцу, особенно из молодых, никак невозможно старых обычаев во всем соблюсти. Что станешь делать? Такие времена пришли!.. Изойдите вы теперь все хорошие дома по московскому аль по петербургскому купечеству, из нашего то есть сословия, везде это найдете... Да и что за грех, коли правду сказать, Аксинья Захаровна? Была бы душа чиста и свята. Так ли? Все эти грехи не смертные, все эти грехи замолимые. Покаемся, Бог даст успеем умолить Создателя... А некогда да недосуг, праведников да молитвенников попросим. Они свое дело знают – разом замолят грех.

– Велика молитва праведников перед Господом, – с набожным вздохом молвила Аксинья Захаровна.

Стуколов нахмурился. Как ночь смотрит, глаз не сводя со старого краснобая.

– Я вам, сударыня Аксинья Захаровна, про одного моего приятеля расскажу, – продолжал старик Снежков. – Стужин есть, Семен Елизарыч, в Москве. Страшный богач: двадцать пять тысяч народу у него на фабриках кормится. Слыхали, поди, Патап Максимыч, про Семена Елизарыча? А может статься, и встречались у Макарья – он туда каждый год ездит.

– Как про Стужина не слыхать, – ответил Патап Максимыч, – люди известные. Миллионах, слышь, в десяти.

– Посчитать, и больше наберется, – отвечал Данило Тихоныч. – Поистине, не облыжно доложу вам, Аксинья Захаровна, таких людей промеж наших христиан, древлего то есть благочестия, не много найдется!.. Столп благочестия!.. Адамант!.. Да-с. Так его рогожский священник наш, батюшка Иван Матвеич, и в глаза и за глаза зовет, а матушка Пульхерия, рогожская то есть игуменья, всем говорит, что вот без малого сто годов она на свете живет, а такого благочестия, как в Семене Елизарыче, ни в ком не видывала... Через него, сударыня Аксинья Заха-

ровна, можно сказать, все Рогожское держится, им только и дышит. Потому, знаете, от начальства ноне строгости, а Семен Елизарыч с высокими людьми водит знакомство... И оберегает.

– Дай ему Бог доброго здоровья и души спасения, – набожно, вполголоса, проговорила Аксинья Захаровна. – Слыхали и мы про великие добродетели Семена Елизарыча. Сирым и вдовым заступник, нищей братии щедрый податель, странным покой, болящим признание... Дай ему, Господи, телесного здравия и душевного спасения...

– Так-с, – ответил Данило Тихоныч. – Истину изволите говорить, сударыня Аксинья Захаровна... Ну, а уж насчет хоша бы, примером будучи сказать, этого табачного зелья, и деткам не возбраняет, и сам в чужих людях не брезгает... На этом уж извините...

– Сквернится? – грустно, чуть не со слезами на глазах спросила Аксинья Захаровна.

– Одно слово – извините! – с улыбкой отвечал Данило Тихоныч.

Стуколов плюнул, встал со стула, быстро прошелся раза два в сторонке и, нахмуренный пуще прежнего, уселся на прежнее место.

– Что делать, сударыня? – продолжал Снежков. – Слабость, соблазн, на всякий час не устоишь. Немало Семена Елизарыча матушка Пульхерия началит. Журит она его, вычитает ему все, что следует, а напоследок смилуется и сотворит прощенье. «Делать нечего, скажет, грехи твои на себя возьмем, только веру крепко храни... Будешь веру хранить, о грехах не тужи: замолим».

– Много может молитва праведника, – с набожным вздохом промолвила Аксинья Захаровна. – Един праведник за тысячу грешников умоляет... Не прогневался еще до конца на нас, грешных, Царь Небесный, посылает в мир праведных... Вот и у нас своя молитвенница есть... Сестра Патапу-то Максимычу, матушка Манефа комаровская. Может, слыхали?

– Много наслышаны, – отвечал Снежков. – По нашим местам сказывают, что у ней в обители отменно хорошо и по чину содержится все... Да, сударыня Аксинья Захаровна, это точно-с, дана вам благодать Божия... Со своей молитвенницей не в пример спокойнее жить. Иной, чувствуя прегрешения, и захотел бы сам грехи свои замаливать, да сами посудите, есть ли ему время?.. Недосуги, хлопоты... Хоть нашего брата возьмите, как при нашей то есть коммерции станешь грехи замаливать? Суета все: кричишь, бранишься, ссоришься, времени-то и не хватит на Божие дело... Да и то сказать: примешься сам-от замаливать, да, не зная сноровки, еще пуще, пожалуй, на душу-то нагадишь. Ведь во всяком деле надо сноровку знать. А праведнику это дело завсегда подходящее, потому что он на том уже стоит. Он уж маху не даст, потому что сноровку в своем деле знает, за дело взяться умеет. А нам куда! Не пори, коли шить не умеешь... Ваше дело женское, еще туда-сюда, потому что домоседничаете и молитвам больше нашего навывкли, а как наш-от брат примется, курам на смех – хоть дело все брось... Ха-ха-ха!..

И раскатился старый Снежков громким хохотом. Но, кроме сына, никто не улыбнулся ни на речи, ни на хохот его. Все молча сидели, Аграфена Петровна особенно строго поглядела на рассказчика, но он не смотрел в ее сторону. Стуколова так и подергивало; едва мог себя сдерживать. Аксинья Захаровна про себя какую-то молитву читала.

Чтобы поворотить разговор на другое, Патап Максимыч напомнил Снежкову:

– Так что ж про Стужина-то зачали вы, Данило Тихоныч?

– Насчет нонешней молодежи хотел сказать, – отвечал Данило Тихоныч. – У Семена Елизарыча, – продолжал он, обращаясь к Аксинье Захаровне, – сынки-то во фраках, сударыня, щеголяют, – знаете, в этакой куртке с хвостиками?.. Всему обучены... А ежели теперь прийти на бал али в театре на них посмотреть, от графов да от князей ничем отличить невозможно, купецкого звания и духу нет... А коммерция из рук не валится, большая помога отцу. В коммерческой академии обучались, произошли всякую науку, медали за ученье получили, не на вывеску только, а карманные, без ушков, значит, и ленты нет, – прибавил он, поправляя висевшую у него на шее, на аннинской ленте, золотую медаль. – Ну, да хоть и без ушков, а все же медаль, почесть, значит... На дочерей бы Семена Елизарыча посмотрели вы, Аксинья Заха-

ровна, ахнули бы, просто бы ахнули... По-французскому так и режут, как есть самые настоящие барышни. И если где бал, танцуют вплоть до утра, и в театры ездят, в грех того, по нынешним временам, не ставят. А уж одеваются как, по триста да по четыреста целковых платье... И всякую мелочь даже на них, до последней, с позволения сказать, исподницы, шьют французки на Кузнецком мосту... Поглядели бы вы, как на бал они разодеются, – любодорого посмотреть... В позапрошлом году, зимой, сижу я раз вечером у Семена Елизарыча, было еще из наших человека два; сидим, про дела толкуем, а чай разливает матушка Семена Елизарыча, старушка древняя, редко когда и в люди кажется, больше все на молитве в своем мезонине пребывает. Хозяюшка-то Семена Елизарыча в ту пору на бал с дочерьми собиралась в купеческо собрание. В первый раз дочерей-то везла туда. Бабушке, понятно дело, хочется тоже поглядеть, как внучки-то вырядятся. Напоила нас чаем, а сама сидит в гостиной, нейдет в свою горенку, дожидается... И вышли внучки, в дорогие кружева разодеты, все в цветах, ну а руки-то по локоть, как теперь водится, голы, и шея до плеч голая, и груди наполовину... Как взвидела их Божия старушка, так и всплеснула руками. «Матушка, кричит, совсем нагие!» Да и ну нас турить вон из гостиной. «Уйдите, говорит, отцы родные, Христа ради, уйдите: не глядите на девок, не срамите их». Так мы со смеху и померли.

С изумленьем глядели все на Снежкова. Аксинья Захаровна руки опустила, ровно столбняк нашел на нее, только шепчет вполголоса:

– Мать Пресвятая Богородица! И шея и груди!.. Господи помилуй, Господи помилуй!

Фленушка глаза опустила, Параша слегка покраснела, а Настя с злорадной улыбкой взглянула на Данилу Тихоныча, потом на отца. Глаза ее заблистали.

Стуколов не выдержал. Раскаленными угольями блеснули черные глаза его, и легкие судороги заструились на испитом лице паломника. Порывисто вскочил он со стула, поднял руку, хотел что-то сказать, но... схватив шапку и никому не поклонясь, быстро пошел вон из горницы. За ним Дюков.

– Куда вы?.. Куда ты, Яким Прохорыч?.. – говорил Патап Максимыч, выбежав следом за ними в сени.

Не старый друг, не чудный паломник, – золото, золото уходило.

– Душе претит! – отвечал Стуколов. – Не стерпеть мне хульных речей суеслова... Лучше уйти... Прощай, Патап Максимыч!.. Прощай...

– Да что ты... Полно!.. Господь с тобой, Яким Прохорыч, – твердил Патап Максимыч, удерживая паломника за руку. – Ведь он богатый мельник, – шутливо продолжал Чапурин, – две мельницы у него есть на море, на окяне. Помол знатный: одна мелет вздор, другая чепуху... Ну и пусть его мелют... Тебе-то что?

– Не могу. Душа не терпит хульных словес! – ответил Стуколов. – Прощай,пусти меня, Патап Максимыч.

– Да куда ж ты, на ночь-то глядя? – уговаривал его Патап Максимыч. – Того и гляди метель еще поднимется, слышь, ветер какой.

– Метели, вьюги, степные бураны давно мне привычны. Слаще в поле мерзнуть, чем уши сквернить мерзостью суесловия. Прощай!

Умаливал, упрашивал Патап Максимыч старинного друга-приятеля переночевать у него, насили уговорил. Согласился Стуколов с условием, что не увидит больше Снежковых, ни старого, ни молодого. Возненавидел он их.

Патап Максимыч кликнул в сени Алексея.

– Яким Прохорыч устал, отдохнуть ему хочется, – сказал он. – У тебя пускай заночует. Успокой его. А к ужину в горницу приходи, – примолвил Патап Максимыч вполголоса.

Алексей с паломником пошли вниз. Патап Максимыч с молчаливым купцом Дюковым к гостям воротились. Там старый Снежков продолжал рассказы про житье-бытье Стужина, – знайте, дескать, с какими людьми мы водимся!

«Что же это такое? – думал Патап Максимыч, садясь возле почетного гостя. – Коли шутки шутит, так эти шутки при девках шутить не годится... Неужели правду он говорит? Чудное дело!»

Рассказывал Данило Тихоныч про балы да про музыкальные вечера в московском купеческом собрании, помянул и про голые шеи.

– Да зачем же у вас девок-то так срамят? – спросил, наконец, Патап Максимыч. – Какой ради причины голых дочерей людям-то кажут?

– Так водится, Патап Максимыч, – с важностью ответил Снежков. – В Петербурге аль в Москве завсегда так на бал ездят: и девицы и замужние. Такое уж заведение.

– И замужние? – проговорил Патап Максимыч, пристально поглядев на Снежкова.

– И замужние, – спокойно ответил Данило Тихоныч. – Без этого нельзя, везде так.

Ни слова не молвил Патап Максимыч. «Что ж это за срам такой? – рассуждает он сам с собою. – Как же это жену-то свою голую напоказ чужим людям возить?.. Неладно, неладно!..»

Как нарочно, и молодой Снежков в такие же рассказы пустился. У него, что у отца, то же на уме было: похвалиться перед будущим тестем: вот, дескать, с какими людьми мы знаем, а вы, дескать, сиволапые, живучи в захолустье, понятия не имеете, как хорошие люди в столицах живут. И рассказывал молодой Снежков про балы и маскарады, про танцы, как их танцуют, про музыкальные вечера и театральные представления. Слушай, мол, Настасья Патаповна, какое тебе житье будет развеселое; выйдешь замуж за меня, как сыр в масле станешь кататься. А она с первого взгляда понравилась Михайле Данилычу, и уж думал он, как в Москву с ней переедет жить, танцевать ее и по-французски выучит, да, разодевши в шелки-бархаты, повезет на Большую Дмитровку в купеческое собрание. Так и ахнут все: «Откуда, мол, взялась такая раскрасавица?»

– А летом, – продолжал он, – Стужины и другие богатые купцы из наших в Сокольниках да в парке на дачах живут. Собираются чуть не каждый Божий день вместе все, кавалеры, и девицы, и молодые замужние женщины. Музыку ездят слушать, верхом на лошадях катаются.

– Как же это верхом, Михайло Данилыч? – спросила Аксинья Захаровна. – Этого мне, старухе, что-то уж и не понять! Неужели и девицы и молодицы на конях верхом?

– Верхом, Аксинья Захаровна, – отвечал Снежков.

– Ай, срам какой! – вскрикнула Аксинья Захаровна, всплеснув руками. – В штанах?

– Зачем в штанах, Аксинья Захаровна? – отвечал Михайло Данилыч, удивленный словами будущей тещи. – Платье для того особое шьют, длинное, с хвостом аршина на два. А на коней боком садятся.

Девушки зарделись. Аграфена Петровна строгим взглядом окинула рассказчика. Настя посмотрела на Патапа Максимыча, и на душе ее стало веселее: чуяла сердцем отцовские думы.

Схватив украдкой Фленушку за руку, шепнула ей:

– Не бывать сватовству.

Фленушка головой кивнула.

В это время Настя взглянула на входившего Алексея и улыбнулась ему светлой, ясной улыбкой. Не заметил он того – вошел мрачный, сел задумчивый. Видно, крепкая дума сидит в голове.

– Молодость! – молвил старый Снежков, улыбаясь и положив руку на плечо сыну. – Молодость, Патап Максимыч, веселье на уме... Что ж?.. Молодой квас – и тот играет, а коли млад человек не добесится, так на старости с ума сойдет... Веселись, пока молоды. Состарятся, по крайности будет чем молодые годы свои помянуть. Так ли, Патап Максимыч?

– Так-то оно так, Данило Тихоныч, – отвечал Патап Максимыч. – Только я, признаться сказать, не пойму что-то ваших речей... Не могу я вдомек себе взять, что такое вы похваляете... Неужели везде наши христиане по городам стали так жить?.. В Казани, к примеру сказать, аль у вас в Самаре?

– Ну, не как в Москве, а тоже живут, – отвечал Данило Тихоныч. – Вот по осени в Казани гостил я у дочери, к зятю на именины попал, важнецкий бал задал, почитай, весь город был. До заутрень танцевали.

– И дочки? – спросил Патап Максимыч.

– Как же! Они у меня на все горазды. В пансионе учились. И по-французски говорят, и все.

– И одеваются, как Стужины? – слегка прищутив глаза и усмехнувшись, спросил Патап Максимыч.

– Известно дело, – отвечал Данило Тихоныч. – Как люди, так и они. Варвара у меня, меньшая, что за Буркова выдана, за Сергея Абрамыча, такая охотница до этих балов, что чудо... И спит и видит.

– Чудны дела твоя, Господи, чудны дела твоя! – проговорил Патап Максимыч. Больно не по себе ему стало.

Ужин готов. Патап Максимыч стал гостей за стол усаживать. Явились и стерляди, и индейки, и другие кушанья, на славу Никитишной изготовленные. Отличилась старушка: так настряпала, что не жуй, не глотай, только с диву брови подымай. Молодой Снежков, набравшийся в столицах толку по части изысканных обедов и тонких вин, не мог скрыть своего удивленья и сказал Аксинье Захаровне:

– Отменно приготовлено! Из городу, видно, повара-то брали?

– Какой у нас повар! – скромно и даже приниженно отвечала столичному щеголю простая душа, Аксинья Захаровна. – Дома, сударь, стряпали – сродственница у нас есть, Дарья Никитишна – ее стряпня.

Надивиться не могли Снежковы на убранство стола, на вина, на кушанья, на камчатное белье, хрусталь и серебряные приборы. Хоть бы в Самаре, хоть бы у Варвары Даниловны Бурковой, задававшей ужины на славу всей Казани... И где ж это?.. В лесах, в заволжском захолустье!..

Смекнул Патап Максимыч, чему гости дивуются. Повеселел. Ходит, потирая руки, вокруг стола, потчует гостей, сам приговаривает:

– Не побрезгуйте, Данило Тихоныч, деревенской хлебом-солью... Чем богаты, тем и рады... Просим не прогневаться, не взыскать на убогом нашем угощенье... Чем Бог послал! Ведь мы мужики серые, необтесанные, городским порядкам не обвыкли... Наше дело лесное, живем с волками да медведями... Да потчуй, жена, чего молчишь, дорогих гостей не потчуеть?

– Покушайте, гости дорогие, – заговорила в свою очередь Аксинья Захаровна. – Что мало кушаете, Данило Тихоныч? Аль вам хозяйской хлеба-соли жаль?

– Много довольны, сударыня Аксинья Захаровна, – приглаживая бороду, сказал старый Снежков, – довольны-предовольны. Власть ваша, больше никак не могу.

– Да вы нашу-то речь послушайте – приневольтесь да покушайте! – отвечала Аксинья Захаровна. – Ведь по-нашему, по-деревенскому, что порушено да не скушано, то хозяйке покор. Пожалейте хоть маленько меня, не срамите моей головы, покушайте хоть маленечко.

– Винца-то, винца, гости дорогие, – потчевал Патап Максимыч, наливая рюмки. – Хвалиться не стану: добро не свое, покупное, каково – не знаю, а люди пили, так хвалили. Не знаю, как вам по вкусу придется. Кушайте на здоровье, Данило Тихоныч.

– Знатное винцо, – сказал Данило Тихоныч, прихлебывая лафит. – Какие у вас кушанья, какие вина, Патап Максимыч! Да я у Стужина не раз на именинах обедал, у нашего губернатора в царские дни завсегда обедаю – не облыжно доложу вам, что вашими кушаньями да вашими винами хоть царя потчевать... Право, отменные-с.

– Наше дело лесное, – самодовольно отвечал Патап Максимыч. – У генералов обедать нам не доводится, театров да балов сроду не видывали; а угостить хорошего человека, чем Бог послал, завсегда рады. Пожалуйте-с, – прибавил он, наливая Снежкову шампанское.

– Не многонько ли будет, Патап Максимыч? – сказал Снежков, слегка отстраняя стакан.
– Наше дело лесное, по-нашему, это вовсе немного. Пожалуйте-с.

Две бутылки распили за наступающую именинницу.

Не обнес Патап Максимыч и шурина, сидевшего рядом с приставленным к нему Алексеем... Было время, когда и Микешка, спуская с забубенными друзьями по трактирам родительские денежки, знал толк в этом вине... Взял он рюмку дрожащей рукой, вспомнил прежние годы, и что-то ясное проблеснуло в тусклых глазах его... Хлебнул и сплюнул.

– Свекольник! – молвил вполголоса. – Мне бы водочки, Патап Максимыч.

Молча отошел от него Патап Максимыч.

Чуть не до полночи пировали гости за ужином. Наконец разошлись. Не все скоро заснули; у всякого своя дума была. Ни сон, ни дрема что-то не ходят по сениям Патапа Максимыча.

Патап Максимыч поместил Снежковых в задней боковушке. Там отец с сыном долго толковали про житье-бытье тысячника, удивлялись убранству дома его, изысканному угощению и тому чинному, стройному во всем порядку, что, казалось, был издавна заведен у него. И про Настю толковали. Хоть не удалось с ней слова перемолвить Михайле Данилычу, хоть Настя целый вечер глядела на него неласково, но величая, гордая красота ее сильно ударила по сердцу щеголеватого купчика. Только и мечтал он, как разоденет ее в шелки, в бархаты, на диво не Самаре, а самой Москве, и как станут люди дивоваться на его жену-раскрасавицу... Старику Снежкову Настя тоже по нраву пришла.

Дал маху Снежков, рассказав про стужинских дочерей. Еще больше остудил он сватовство, обмолвившись, что и его дочери одеваются так же, как Стужины.

Не первый год знался Снежков с Патапом Максимычем; давно подметил он в нем охоту стать на купецкую ногу, во всем обиходе подражать тузам торгового мира. И то знал Данило Тихоныч, что не строго относится Чапурин к нарушениям старых обычаев. В самом деле, Патап Максимыч никогда не бывал изувером, сам частенько трунил над теми ревнителями старого обряда, что покррой кафтана и число на нем пуговиц возводят на степень догмата веры. Не гнушался и табашниками, и хоть сроду сам не куривал, а всегда говаривал, что табак зелье не проклятое, а такая же Божья трава, как и другие; в иноземной одежде, даже в бритые бороды ереси не видал, говоря, что Бог не на одежду смотрит, а на душу. Потому Снежков и был уверен, что рассказ про житье богатых московских старообрядцев будущему свату по мысли придется, – но такая судьба ему выпала, – оборвался... Сильно возмутила Патапа Максимыча мысль, что Михайло Данилыч оголит Настю и выставит с обнаженными грудями людям напоказ.

Все улеглись. Никого не берет дрема, сон никому не смыкает глаз.

Долго в своей боковушке рассказывала Аксинья Захаровна Аграфене Петровне про все чудное, что творилось с Настасьей с того дня, как отец сказал ей про суженого. Толковали потом про молодого Снежкова. И той и другой не пришелся он по нраву. Смолкла Аксинья Захаровна, и вместо плаксивого ее голоса слышался легкий старушечий храп: започила сном именинница. Смолкли в светлице долго и весело щебетавшие Настя с Фленушкой. Во всем доме стало тихо, лишь в передней горнице мерно стучит часовой маятник.

Сам хозяин не спит, думу думает. Разделся, лег – ни сон нейдет, ни дрема не берет... Стужинские дочери ему вспоминаются, да чудный рассказ Стуколова, да это золото, что недалеко где-то в земле сокрыто лежит. Заведет глаза Патап Максимыч – и видит золотую струю, текущую из кошелья паломника. И думает он, передумывает, как примется земляное масло копать, как выйдет в миллионщики. Полно тогда за Волгой жить... Хоть и жаль расставаться с родиной, да нечего делать, придется... И вот уж строит он в Питере каменный дом, да такой, что пеший ли, конный ли только что с ним поверстаются, так ахают с дива: «Эк, мол, какие палаты стромоздил себе Патап Максимыч, Чапурин сын!..» «Нечего делать, в гильдию записаться надо, потому что тогда заграничный торг заведем, свои конторы будем иметь!.. В славу

войду, в силу... Медали, кресты, мундиры, коммерции советник!.. С министрами в компании, обеды задаю, не то что Никитишнины. И сам у министров в почетных гостях!.. Кланяются мне, ублажают, угодить стараются: чуют тугой карман!.. Чего ни захотел, как по шучьему веленью все перед тобой... Больниц на десять тысяч кроватей настрою, богаделен... всех бедных, всех сирых, беспомощных призрею, успокою... Волгу надо расчистить: мели да перекаты больно народ одолевают... Расчищу, пускай люди добром поминают... Дорог железных везде настрою, везде... И сведает про меня сам батюшка, пожелает видеть самолично... Министры скачут, генералы, полковники, все: «Патап Максимыч, во дворец пожалуйте...» И выходит наше красно солнышко...»

Но тут вдруг ему вспомнились рассказы Снежковых про дочерей Стужина. И мерещится Патапу Максимычу, что Михайло Данилыч оголил Настю чуть не до пояса, посадил боком на лошадь и возит по московским улицам... Народ бежит, дивуется... Срам-от, срам-от какой... А Настасья плачет, убивается, неохота позор принимать... А делать ей нечего: муж того хочет, а муж голова.

Вскочил с постели Патап Максимыч и, раздетый, босой, заложа руки за спину, прошел в большую горницу и зачал ходить по ней взад и вперед.

«Руки по локоть!.. Шея, плечи голые, и грудей половина!.. Тьфу ты, мерзость какая! – думает он, расхаживая по горнице... – И дочери у него в Казани так же щеголяют... До заутрени пляшут!.. Люди Богу молятся, а они голые пляшут!.. Иродиады, прости Господи!.. Срамота!.. И всяк на них смотрит, а они хоть бы платочком прикрылись, бесстыжие, – нет... Верхом, с хвостом, боком на лошади по Сокольникам рыщут, ровно шуты какие, скоморохи!.. Ни стыда в глазах, ни совести!.. Нет, сударь Михайло Данилыч, ищи себе невесту в ином месте, а у нас про тебя готовых нет... Не рука нам таковский зять... Отдам я детище свое на поруганье?.. Выведу на позор родную дочь?.. Да скорее в землю живую ее закопаю, чем такое бесчестье на род-племя приму... Ну, друг любезный, Данило Тихоныч, сходились мы с тобой, не бранились, дай Бог разойтись не бранясь, а сыну твоему Настасьи моей не видать... Просим не прогневаться, ищите лучше нас... Чуюло сердечко у голубки!.. А я-то на нее, мою ластовку, злобился, я-то, старый дурак, бранил ее, до слез доводил... Хорош отец!.. Нечего сказать!.. Ишь какого жениха дочери высватал!.. Еще слава Богу, что вовремя себя выявили... Нет, дружище, Данило Тихоныч, приезду твоему рад, ешь, пей у меня, веселись, а насчет свадьбы выкинь из головы... А я-то еще первый в Городце ему намеки намекал... О Господи, Господи!.. Что наделал я, что натворил...»

Долго ходил взад и вперед Патап Максимыч. Мерный топот босых ног его раздавался по горнице и в соседней боковушке. Акси́нья Захаровна проснулась, осторожно отворила дверь и, при свете горевшей у икон лампы, увидела ходившего мужа. В красной рубахе, весь багровый, с распаленными глазами и всклоченными волосами, страшен он ей показался. Хотела спрятаться, но Патап Максимыч заметил жену.

– Тебе что? – спросил шепотом, но гроза и в шепоте слышна была.

– Не спится что-то, Максимыч... Про Настеньку все думается... – едва слышно отвечала Акси́нья Захаровна.

– Чего еще?.. Ну? – сказал Патап Максимыч, остановясь перед женой.

– Да я ничего... Известно, твоя воля... Как хочешь... – И залилась бедная слезами.

– О чем заревела?.. Гостей, что ли, перебудить?.. А?.. – грозно спросил именинницу Патап Максимыч.

– Настасья с ума нейдет, кормилец ты мой. Разрывается мое сердечушко, заснула было, так и во сне-то вижу ее, голубушку... Оголили... срамить ведут...

– Ну, ступай спать, – мягким голосом сказал жене Патап Максимыч. – Утро вечера мудренее... Ступай же, спи... Свадьбе не бывать.

Бросилась в передний угол именинница и начала класть земные поклоны. Помолившись, кинулась она мужу в ноги.

– Бог тебя спасет, Максимыч, – сказала она, всхлипывая. – Отнял ты печаль от сердца моего.

– Полно же, полно, ступай... Спи, говорят тебе, – молвил Патап Максимыч. – Да ну же... Тебе говорят...

Ушла в свою боковушку Аксинья Захаровна. А Патап Максимыч все еще ходил взад и вперед по горнице. Нейдет сон, не берет дрема.

Вдруг слышит он возню в сенях. Прислушивается – что-то тащат по полу... Не воры ль забрались?.. Отворил дверь: мать Манефа в дорожной шубе со свечой в руках на пороге моленной стоит, а дюжая Анафролия с Евпраксией-канонницей тащит вниз по лестнице чемодан с пожитками игуменьи.

Как взвидела брата матушка Манефа, так и присела на пороге. Анафролия стала на лестнице и, разиня рот, глядела на Патапа Максимыча. Канонница, как пойманный в шалостях школьник, не знала, куда руки девать.

– Это что?.. – спросил Патап Максимыч.

– Я, братец... домой хочу... в обитель собралась... – шептала Манефа.

– Домой?.. А коль тебе домой захотелось, зачем же ты, спасенная твоя душа, воровским образом, не простясь с хозяевами, тихомолком вздумала?.. А?..

Молчала игуменья.

– Что же это ты, на срам, что ли, хочешь поднять меня перед гостями?.. А?.. На смех ты это делаешь, что ли?.. Да говори же, спасенница... Целый, почитай, вечер с гостями сидела, все ее видели, и вдруг, ни с того ни с сего, ночью, в самые невесткины именины, домой собраться изволила!.. Сказывай, что на уме?.. Ну!.. Да что ты проглотила язык-от?

– Нemoжeтся... – едва смогла проговорить Манефа.

– Нemoжeтся, так лежи. Умри, коли хочется, а сраму делать не смей... Вишь, что вздумала! Да я тебя в моленной на три замка запру, шаг из дому не дам шагнуть... Нemoжeтся!.. Я тебе такую немоготу задам, что ввек не забудешь... Шиш на место!.. А вы, мокрохвостницы, что стали?.. Тащите назад, да если опять вздумаете, так у меня смотрите: таковских засыплю, что до новых веников не забудете.

Нечего делать. Осталась Манефа под одной кровлей с Якимом Прохорычем... Осталась среди искушений... Не под силу ей против брата идти: таков уродился – чего ни захочет, на своем поставит.

Запереть Манефу он не запер, но, разбудив старого Пантелея, дал ему наказ строго-настрого глядеть в оба за скитским работником, что приехал с Манефой из Комарова.

– Чтoб к обительским лошадям и подходить он не смел, – приказывал Патап Максимыч, – а коль Манефа тайком со двора пойдет – за ворот ее да в избу... Так и тащи... А чужим не болтай, что у нас тут было, – прибавил он, уходя, Пантелею.

Глава тринадцатая

Смущенная внезапным появлением Якима Прохорыча, Манефа не могла выдержать его присутствия и ушла с Фленушкой к себе в заднюю.

Игуменья всем телом дрожала, едва на ногах держалась. Еле-еле дошла до горенки, опираясь на Фленушку.

– Что с тобой, матушка? – говорила ей оторопевшая девушка. – Аль нemoжeтся? Шалфейцем не напоить ли?.. Аль бузиной с липовым цветом?

– Не надо... Ничего не надо... – отрывисто отвечала мать Манефа.

Когда вошли в боковушу, там никого не было. И здоровенная Анафролия и богомольная Евпраксеюшка суетились встряпущей, помогали Никитишне ужин нарядать.

Тяжело опустилась на стул Манефа. Фленушка взяла ее за руки. Как лед холодные.

– Что это, матушка? – сказала Фленушка. – Дай я раздену тебя, уложу, тепленьким напою, укутаю...

– Ах, Фленушка, моя Фленушка! – страстным, почти незнакомым дотоле Фленушке голосом воскликнула Манефа и крепко обвила руками шею девушки. – Родная ты моя!.. Голубушка!.. Как бы знала ты да ведала!..

И горячо, страстно целовала Манефа глаза, щеки и уста Фленушки.

– Матушка, матушка! Что с тобой? – встревоженная необычными ласками всегда строгой, хоть до безумия любившей ее игуменьи, говорила Фленушка. – Матушка, успокойся, приляг.

– Постой, постой, мое дитятко, милая моя, сердечная ты моя девочка!.. Как бы знала ты!.. О Господи, Господи, не вмени во грех рабе твоей!.. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, отжени от мене омрачение помыслов... Уйди, Фленушка, уйди... Кликни Евпраксеюшку с Анафролией... Ступай, ступай!..

Фленушка встала перед Манефой на колена и горячо целовала ее руки.

– Не пойду я от тебя, матушка, – сказала она со слезами. – Как мне оставить больную тебя? Не сказать ли Аксинье Захаровне?

– Оборони Господи! – воскликнула Манефа, вставая со стула и выпрямляясь во весь рост. – Прощай, Фленушка... Христос с тобой... – продолжала она уже тем строгим, начальственным голосом, который так знаком был в ее обители. – Ступай к гостям... Ты здесь останешься... а я уеду, сейчас же уеду... Не смей про это никому говорить... Слышишь? Чтоб Патап Максимыч как не узнал... Дела есть, спешные – письма получила... Ступай же, ступай, кликни Анафролию да Евпраксеюшку.

Вышла Фленушка, а Манефа закрыла лицо руками и тихо зарыдала.

Пришли Анафролия с Евпраксией. Воспрянула подвижница. Слез как не бывало. Коротко и внушительно отдав приказ собрать ее тайком в дорогу, пошла она в моленную. Там упала ниц перед темными ликами угодников, едва освещенными догоравшими лампадами, и громко зарыдала.

Встреча с паломником, которого она в живых не чаяла, возмутила духовный мир матери Манефы. Много недреманных молитвенных ночей провела она в продолжение двадцати пяти лет ради забвения бурь и тревог, что мутили ее душу во дни давно отжитой молодости. Заключась в тесной келье, строгая подвижница успела умирить тревожнения души. Удаление от мира и его греховной суеты, строгий пост, удручение плоти, чтение *Добротолюбия* и других книг аскетического содержания мало-помалу покрывали благодатным покровом забвения все былое... Годы шли. Реже и реже восставали в ее памяти образы когда-то дорогих ей людей, и в сердце много и горячо любившей женщины воцарился наконец тихий мир и вожденный покой. Отжившую для мира черницу перестали тревожить воспоминанья о прежних днях, и если порой возникал перед ее душевными очами милый когда-то образ, строгая инокиня принимала его уже за наваждение лукавого, раскрывала *Добротолюбие* и, читая наставление об умной молитве, погружалась в созерцательное богомыслие и, Господу помогающую, прогоняла находившее на нее искушение.

И вдруг не сонное видение, не образ, зримый только духом, а как есть человек во плоти, полный жизни, явился перед нею... Смутилась старица... Насмеялся враг рода человеческого над ее подвигами и богомыслием!.. Для чего ж были долгие годы душевной борьбы, к чему послужили всякого рода лишения, суровый пост, измождение плоти, слезная, умная молитва?.. Неужели все напрасно?.. Минута одна, и как вихрем свеяны двадцатипятилетние труды, молитвы, воздыхания, все, все...

Стоит мать Манефа в моленной перед иконами, плачет горькими, жгучими слезами. Хочет читать, ничего не видит, хочет молиться, молитва на ум нейдет... Мир суетный, греховный мир опять заговорил свое в душевные уши Манефы...

* * *

За Волгой, в лесах, в Черной рамени, жил-был крестьянин, богатый мужик. У того крестьянина дочка росла. Дочка росла, красой полнилася. Сама белая, что кипень, волосы белокурые, а брови – черный соболю, глаза – угольки в огне...

Матреной звали дочку Максима Чапурина.

Высокая, стройная, из себя красивая, девушка цветет молодостью. Много молодцов на ее красоту зарится, но, гордая, спесивая, ласково взглянуть ни на кого не хочет Матренушка. Немало сухоты навела на сердца молодецкие. Роем, бывало, вокруг ее парни увиваются, но степенная, неприступная, глядеть ни на кого не хочет она. И такая была у ней повадка важная, взгляд да речи такие величавые, что ни один парень к ней подступиться не смел. Иной бахвал, набравшись смелости, подвернется порой к спесивой красавице с речами затейными, но Матренушка так его, бывало, отделает, что тот со стыда да со сраму не знает, обратиться куда.

Хоть бы раз какому ни на есть молодцу ласковое словечко промолвила, хоть бы раз на кого взглянула приветливо.

Подружки ей говаривали:

– Чтой-то ты, Матренушка, гордая такая, спесивая? На всех парней серым волком глядишь. Аль тебе, подруженька, никого по мысли нет?

– Что мне до них, – ответит, бывало, красавица. – Все они нескладные, все несуразные. И без них проживу!

– Не проживешь, Матрена Максимовна. Славишься только, величаешься, – смеясь, говорили ей девушки. – Как без солнышка денечку пробыть нельзя, так без милого веку прожить нельзя.

– Полноте, девушки! – ответит, бывало, белокурая красавица. – Это только одно баловство. Не хочу баловаться, не стану любить никого.

– Полно, полно! От любви, что от смерти, не зачураешься, – говорили ей подруженьки.

– Ну ее совсем, – молвит, бывало, Матренушка. – И знать ее не хочу! Спокойней, девушки, спится, как ни по ком не гребится.

Девушки правду сказали: не отчуралась от любви Матрена Максимовна. До той поры она подругам не верила, пока не спозналась с Якимом Прохорычем.

Свиделись они впервые на супрядках. Как взглянула Матренушка в его очи речистые, как услышала слова его покорные да любовные, загорелось у ней на сердце, отдалась в полон молодцу... Все-то цветно да красно до той поры было в очах ее, глядел на нее Божий мир светло-радостно, а теперь мутятся глазыньки, как не видят друга милого. Без Якимушки и цветы не цветно цветут, без него и деревья не красно растут во дубравушке, не светло светит солнце яркое, мглою-мороком кроется небо ясное.

Не сказала Матрена Максимовна про любовь свою отцу с матерью, не ронила словечка ни родной сестре, ни подруженькам: все затаила в самой себе и по-прежнему выступала гордой, спесивою.

А немало ночей, до последних кочетов, с милым другом бывало сижено, немало в те ноченьки тайных любовных речей бывало с ним перемолвлено, по полям, по лугам с добрым молодцем было похожено, по рощам, по лесочкам было погулено... Раздавались, расступались кусты раковые, укрывали от людских очей стыд девичий, счастье молодецкое... Лес не видит, поле не слышит; людям не по что знать...

Засылал стороной Яким Прохорыч к Чапурину, узнавал через людей, какие мысли насчет дочери держит он, даст ли ей благословенье за него замуж пойти.

– Не по себе Яким дерево клонит, – отвечал сватам Чапурин. – Бог даст, сыщем зятя почище его. Наш товар вам не к руке, в ином месте поищите.

А как сваты уехали из Осиповки, крикнул к себе Чапурин Матренушку. Спрашивает: как узнал ее Яким Стуколов, где видались они, про какие дела разговоры вели?

Зарделась Матренушка – кумач-кумачом. Слова не может вымолвить. Слезы так и брызнули из очей ее.

– Сказывай!.. Все по ряду сказывай!.. – говорил отец, сурово глядя на Матренушку. Дрожал и обрывался от гнева голос его.

Стоит Матрена Максимовна, как к земле приросла. Молчит, как неживая.

– Говори же, бесстыжая! – закричал Чапурин, схватив дочку за руку. – Говори, не то разражу...

И поднял увесистый кулак над белокурой головкой дочери...

– Батюшка! – крикнула Матренушка и без чувств упала к отцовским ногам.

Поглядел на помертвевшую дочь Максим Чапурин, плюнул и велел работнику лошадей запрягать.

Через час времени он уж вез ее в Комаровский скит.

Там у него двоюродная сестра проживала, мать Платонида. Ей сдал Максим Чапурин дочь свою с рук на руки.

– Береги ты ее, мать Платонида, – говорил он сестре на прощанье. – Глаз не спускай с нее. Чтob из кельи, опричь часовни, никуда она ноги не накладывала и чтob к ней никто не ходил. В оба гляди, чтобы грамоток к ней не переносили, чтob сама не писала. Ни пера, ни бумаги чтob в заводе у ней не бывало... Сбережешь девку, попомню добро твое, – останешься довольна... Сундук с поклажей, перину с подушками вели взять из саней, да вот тебе покаместь четвертная девке на харчи... А в келарню не пускай ее, пусть в келье обедает и ужинает... А это тебе, матушка...

Разложил на столе подарки: сукна на шубу, черный платок драдедамовый, китайки на сарафан, икры бурак, сахару голову, чаю фунт, своих пчел меду.

Мать Платонида не знает, как благодарить тороватого братца, а у самой на уме: «Полно теперь, мать Евсталия, платком своим чваниться. Лучше моего нет теперь во всей обители. А как справлю суконную шубу на беличьем меху, лопнешь от злости, завидующие глаза твои».

– Смотри же, мать Платонида, сбереги Матрену, – продолжал Максим Чапурин. – Коим грехом не улизнула бы... Слышишь?

– Слушаю, братец, слушаю, кормилец ты мой, – отвечала Платонида. – Все будет по приказу исполнено. Птице к окошку не дам подлететь, на единую пядь не отпущу от себя Матренушку, келарничать пойду – на замок запру.

– И хорошее дело, – ответил Чапурин. – В самом деле, запирай-ка ее на замок. Надежнее.

– Да что ж это, братец? – спросила наконец мать Платонида. – Аль провинилась у тебя чем Матренушка?

– Большой провинности не было, – хмурясь и нехотя отвечал Чапурин, – а покрепче держать ее не мешает... Берегись беды, пока нет ее, придет, ни замками, ни запорами тогда не поможешь... Видишь ли что? – продолжал он, понизив голос. – Да смотри, чтob слова мои не в пронос были.

– Чтой-то ты, братец! – затараторила мать Платонида. – Возможное ли дело такие дела в люди пускать?.. Матрена мне не чужая, своя тоже кровь. Вот тебе Спас милостивый, Пресвятая Богородица Троеручица – ни едина душа словечка от меня не услышит.

– То-то, смотри, – молвил Чапурин. – Девка молодая, из себя красовита, хахалишка один пришатился к ней... Так, дрянь, голытьба решетная... у самого за душой отродясь железного

гроша не бывало, и туда же свататься лезет... Я его сватам оглобли-то поворотил... Вдругорядь не заглянут... Да это что, пустяки, а вот что гребится мне, матушка: Мотря-то сама, кажись, не прочь бы за того хахалю замуж идти: боюсь, чтоб он не умчал ее, не повенчался б «уходом»... Кажись, легче живому в гроб лечь: больно уж он противен душе моей!.. Встретил бы его, кажется, так бы на месте и положил... А в деревне, сама рассуди, можно разве девку ухоронить?.. Вороват стал народ: умчит ее пес, как пить даст... Так я и рассудил: до поры до времени пусть ее погостит у тебя, дурь-то пока из головы у ней выйдет... Сможешь ли такое дело сделать?

– Как такого дела не сделать? – отозвалась Платонида. – Чужим дельвала, не то что своим. У нас в обители на этот счет крепко!.. В позапрошлом году у меня тоже двух девок от «уходу» хоронили: Авдонинских Лукерью да Матюшину Татьяну Сергевну... Ублюла, слава те Господи... Уж каких подвохов они ни подводили, а, слава Богу, ухоронила... Матюшина-то, бывало, – беда!.. И давиться-то хотела, и подушками-то душила себя, и мышьяком травиться было вздумала, а никакого дурна над ней не случилось... Ублюла, братец, ублюла... На этот счет будьте спокойны... А ты вели-ка ей, сударь, преподобному Моисею Мурину молиться; зело избавляет от блудные страсти.

– Молитесь, кому знаете, – отвечал Чапурин. – Мне бы только Мотря цела была, до другого прочего дела нет... Пуще всего гляди, чтоб с тем дьяволом пересылок у ней не заводилось.

– Одно слово: будьте спокойны, братец, – сказала мать Платонида. – Сохраню Матренушку в самом лучшем виде... А кто же таков злодей-то?.. Мне надо знать, чтобы крепче опаску держать... Кто таков любовник-от у ней?

– Уж и любовник! – гневно крикнул Чапурин, грозно вскинув глазами на старицу. – Говори, да не заговаривайся... Никакого любовника нет. Так себе, шальная голова, и все... Стуколовых слыхала?

– Как не знать Стуколовых, – отвечала мать Платонида. – Семен Ермолаич благодетель нашей обители.

– Племянник ихний, Якимко, – молвил Чапурин. – Чтоб близко к скиту не подходил он... Слышишь?

– Слышу, батюшка братец, как не слышать? – сказала Платонида. – Знаю я Якимку. Экой вор такой!.. А еще все о Божественном – книгочей... Поди-ка вот с ним, какими делами вздумал заниматься!

Неласково расстался Чапурин с дочерью. Сулил плети ременные, вожжи варовенные... Как смертный саван бледная, с опущенными в землю глазами, стояла перед ним Матренушка, ни единого словечка она не промолвила.

Заперли рабу Божию в тесную келийку. Окроме матери Платониды да кривой старой ее послушницы Фотины, никого не видит, никого не слышит заточенница... Горе горемычное, сиденье темничное!.. Где-то вы, дубравушки зеленые, где-то вы, ракитовые кустики, где ты, рожь-матушка зрелая – высокая, овсы, ячмени усатые, что крыли добра молодца с красной девицей?.. Келья высокая, окна-то узкие с железными перекладами: ни выпрыгнуть, ни вылезти... Нельзя подать весточку другу милому...

Мать из деревни приехала к Матренушке да сестра замужняя. Погоревали, поплакали, пособить горю не могли. Супротив отцовской воли как идти?

Хоть и заверял Платониду Чапурин, что за Матренушкой большой провинности нет, а на деле вышло не то... Платониде такие дела бывали за обычай: не одна купецкая дочка в ее келье девичий грех укрывала.

Не спознали про Матренушкин грех ни отец, ни сестра с братьями и никто из обительских, кроме матушки игуменьи да послушницы Фотины. Мастерца была хоронить концы мать Платонида.

Во время родов мать Платонида не отходила от Матренушки. Зажгла перед иконами свечу богоявленскую и громко, истово, без перерывов, принялась читать акафист Богородице, стараясь покрывать своим голосом стоны и вопли страдальцы. Прочитав акафист, обратилась она к племяннице, но не с словом утешения, не с словом участия. Небесной карой принялась грозить Матренушке за проступок ее.

– Что, тяжело? – язвила ее Платонида, стоя у изголовья. – На том свете не то еще будет!.. Весело теперь? Сладко?.. погоди, не избежать тебе муки вечныя, тьмы кромешныя, скрежета зубного, червя бесконечного, огня негасимого!.. Огонь, жупел, смола кипучая, геенские томления... А это что за муки!

– Матушка!.. Родная ты моя!.. – упавшим голосом, едва слышно говорила девушка. – Помолись Богу за меня, за грешницу...

– Не доходна до Бога молитва за такую! – сурово ответила ей Платонида. – Теперь в аду бесы пляшут, радуются... Видала на иконе Страшного суда, какое мученье за твой грех уготовано?.. Видала?.. Слушай: «Не еже zde мучиться люто, но она вечна мука страшна есть и самим бесом трепетна...» Готовят тебе крюки каленые!..

– Матушка! Матушка... прости ты меня Христа ради... Мне бы исправиться³⁰... Смертный час приходит... Не переживу я...

– Исправой греха твоего не загладить... Многие годы слез покаянья, многие ночи без сна на молитве, строгий пост, умерщвление плоти, отречение от мира, от всех соблазнов, безысходное житье во иноческой келье, черная ряса, тяжелы вериги... Вот чем целить грех твой великий...

– Матушка!.. Если Господь помилует меня... я готова... отрекусь от мира... ото всего... надену... черную рясу...

– Обещаешься ли? – спросила Платонида.

– Обещаюсь, – проговорила девушка.

– Обещаешься ли Христу?

– Обещаюсь...

– Принять ангельский образ иночества?

– Обещаюсь...

– Жить безысходно в обители?

– Обещ...

Громко, пронзительно, нечеловеческим голосом вскрикнула Матренушка... Стихла... Иной, тихий, слабенький человеческий голосок в Платонидиной келье раздался...

– Боже сильный, милостию вся строй, – молилась вслух Платонида, обратясь к иконам, – посети рабу свою сию Матрену, исцели ю от всякого недуга плотского и душевного, отпусти грех ее, и греховные соблазны, и всяку напасть, и всяко нашествие приязненно...

Дочку Бог дал. Завернула ее Платонида в шубейку, отдала кривой Фотинье, а та мигом в соседнюю деревню Елфимову спроворила.

Там жил один мужичок, Григорий Ильич. Пряниками торговал и по скитам ребячьим делом заправлял: промысел тот не в пример был доходней пряничной торговли. У Ильича в избе ребенка обмыли, в пеленки уложили. Заложил Григорий лошадку – и в Городец. Дорожка давным-давно проторенная. В Городце редку неделю двух-трех подкидышей не бывало. И из скитов в Городец же, бывало, младенцев возил Григорий Ильич. Свезет, сдаст кому следует, а на деньги, что получил от честных матерей, городецких пряников закупит, жемков, орехов и продает их скитским белицам да молодым богомольцам. Выручку получал хорошую.

Елфимовский пряничник девочку сдал на часовенном дворе старице Салоникее. Большая была начетчица та черница – строгая постница, великая ревнительница по древнему бла-

³⁰ Исповедаться.

гочестию: двенадцать попов на своем веку от церкви в раскол сманила. И тем также по бозе ревновала, чтоб городецких подкидышей непременно посолонь в старую веру крестить.

Делом не волоча, мать Салоникея снесла девочку к жившему при часовне беглому попу. Тот окрестил и нарек ей имя Фаина.

Мать Салоникея была восприемницей, часовенный уставщик Василий Баранов был восприемником.

Таково было рождение Фленушки...

В тот же день Салоникея, идучи от вечерни, увидала на часовенном дворе знакомую молодичу. Зазвала ее к себе, чайком попотчевала, водочкой, пряничками, а потом и стала ей говорить:

– Вот, Авдотьюшка, пятый год ты, родная моя, замужем, а деток Бог тебе не дает... Не взять ли дочку приемную, богоданную? Господь не оставит тебя за добро и в сей жизни и в будущей... Знаю, что недостатки ваши не широкие, да ведь не объест же вас девочка... А может статься, выкупят ее у тебя родители, – люди они хорошие, богатые, деньги большие дадут, тогда вы и справитесь... Право, Авдотьюшка, сотвори-ка доброе дело, возьми в дочки младенца Фленушку.

Авдотьюшка поговорила с мужем и согласилась принять богоданную дочку. И росла у нее Фленушка. Разлихая девчонка росла.

* * *

Из семейных о провинности Матрены Максимовны никто не узнал, кроме матери. Отцу Платонида побоялась сказать – крутой человек, насмерть забил бы родную дочь, а сам бы пошел шагать за бугры уральские, за великие реки сибирские... Да и самой матери Платониде досталось бы, пожалуй, на калачи.

Много и горько плакала мать над дочерью, не коря ее, не браня, не попрекая. Молча лила она тихие, но жгучие слезы, прижав к груди своей победную голову Матренушки... Что делать?.. Дело непоправимое!..

В ногах валялась она перед Платонидой и даже перед Фотиньей, Христом-Богом молила их сохранить тайну дочери. Злы были на спесивую Матренушку осиповские ребята, не забыли ее гордой повадки, насмешек ее над их исканьями... Узнали б про беду, что стряслась над ней, как раз дегтем ворота Чапурина вымазали б... И не снес бы старый позора, все бы выместил на Матренушке плетью да кулаками.

И Платонида и Фотинья перед иконой Казанской Богородицы поклялись свято хранить тайну. Начал положили, икону с божницы сняли и во свидетельство клятвы целовали ее перед Матренушкой и перед ее матерью.

Дня через три, по отъезде из скита старухи Чапуриной, к матушке Платониде из Осиповки целый воз подарков привезли. Послан был воз тайком от хозяина... И не раз в году являлись такие воза в Комарове возле кельи Платонидиной. Тайна крепко хранилась.

Хорошо обительской матушке-келейнице держать при себе богатенькую молоденькую родственницу. Как сыр в масле кататься! Всего вдоволь от благодости родительской, а в обители почет большой. Матушки-келейницы пользуются всяким случаем, чтобы уговорить молоденькую девушку на безысходное житье в скиту.

Стала мать Платонида не по-прежнему за больной ухаживать. Сколько ласки, сколько любви, сколько заботы обо всякой малости! Не надивится Матренушка перемене в строгой, всегда суровой, всегда нахмуренной дотоле тетке...

Тетенька своего достигла – птичка в сетях. Хорошо, привольно, почетно было после того жить Платониде. После матери игуменья первым человеком в обители стала.

Оправясь от болезни, Матренушка твердо решила исполнить данный обет. Верила, что этим только обетом избавилась она от страшных мук, от грозившей смерти, от адских мучений, которые так щедро сулила ей мать Платонида. Чтение *Книги о старчестве, патериков и Лимонаря* окончательно утвердили ее в решимости посвятить себя Богу и суровыми подвигами иночества умилосердить прогневанного ее грехопадением Господа... Ад и муки его не выходили из ее памяти...

Немало просьб, немало слез понадобилось, чтоб вымолить у отца согласие на житье скитское. И слышать не хотел, чтобы дочь его надела иночество.

– Лучше за Якима замуж иди, – сказал он Матрене после долгих, напрасных уговоров. – Хоть завтра пущай сватов засылает: хочешь, честью отдам, хочешь, «уходом» ступай.

Зарделась Матренушка. Радостью блеснули глаза... Но вспомнила обет, данный в страшную минуту, вспомнила мучения ада...

– Что ж, Мотря? – спрашивал отец. – Посылать, что ли, к жениху тайную весточку?

– Жених мой – Царь Небесный. Иного не знаю и не желаю, – твердо отвечала Матрена Максимовна.

Отец нахмурился и склонил голову. Немного подумав, сказал он:

– Ну, делай как знаешь... Прощай!

Целую ночь простояла на молитве девушка... Стоит, погружаясь глубже и глубже в богомыслие, но помысел мятежного мира все мутит душу ее. Встают перед душевными очами ее обольстительные образы тихой, сладкой любви. Видится ей, что держит она на одной руке белокурую кудрявую девочку, другою обнимает отца ее, и сколько счастья, сколько радости в его ясных очах... Она чувствует жаркие объятия его, ее губы чувствуют горячий поцелуй мужа... Мужа?... «Грядет мира помышление греховно, борют мя окаянную страсти», – шепчет она, дрожа всем телом. «Помилуй мя, Господи, помилуй мя! Очисти мя скверную, безумную, неистовую, злопытливую...»

И, взяв бутылку из-под деревянного масла, стоявшую под божницей, разбила ее вдребезги об угол печи, собрала осколки и, став на них голыми коленами ради умерщвления плоти, стала продолжать молитву.

Матрену Максимовну взяла под свое крылышко сама мать игуменья и, вместе с двумя-тремя старухами, в недолгое время успела всю душу перевернуть в поблекшей красавице...

Вольный ход, куда хочешь, и полная свобода настали для недавней заточенницы. Но, кроме часовни и келий игуменьи, никуда не ходит она. Мерзок и скверен стал ей прекрасный Божий мир. Только в тесной келье, пропитанной удушливым запахом воска, ладана и деревянного масла, стало привольно дышать ей... Где-то вы, кустики ракитовые, где ты, рожь высокая, зыбучая?... Греховно, все греховно в глазах молодой белицы...

Однажды, тихим летним вечером, вышла она за скитскую околицу. Без дела шла и сама не знала, как забрела к перелеску, что рос недалеко от обителей... Раздвинулись кустики, перед ней – Яким Прохорыч.

– Ясынька ты моя, ненаглядная!.. Радость ты моя!.. Голубушка!.. – рыдая и страстно дрожа всем телом, вскрикнул Стуколов. Стремительно бросился он к подруге.

Она остановилась... Глаза вспыхнули... Еще одно мгновение – и она была бы в объятиях друга... Но обет!.. Страшный суд, вечные муки!..

– Бес!.. Проклятый!.. – крикнула она, высоко подняв правую руку. – Прочь!.. Не скверни святого места!.. Прочь!..

– Матренушка!.. Милая!.. Разлапушка!.. Ведь это я... я... Аль не узнала?.. Вглядишься хорошенько!

– Прочь, говорят тебе, – отвечала она. – Не знаю тебя... Змей, искуситель!.. Оставь!..

И спокойной поступью пошла к своей келье.

С того дня за Волгой не стало ни слуху ни духу про Стуколова.

Через три дня после этой встречи бледную, исхудалую девушку вели в часовню; там дали ей в руки зажженную свечу... Начался обряд... Из часовни вышла новоиспеченная мать Манефа...

С первого шага Манефа стала в первом ряду келейниц. Отец отдал ей все, что назначил в приданое, сверх того щедро оделял дочку-старицу деньгами к каждому празднику. Это доставило Манефе почетное положение в скиту. Сначала Платонида верховодила ею, прошел год, другой, Манефа старше тетки стала.

Сделалась она начетчицей, изошрилась в словопрениях – и пошла про нее слава по всем скитам керженским, чернораменским. Заговорили о великой ревнительнице древлего благочестия, о крепком адаманте старой веры. Узнали про Манефу в Москве, в Казани, на Иргизе и по всему старообрядчеству. Сам поп Иван Матвеевич с Рогожского стал присылать ей грамотки, сама мать Пульхерия, московская игуменья, поклоны да подарочки с богомольцами ей посылала.

Умерла Платонида, келья ее Манефе досталась. Стала она в ней полной хозяйкой, завися от одной только игуменьи матери Екатерины.

– Сиротку в Городце нашла я, матушка, – сказала она однажды игуменье. – Думаю девочку в дочки взять, воспитать желаю во славу Божию. Благословите, матушка.

Екатерина сидела за *Кирилловой книгой*. Медленно подняла она голову и, глядя через очки на Манефу, спросила:

– Велика ль девочка-то?

– Пять лет, шестой пошел, – отвечала мать Манефа.

– Пять лет... шестой... – медленно проговорила игуменья и улыбнулась. – Это выходит – она в тот год родилась, как ты в обитель вступила. Ну что ж! Бог благословит на доброе дело.

Смущенная словами Екатерины, Манефа побледнела как полотно и до земли поклонилась игуменье.

Григорий Ильич через несколько дней привез из Городца хорошенькую бойкую девочку Флену Васильевну.

Выросла Фленушка в обители под крылышком родной матушки. Росла баловницей всей обители, сама Манефа души в ней не слышала. Но никто, кроме игуменьи, не ведал, что строя, благочестивая инокиня родной матерью доводится резвой девочке. Не ведала о том и сама девочка.

Прошло еще сколько-то лет, скончалась в обители игуменья мать Екатерина. После трехдневного поста собирались в часовню старицы, клали жеребьи за икону Пречистой Богородицы, пели молебный канон Спасу милостивому, вынимали жребий, кому сидеть в игуменьях.

Манефе жребий вынулся. В ноги ей вся обитель разом поклонилась, настоятельский жезл ей поднесли и с пением духовных песен повели ее в игуменские кельи...

Разумно и правдиво правила Манефа своей обителью. Все уважали ее, любили, боялись. Недругов не было. «Давно стоят скиты керженские, чернораменские, будут стоять скиты и после нас, а не бывало в них такой игуменьи, как матушка Манефа, да и впредь вряд ли будет». Так говорили про Манефу в Комарове, в Улангере, в Оленеве и в Шарпане и по всем кельям и сиротским домам скитов маленьких.

Обительские заботы, чтение душеполезных книг, непрестанные молитвы, тяжелые труды и богомыслие давно водворили в душе Манефы тихий, мирный покой. Не тревожили ее воспоминания молодости, все бывшее покрылось забвением. Сама Фленушка не будила более в уме ее памяти о прошлом. Считая Якимя Прохорыча в мертвых, Манефа внесла его имя в синодики постенный и литейный на вечное поминовение.

И вдруг нечаянно, нежданно явился он... Как огнем охватило Манефу, когда, взглянув на паломника, она признала в нем дорогого когда-то ей человека... Она, закаленная в долгой борьбе со страстями, она, победившая в себе ветхого человека со всеми влечениями к миру,

чувственности, суете, она, умертвившая в себе сердце и сладкие его обольщения, едва могла сдержать себя при виде Стуколова, едва не выдала людям давнюю, никому не ведомую тайну.

Слушая длинный рассказ паломника, Манефа духовно утешалась и радовалась. «Благодарю тебя, Господи, – мысленно говорила она, – о твоих благодеяниях, милостиво на нас бывших. Не погнушался еси нашею скверною и грешника сего суца воздвигнул еси потрудиться и послужити во славу имени твоего!»

Нелицемерен был поклон ее перед бывшим полюбовником. Поклонилась она не любовнику, а подвижнику, благодарила она трудника, положившего душу свою на исканье старообрядского святительства... Ни дубравушки зеленые, ни кусты ракитовые не мелькнули в ее памяти...

Но едва отошла от паломника, все ей вспомнилось... Бежать, бежать скорей!..

Бежать не удалось... Патап Максимыч помешал... Надо жить под одной кровлею с ним... И Фленушка тут же... Бедная, бедная!.. Чует ли твое сердечушко, что возле тебя отец родной!

Стоит Манефа перед темными ликами угодников, хочет читать – не видит, хочет молиться – молитва на ум нейдет...

– Просвети ум мой, Господи, – шепчет она, – очисти сердце мое!..

А в ушах звучат то веселые звуки деревенского хоровода, то затейный хохот на супрядках, то тихий, ласкающий шепот во ржах...

Затряслась всем телом Манефа...

– О Господи, Господи! – шептала она, взирая на икону Спаса. И холодная, как лед, без памяти, без сознания, тихо опустилась на помост моленной.

Глава четырнадцатая

На другой день столы работникам и народу справлялись. В горницах весело шел именинный пир. Надивиться не могли Снежковы на житье-бытье Патапа Максимыча... В лесах живет, в захолустье, а пиры задает, хоть в Москве такие.

Провожая Снежковых, Патап Максимыч не только не повел речи про сватовство, но даже намека не сделал, а когда на прощанье Данило Тихоныч завел было речь о том, Патап Максимыч сказал ему:

– Не раненько ль толковать об этом, Данило Тихоныч? Дело-то, кажись бы, не к спеху. Время впереди, подождем, что Бог пошлет. Есть на то воля Божья, дело сделается, нет – супротив Бога как пойдешь?

– Оно, конечно, воля Божия первой всего, – сказал старый Снежков, – однако ж все-таки нам теперь бы желательно ваше слово услышать, по тому самому, Патап Максимыч, что ваша Настасья Патаповна очень мне по нраву пришлась – одно слово, распрекрасная девица, каких на свете мало живет, и паренек мой тоже говорит, что ему невесты лучше не надо.

– На добром слове покорно благодарим, Данило Тихоныч, – отвечал Патап Максимыч, – только я так думаю, что если Михайло Данилыч станет по другим местам искать, так много девиц не в пример лучше моей Настасьи найдет. Наше дело, сударь, деревенское, лесное. Настасья у меня, кроме деревни да скита, ничего не видывала, и мне сдается, что такому жениху, как Михайло Данилыч, вряд ли она под стать подойдет, потому что не обыкла к вашим городским порядкам.

– Это не беда. Долго ль приобыкнуть! – возразил Снежков. – Нет уж, вы напрямик скажите, Патап Максимыч, можно нам надеяться аль не можно?

– Да чего же тут надеяться-то? – говорил Патап Максимыч. – От меня ни отказа, ни приказу нет. Ведь хоша у нас с вами, Данило Тихоныч, и были разговоры, так ведь это так... Мало ль что за столиком с рюмочками промеж приятелей говорится. Вы не всяко лыко в строку пускайте!.. Опять же было у нас с вами говорено так: если делу тому сделаться, так разве на

ту зиму. Стало, и будем ждать той зимы. Там что Господь укажет... А все ж моя Настасья не порогом поперек вам стала, ищите где лучше и на мне не взыщите, коли до той поры Настасье другой жених по мысли найдется. Я воли с нее не снимаю, у девки свой разум в голове, – сама должна о судьбе своей рассудить.

– Как же это понимать надобно, Патап Максимыч? – немного помолчав, спросил Снежков. – Ведь это значит отказ, как длинный шест.

– Где же тут отказ, Данило Тихоныч? – сказал Патап Максимыч. – Никакого отказу вам от меня... Отказ бывает, когда сватовство идет, а разве у нас сватовство в настоящем виде, как следует, было? Разговоры только были. По-приятельски поболтали от нечего делать... Да и тут было сказано – до зимы ожидать... Там, опять-таки говорю я вам, увидим, что Бог даст... И отказывать не отказываю, и обещать не обещаю... Опять же надо прежде Настасью спросить, ведь не мне жить с Михайло Данилычем, а ей: с дочерей я воли не снимаю, хочет – иди с Богом, а не хочет – неволить не стану.

– Помнится мне, в Городце не такие речи я слышал от вас, Патап Максимыч? – с усмешкой промолвил Снежков. – Тогда было, кажись, говорено: «Как захочу, так и сделаю».

Передернуло Патапа Максимыча. Попрек Снежкова задел его за живое. Сверкнули глаза, повернулось было на языке сказать: «Не отдам на срам детище, не потерплю, чтобы голили ее перед чужими людьми...» Но сдержался и молвил с досадой:

– В голове шумело, оттого и соврал. Татарин, что ль, я, девку замуж отдавать, ее не спросясь? Хоть и грешные люди, а тоже христиане.

Распрощались, по-видимому, дружелюбно, но Патап Максимыч понимал, что дружба его со Снежковым ухнула. Не простит ему Данило Тихоныч во веки веков...

* * *

Проводив Снежковых, пошел Патап Максимыч в подклет и там в боковушке Алексея уселся с паломником и молчаливым купцом Дюковым. Был тут и Алексей. Шли разговоры про земляное масло.

– Так и в самом деле в наших местах такая благодать водится? – спрашивал Патап Максимыч паломника.

– Есть, – отвечал Яким Прохорыч. – В большом даже изобилии. И чудное дело, – прибавил он, – сколько стран, сколько земель исходил я на своем веку, а такой слепоты в людях, как здесь, нигде не видывал! Люди живут – хоть бы Ветлугу взять – беднота одна, лес рубят, луб дерут, мочало мочат, смолу гонят – бьются, сердечные, век свой за тяжелой работой: днем недоедят, ночью недоспят... О, как бы не ихняя слепота!.. Стоит только землю лопатой копать, и такое тут богатство, что целый свет можно бы обогатить. По золоту ходят, а его не примечают... Бабы у них дресвой полы моют. Не дресвой они моют, червонным золотом... Вот ведь что значит, как человек-от в понятии не состоит! Известно: живут в лесах, людей, которые бы до всего доходили, не видывали... Где им знать?

– Где ж эти самые места? – спросил Патап Максимыч.

– Сказано – на Ветлуге, – отвечал Стуколов.

– Ветлуга-то велика. Ты скажи, которое место, – приставал к паломнику Патап Максимыч.

– Где именно те места, покамест не скажу, – отвечал Стуколов. – Возьмешься за дело как следует, вместе поедем, либо верного человека пошли со мной.

– Я хоть сейчас готов, – сказал Патап Максимыч.

– Сейчас нельзя, – заметил Стуколов. – Чего теперь под снегом увидишь? Надо ведь землю копать, на дне малых речонек смотреть... Как можно теперь? Коли условие со мной подпишешь, поедем по весне и примемся за работу, а еще лучше ехать около Петрова дня, земля к тому времени просохнет... болотисто уж больно по тамошним местам.

– Летом нельзя мне, – заметил Патап Максимыч. – Да кума могу попросить, Ивана Григорича. А коли ему недосужно, вот его спысываю, – прибавил он, показывая на Алексея. – Теперь-то что же надо делать?

– Капиталом войти, потому расходы, – сказал Яким Прохорыч. – Условие надо писать, потом в сроки деньги вносить.

– На что же деньги-то? – спросил Патап Максимыч.

– Мало ль на что, – отвечал Стуколов. – Шурфы бить, то есть пробы в земле делать, землю купить, коли помещичья, а если казенная, в Питере хлопотать, чтобы прииск за нами записали... Да и потом, мало ль на что денег потребуется. Золото даром не дается... Зарой в землю деньги, она и станет тебе оплачивать.

– Да ты Расскажи по порядку, как этим делом надо орудовать, как его в ход-от пустить? – допрашивал паломника Патап Максимыч. – Хоть наше дело не то, чтобы луб драть, однако ж по этому делу, что про лыкодеров ты молвил, то и к нашему брату пристало: в понятии не состоим, взяться не умеем.

– То-то и есть! – сказал Стуколов. – Без умелых людей как за такое дело приниматься? Сказано: «Божьей волей свет стоит, человек живет уменьем». Досужество да уменье всего дороже... Вот ты и охоч золото добывать, да не горазд – ну и купи досужество умелых людей.

– Да как его купить-то? – усмехнувшись, молвил Патап Максимыч. – На базаре не продают.

– Вот что, – сказал Стуколов, – складчину надо сделать, компанию этакую. Слышал про компании, что складочными деньгами дела ведут?

– Как не слышать? – молвил Патап Максимыч. – Только в этом деле, сказывают, много греха живет – обижают.

– На то глаза во лбу да ум в мозгу, чтоб не обидели, – отвечал Стуколов. – Видишь ли: чтоб начать дело, нужен капитал, примером тысяч в пятьдесят серебром.

– В пятьдесят! – воскликнул Патап Максимыч. – Эх тебя!.. Ровно про полтину сказал. Пятьдесят тысяч деньги, брат, не малые, зря не валяются... Эко слово молвил! Пятьдесят тысяч!.. Да у меня, брат, и половины таких денег в ларце-то не найдется, да если и кума, и Михайлу Васильича взять, так и всем нам пятидесяти тысяч наличными не набрать. У нас ведь обороты, торговля... У торгового человека наличными деньги не лежат. А заведенных дел ради твоего золота я не нарушу... Что-то еще там на Ветлуге будет, а заведенное дело изведено – с ним идешь наверняка. Хоть и сулишь ты горы золота, однако же я скажу тебе, Яким Прохорыч, что домашний теленок не в пример дороже заморской коровы.

– Так как же, Патап Максимыч, будет наше дело? – после минутного молчания спросил Стуколов.

– Да уж, верно, так и будет, что твои блины отложить до другого дня. Неподходящая сумма, – отвечал Патап Максимыч.

– Меньше нельзя, – равнодушно отвечал Стуколов. – Пятидесяти тысяч не пожалеешь – миллионами будешь ворочать... Слышал, как в Сибири золотом разживаются?

– Слышать-то слышал, – отвечал Патап Максимыч. – Да ведь то Сибирь, место по этой части насиженное, а здесь внове, еще Бог знает как пойдет.

– Ветлужские прииски богаче сибирских – верь моему слову, – сказал Стуколов. – Гляди...

И вынул паломник из замшевого мешка полгорсти золотого песка и стал пересыпать его. Глаза так и загорелись у Патапа Максимыча. Закусил он губу.

– Этой благодати на Ветлуге больше, чем в Сибири, – говорил Стуколов, – а главное, здешняя сторона нетронутая, не то что Сибирь... Мы первые, мы сметанку снимем, а после нас другие хлебай простоквашу...

– Да впрямь ли ты это на Ветлуге нашел? – спросил Патап Максимыч, не спуская глаз с золотой струи, падавшей из рук паломника.

– Божиться, что ль, тебе?.. Образ со стены тащить? – вспыхнул Стуколов. – И этим тебя не уверишь... Коли хочешь увериться, едем сейчас на Ветлугу. Там я тебя к одному мужичку свезу, у него такое же маслице увидишь, и к другому свезу, и к третьему.

– Что ж, это можно, – сказал Патап Максимыч. – Сколько ж денег потребуется?

– Да покаместь гроша не потребуется, – отвечал Стуколов. – Пятьдесят тысяч надо не сразу, не вдруг. Коли дело плохо пойдет, кто нам велит деньги сорить по-пустому? Вот как тебе скажу – издержим мы две аль три тысячи на ассигнации, да если увидим, что выгоды нет, вдале не поедем, чтоб не зарваться...

– Две либо три тысячи! – раздумывал Патап Максимыч. – Ну это еще туда-сюда... На этом можно помириться. А насчет пятидесяти серебра – нет, брат, шалишь, мамонишь.

– Как вперед загадывать? – отвечал Яким Прохорыч. – Может статься, и много меньше пятидесяти тысяч положишь, а года в два миллион наживешь.

– Уж и миллион? Не широко ль загинаешь? – перебил Патап Максимыч.

– Не один миллион, три, пять, десять наживешь, – с жаром стал уверять Патапа Максимыча Стуколов. – Лиха беда начать, а там загребай деньги. Золота на Ветлуге, говорю тебе, видимо-невидимо. Чего уж я – человек бывалый, много видал золотых приисков – и в Сибири и на Урале, а как посмотрел я на ветлужские палестины, так и у меня с дива руки опустились... Да что тут толковать, слушай. Мы так положим, что на все на это дело нужно сто тысяч серебром.

– Значит, это дело надо оставить, – махнув рукой, сказал Патап Максимыч. – Сто тысяч!.. Эх у него тысячи-то – ровно парена репа...

– А ты слушай, речи не перебивай, – прервал его Стуколов. – Наличными на первый раз – сказал я тебе – две либо три тысячи ассигнациями потребуется.

– Хоть убей – в толк не возьму, – возразил Патап Максимыч. – Про какие же сто тысяч поминаешь?

– Да ты не перебивай моей речи, а то ввек с тобой не столкнешься, – с досадой молвил Стуколов. – Сто тысяч!.. Эти сто тысяч надо делить на сто паев, по тысяче рублей пай. Пони-маешь?

– Дальше что? – молвил Патап Максимыч.

– Пятьдесят паев ты себе возьми, вложивши за них пятьдесят тысяч, – продолжал Яким Прохорыч. – Не теперь, а после, по времени, ежели дело на лад пойдет. Не сможешь один, товарищей найди: хоть Ивана Григорыча, что ли, аль Михайлу Васильича. Это уж твое дело. Все барыши тоже на сто паев – сколько кому достанется.

– Ладно, хорошо, а другие-то пятьдесят паев куда? – спросил Патап Максимыч.

– Епископу Софронию, – отвечал паломник.

– Даром?

– Даром.

– И половина барышей ему? – спросил Патап Максимыч.

– Конечно.

– Жирно, брат, съест! – возразил Патап Максимыч. – Нет, Яким Прохорыч, нечего нам про это дело и толковать. Не подходящее, совсем пустое дело!.. Как же это? Будь он хоть патриарх, твой Софрон, а деньги в складчину давай, коли барышей хочешь... А то – сам денег ни гроша, а в половине... На что это похоже?.. За что?

– А за то, что он первый опознал про такое богатство, – отвечал Стуколов. – Вот, положим, у тебя теперь сто тысяч в руках, да разве получишь ты на них миллионы, коль я не укажу тебе места, не научу, как надо поступать? Положим, другой тебя и научит всем порядкам: как заявлять прииски, как закрепить их за собой... А где копать-то станешь?.. В каком месте при-

иск заявишь?... За то, чтобы знать, где золото лежит, давай деньги епископу... Да и денег не надо – барыши пополам.

Задумался Патап Максимыч.

– Было бы с него и десяти паев, – сказал он. – Право, больше не стоит – сам посуди, Якимушко.

– Меньше половины нельзя, – решительно ответил Стуколов. – У него в Калужской губернии такое же дело заводится, тоже на пятидесяти паях. Землю с золотом покупают теперь у помещика тамошнего, у господина Поливанова, может, слышал. Деньги дали тому господину немалые, а епископ своих копейки не истратил.

– Ну пускай бы уж его пятнадцать паев взял. Больше, право, обидно будет, – сказал Патап Максимыч.

– Как сказано, так и будет, а не хочешь, других охотников до золота найдем, – спокойно ответил Стуколов.

И, вынув опять замшевый мешок, сыпал из него песок себе на руку перед Патапом Максимычем.

Не раз и не два такие разговоры велись у Патапа Максимыча с паломником, и все в подклете, все в Алексеевой боковуше. Были при тех переговорах и кум Иван Григорыч, и удельный голова Михайло Васильич. Четыре дня велись у них эти переговоры, наконец решился Патап Максимыч взяться за дело.

Решили до поры до времени про затеваемое дело никому не рассказывать. Стуколов говорил, что если пойдет оно в огласку – пиши пропало. В сибирских тайгах, по его словам, зачастую бывает, что один отыщет прииск, да ненароком проболтается, другой тотчас подхватит его на свое имя. После Масленицы Патап Максимыч обещался съездить на Ветлугу вместе с паломником повидать мужиков, про которых тот говорил, и, ежели дело окажется верным, написать со Стуколовым условие, отсчитать ему три тысячи ассигнациями, а затем, если дело в ход пойдет и окажутся барыши, давать ему постепенно до пятидесяти тысяч серебром.

Патап Максимыч только и думает о будущих миллионах. День-деньской бродит взад и вперед по передней горнице и думает о каменных домах в Петербурге, о больницах и богадельнях, что построит он миру на удивление, думает, как он мели да перекаты на Волге расчистит, железные дороги как строить начнет... А миллионы все прибавляются да прибавляются... «Что ж, – думает Патап Максимыч, – Демидов тоже кузнецом был, а теперь посмотри-ка, чем стали Демидовы! Отчего ж и мне таким не быть... Не обсевок же я в поле какой!..»

* * *

На первой неделе Великого поста Патап Максимыч выехал из Осиповки со Стуколовым и с Дюковым. Прощаясь с женой и дочерьми, он сказал, что едет в Красную рамень на крупчатные свои мельницы, а оттуда проедет в Нижний да в Лысково и воротится домой к Середокрестной неделе, а может, и позже. Дом покинул на Алексея, хотя при том и Пантелею наказал глядеть за всем строже и пристальней.

Накануне отъезда, вечером, после ужина, когда Стуколов, Дюков и Алексей разошлись по своим углам, Аксиныя Захаровна, оставшись с глазу на глаз с мужем, стала ему говорить:

– Максимыч, не серчай ты на меня, кормилец, коли я что не по тебе молвлю, выслушай ты меня, ради Христа.

– Чего еще надо? – взглянув на жену исподлобья, спросил Патап Максимыч.

– Завтра уедешь ты?..

– Ну?

– На кого же дом-от покидаешь? Прежде Савельич, Царство ему Небесное, был, за всем, бывало, приглядит, теперь-то кто?

– Кто на его месте... Не могла догадаться? – сказал Патап Максимыч.

– Алексей Трифоныч, значит? – тихо проговорила Аксинья Захаровна.

– Что ж, по-твоему, на Никифора, что ли, дом-от покинуть? – рывкнул Патап Максимыч. – Так он в неделю весь его пропьет да и тебя самое в кабаке заложит.

– Про этого врага у меня и помышленья нет, Максимыч, – плаксиво отвечала Аксинья Захаровна. – Себя сгубил, непутный, да и с меня головоньку снимает, из-за него только попреки одни... Век бы его не видела!.. Твоя же воля была оставить Микешку. Хоть он и брат родной мне, да я бы рада была радешенька на сосне его видеть... Не он навязался на шею мне, ты, батя, сам его навязал... Пушай околел бы его где-нибудь под кабаком, *ох* бы не молвила... А еще попрекаешь!

– Замолола!.. Пошла без передышки в пересыпку! – хмурясь и зевая, перебил жену Патап Максимыч. – Будет ли конец вранью-то? Аль и в самом деле бабьего вранья на свинье не объедешь?.. Коли путное что хотела сказать – говори скорей, – спать хочется.

– Да я все насчет Алексея Трифоныча, – робко молвила Аксинья Захаровна.

– Что еще такое?

– Да как прикажешь: сюда ли ему без тебя обедать ходить аль в подклет ему относить? – спрашивала Аксинья Захаровна.

– И здесь места не просидит, пушай с вами обедает, – сказал Патап Максимыч.

– Ладно ль это будет, кормилец? Сам посуди, что люди зачнут говорить: хозяин в отлучке, дочери невесты, молодой парень с ними ест да пьет... И не знай чего наскажут! – говорила Аксинья Захаровна.

– Не смеют!.. – решительно сказал Патап Максимыч. – Да и парень не такой, чтобы вздумал нехорошее дело... Не из таких, что, где пьют да едят, тут и пакостят... Бояться нечего.

– Да так-то оно так, Максимыч, – отвечала Аксинья Захаровна. – А все бы лучше, кабы он в подклете обедал и без тебя бы наверх не ходил... Что ему здесь делать?.. Не веришь ты, кормилец, все сердечушко изныло у меня...

– Да отвяжись ты совсем, – с нетерпением крикнул Патап Максимыч, – ну, пушай его в подклете обедает!.. Ты этого парня понять не можешь. Другого такого не сыщешь... Можешь ли ты знать, какие я насчет его мысли имею?

– Как я могу знать, Максимыч? – отвечала Аксинья Захаровна. – Где же мне?

– Так, значит, и молчи, – ответил Патап Максимыч.

– Да что ж такое?.. Какие у тебя мысли про Алексея Трифоныча? – заискивающим голосом спросила Аксинья Захаровна.

– О чем не сказывают, про то не допытывайся, – ответил Патап Максимыч. – Придет время, скажу... а теперь спать пора.

У Патапа Максимыча в самом деле новые мысли в голове забродили. Когда он ходил взад и вперед по горницам, гадая про будущие миллионы, приходило ему и то в голову, как дочерей устроить. «Не Снежковым чета женихи найдутся, – тогда думал он, – а все ж не выдам Настасью за такого шута, как Михайло Данилыч... Надо мне людей богобоязненных, благочестивых, не скоморохов, что теперь по купечеству пошли. Тогда можно и небогатого в зятя принять, богатства на всех хватит».

И попал ему Алексей на ум.

Если бы Настя знала да ведала, что промелькнуло в голове родителя, не плакала бы по ночам, не тосковала бы, вспоминая про свою провинность, не приходила бы в отчаянье, думая про то, чему быть впереди...

* * *

Собрались в путь-дорогу. Пробыв день-другой на мельницах в Красной рамени, Патап Максимыч со спутниками поехал на Ветлугу прямою дорогой через Лыковщину. Надобно было верст восемьдесят ехать лесами, где проезжих дорог не бывало, только одни узкие тропы меж высоких сугробов проложены. По тем тропам лесники в зимницы ездят и вывозят к Керженцу для сплава нарубленный лес. Сторона та совсем не жилая, летом нет по ней ни езду конного, ни ходу пешего, только на зиму переселяются туда лесники и живут в дремучих дебрях до лесного сплава в половодье.

Поехали путники в двоих санях, каждые тройкой гусем запряжены. Иначе и ездить нельзя по лесным тропам. Сначала путь шел торный, – по этому пути обозы из Красной рамени в Лысково ходят, – но когда переехали Керженец и попали в лесную глушь, что тянется до самой Ветлуги и дальше за нее, езда стала затруднительна. Седоки то и дело задевали головами за ветки деревьев, и их засыпало снегом, которым точно в саваны окутаны стояли сосны и ели, склонясь над тропой. Чуть не через каждые полторы-две версты приходилось останавливаться и отгребаться от снега. Тропа была неровная, сани то и дело наклонялись то на одну, то на другую сторону, и седокам частенько приходилось вываливаться и потом, с трудом выбравшись из сугроба, общими силами поднимать свалившиеся набок сани. Тропа все одна, нет своротов ни направо ни налево, и нет никаких признаков близости человека: ни осека³¹, ни просеки, ни даже деревянного двухсаженного креста, каких много наставлено по заволжским лесам, по обычаю благочестивой старины³². И никакого звука. Разве только затрещит рябчик, перелетая с дерева на дерево, либо забурчит вдали глухарь да заскрипит надломленное дерево, качаемое ветром. Заячьи и волчьи следы частенько пересекают тропу, иногда попадает след раздвоенных копыт дикой коровы³³ либо широкой лапы лесного боярина Топтыгина, согнанного с берлоги охотниками.

Перебравшись за Керженец, путникам надо было выбраться на Ялокшинский зимняк, которым ездят из Лысково в Баки, выгадывая тем верст пятьдесят против объездной проезжей дороги на Дорогучу. Но вот едут они два часа, три часа, давно бы надо быть на Ялокшинском зимняке, а его нет как нет. Едут, едут, на счастье, тепло стало, а то бы плохо пришлось. Не дается зимняк, да и полно. А лошади притомились.

– Да туда ль мы едем? – спросил Патап Максимыч сидевшего на козлах работника. – Коим грехом не заблудились ли?

– Где заблудиться, Патап Максимыч! – отвечал работник. – Дорога одна, своротов нет, сами видели.

– Да в Белкине-то хорошо ли ты расспросил у мужиков про дорогу?

– Как же не расспросить, все расспросил как следует. Сказали: как проедешь осек, держи направо до крестов, а с крестов бери налево, тут будет сосна, раскидистая такая, а верхушка у ней сухая, от сосны бери направо... Так мы и ехали.

– У крестов сворачивали? – спрашивал Патап Максимыч.

– Как же не сворачивать, направо своротил, как было сказано.

– И у сосны сворачивал.

³¹ Изгородь или прясла, отделяющие лес от поля. Ее городят в лесных местах, чтобы пасущийся скот не забрел на хлеб.

³² За Волгой, на дорогах, в полях и лесах, особенно на перекрестках, стоят высокие, сажени в полторы или две, осьмиконечные кресты, иногда по несколько рядом. Есть обычай тайно от всех срубить крест и ночью поставить его на перекрестке. Кто перед тем крестом помолится, того молитва пойдет за срубившего крест.

³³ Так за Волгой называют лосей.

– И у сосны своротил, – ответил работник. – На ней еще ясак вырублен, должно быть, бортовое дерево. Тут только вот одного не вышло против того, что сказывали ребята в Белкине.

– А что говорили ребята? – спросил Патап Максимыч.

– Да сказывали: будет маленький долок, и как-де переедешь долок, сосна будет с обеих сторон отесанная, а тут и Керженец.

– Ну?

– Долок-от был, еще мы вывалились тут, а тесаной сосны не видать, ан на Керженец выехали.

– Стало быть, тут мы и спутались! – закричал, разгорячась, Патап Максимыч. – Чтоб тебе высохнуть, дурьи твои глаза! Зачем тесану сосну прозевал?

– Да не было ее, Патап Максимыч, – отвечал оторопевший работник. – Не родить же ее мне, коли нет.

– Да ведь тебе белкински ребята говорили: держи на сосну. Для че не держал? – кричал Патап Максимыч.

– Да где ж мне ее взять, сосну-то? Ведь не спрятал я ее. Что ж мне делать, коли нет ее, – жалобно голосил работник. – Разве я тому делу причинен? Дорога одна была, ни единого сворота.

– Да сосна-то где? – закричал Патап Максимыч, хватив увесистым кулаком работника по загорбку.

– Может статья, срубили, – пропищал, нагнувшись на передок, работник.

– Срубили! Коему лешему порчену сосну рубить, коль здорового леса видимо-невидимо! – орал Патап Максимыч. – Стой, чертова образина!

Работник остановил лошадей. Понутив головы, они тяжело дышали, пар так и валил с них. Патап Максимыч вылез из своих саней и подошел к задним, где сидел Стуколов. Молчаливый Дюков, уткнув голову в широкий лисий малахай, спал мертвым сном.

– Так и есть, заблудились, – сказал Патап Максимыч паломнику. – Что тут станешь делать?

– Да сам-то ты ездal ли прежде по этим дорогам? – спросил его Стуколов.

– Сроду впервые, – отвечал Патап Максимыч.

– И работники не езжали? – спросил Стуколов.

– Како езжать? – отозвался Патап Максимыч. – Кого сюда леший понесет? Ведь это сам ты видишь, что такое: выехали – еще не брезжилось, а гляди-ка, уж смеркаться зачинает. Где мы, куда заехали, сам леший не разберет... Беда, просто беда... Ах, чтобы всех вас прорвало! – ругался Патап Максимыч. – И понесло же меня с тобой: тут прежде смерти живот положишь!

– В сибирских тайгах то ли бывает, – отозвался паломник. – По неделям плутают, случается, что и голодной смертью помирают...

– Голодом помереть не померем, пирогов да всякой всячины у нас, пожалуй, на неделю хватит, – спокойно отвечал Патап Максимыч. – И лошадям корму взято довольно. А заночевать в лесу придется... Хоть бы зимница какая попалась... Ночью-то волки набегут: теперь им голодно. Пора же такая, что волки стаями рыщут. Завтра ихний день: звериный царь именинник³⁴.

– Бог милостив, – промолвил паломник. – И не из таких напастей Господь людей выносит... Не суетись, Патап Максимыч, – надо дело ладом делать. Сам я глядел на дорогу: тропа одна, поворотов, как мы от паленой с верхушки сосны отъехали, в самом деле ни единого не было. Может, на эту зиму лесники ину тропу пробили, не прошлогоднюю. Это и в сибирских

³⁴ День 18 февраля (память святого Льва, папы римского) в заволжском простонародье зовется львиным днем. Это по тамошнему поверью праздник звериного царя, его именины. На свои именины лев все разрешает своим подданным. К этому дню волки свадьбы свои пригоняют.

тайгах зачастую бывает... Не бойся – со мной matka есть, она на путь выведет. Не бойся, говорю я тебе.

– Какая тут matka? Бредишь ты, что ли? – с досадой молвил Патап Максимыч. – Тут дело надо делать, а он про свою matку толкует.

– Вот она, – сказал Стуколов, вынимая из дорожного кошель круглую деревянную коробку с компасом. – Не видывал? То-то... та matka корабли водит, без нее, что в море, что в пустыне аль в дремучем лесу, никак невозможно, потому она все стороны показывает и сбиться с пути не дает. В Сибири в тайгу без матки не ходят, без нее беда, пропадешь.

Стуколов показал Патапу Максимычу стороны света и объяснил употребление компаса.

– Ишь ты премудрость какая!.. До чего только люди не доходят, – удивился Патап Максимыч. – Ну, как же нам дорогу твоя matka покажет?

– Да нам как надо ехать-то, в котору сторону? – спросил Стуколов.

– На полуночник³⁵, – отвечал Патап Максимыч.

– А мы на сивер чешем, маленько даже к осеннику подаемся. Сбились, значит.

– Сбились!.. Я и без матки твоей знаю, что сбились, – насмешливо и с досадой отвечал Патап Максимыч. – Теперь ты настоящую дорогу укажи.

– Этого нельзя, надо все дороги знать, тогда с маткой иди куда хочешь...

– Так прячь ее в кошель. Пустое дело, значит. Как же тут быть? – говорил Патап Максимыч.

– Да поедem куда дорога ведет, тропа видная, торная, куда-нибудь да выведет, – говорил Стуколов.

– Вестимо, выведет, – отозвался Патап Максимыч. – Да куда выведет-то? Ночь на дворе, а лошади, гляди, как устали. Придется в лесу ночевать... А волки-то?

– Бог милостив, – отвечал Стуколов. – Топор есть с нами?

– Как топору не быть? Есть, – сказал Патап Максимыч.

– Сучьев нарубим, костры зажжем, волки не подойдут: всякий зверь боится огня.

Так и решили заночевать. Лошадей выпрягли, задали им овса. Утоптали вокруг снег и сделали привал. Топоров оказалось два, работники зачали сучья да и валежник рубить, костры складывать вокруг привала и, когда стемнело, зажгли их. Патап Максимыч вытащил из саней большую кожаную кису, вынул из нее хлеба, пирогов, квашеной капусты и медный кувшин с квасом. Устроили постную трапезу: тюри с луком накрошили, капусты с квасом, грибов соленых. Хоть невкусно, да здорово поужинали. И бутылочка нашлась у запасливого Патапа Максимыча. Роспили...

Ночь надвигалась. Красное зарево костров, освещая низины леса, усиливало мрак в его вершинах и по сторонам. С треском горевших ветвей ельника и фырканием лошадей смешались лесные голоса... Ровно плачет ребенок, запищал где-то сыч, потом вдаль послышался тоскливый крик, будто человек в отчаянном боренье со смертью зовет себе на помощь: то были крики пугача...³⁶ Поближе завозилась в вершине сосны векша, проснувшись от необычного света, едва слышно перепрыгнула она на другое дерево, потом на третье и все дальше и дальше от людей и пылавших костров... Чуть стихло, и вот доносится издали легкий хруст сухого валежника: то кровожадная куница осторожно пробирается из своего дупла к дереву, где задремал глупый красноглазый тетерев. Еще минута тишины, и в вершине раздался отрывистый, жалобный крик птицы, хлопанье крыльев, и затем все смолкло: куница поймала добычу и пьет горячую кровь из перекушенного горла тетерева... Опять тишь, опять глубокое безмолвие, и вдруг слышится точно кошачье прысканье: это рысь, привлеченная из чащи чутьем, слышав-

³⁵ То есть северо-восток. В Заволжье так зовут стороны света и ветры: сивер – N, полуночник – NO, восток – O, обедник – SO, полдень – S, верховник или летник – SW, закат – W, осенник – NW.

³⁶ Филин.

шая присутствие лакомого мяса в виде лошадей Патапа Максимыча. Но огонь не допускает близко зверя, и вот рысь сердится, мурлычет, прыскает с досадой, сверкая круглыми зелеными глазами, и прядает кисточками на концах высоких, прямых ушей... Опять тишь, и вокруг либо заверещит бедный зайчишка, попавший в зубы хищной лисе, либо завожигается что-то в ветвях: это сова поймала спавшего рябчика... Лесные обитатели живут не по-нашему – обедают по ночам...

Но вот вдали, за версту или больше, слышался вой, ему откликнулся другой, третий вой – все ближе и ближе.

Смолк, и слышалось пряданье зверей по насту, ворчанье, стук зубов... Ни один звук не пропадет в лесной тиши.

– Волки! – боязливо прошептал Патап Максимыч, толкая в бок задремавшего Стуколова. Дюков и работники давно уже спали крепким сном.

– А?... что?... – промычал, приходя в себя, Стуколов. – Что ты говоришь?

– Слышишь? Воют, – говорил смутившийся Патап Максимыч.

– Да, воют... – равнодушно отвечал Стуколов. – Эх их что тут! Чуют мясо, стервецы!

– Беда! – шепотом промолвил Патап Максимыч.

– Какая же беда? Никакой беды нет... А вот побольше огня надо... Эй вы, ребята! – крикнул он работникам. – Проснись!.. Эка заспались!.. Вали на костры больше!

Работники встали неохотно и вместе со Стуколовым и самим Патапом Максимычем навалили громадные костры. Огонь стал было слабее, но вот заиграли пламенные языки на хвое, и зарево разлилось по лесу пуще прежнего.

– Видимо-невидимо!.. – говорил оторопевший Патап Максимыч, слыша со всех сторон волчьи голоса.

Зверей уж можно было видеть. Освещенные заревом, они сидели кругом, пощелкивая зубами. Видно, в самом деле они справляли именины звериного царя.

– Ничего, – успокаивал Стуколов, – огонь бы только не переводился. То ли еще бывает в сибирских тайгах!..

В самом деле, волки никак не смели близко подойти к огню, хоть их, голодных, и сильно тянуло к лошадям, а пожалуй, и к людям.

– Эх, ружья-то нет: пугнуть бы серых, – молвил Стуколов.

– Молчи ты, какое тут еще ружье! Того и гляди сожрут... – тревожно говорил Патап Максимыч. – Глянь-ка, глянь-ка, со всех сторон навалило!.. Ах ты, Господи, Господи!.. Знать бы да ведать, ни за что бы не поехал... Пропадай ты и с Ветлугой своей!..

А волки все близятся, было их до пятидесяти, коли не больше. Смелость зверей росла с каждой минутой: не дальше как в трех саженях сидели они вокруг костров, щелкали зубами и завывали. Лошади давно покинули торбы с лакомым овсом, жались в кучу и, прядая ушами, тревожно озирались. У Патапа Максимыча зуб на зуб не попадал; везде и всегда бесстрашный, он дрожал, как в лихорадке. Растолкали Дюкова, тот потянулся к своей лисьей шубе, зевнул во всю сласть и, оглянувшись, промолвил с невозмутимым спокойствием:

– Волки, никак!

Без малого час времени прошел, а путники все еще сидели в осаде. До света оставаться в таком положении было нельзя: тогда, пожалуй, и костры не помогут да не хватит и заготовленного валежника и хвороста на поддержание огня. Но паломник человек бывалый, недаром много ходил по белу свету. Когда волки были уже настолько близко, что до любого из них палкой можно было добросить, он расставил спутников своих по местам и велел, по его приказу, разом бросать в волков изо всей силы горящие лапы³⁷.

– Раз... два... три!.. – крикнул Стуколов, и горящие лапы полетели к зверям.

³⁷ Горящие ветви хвойного леса; во время лесных пожаров они переносятся ветром на огромные расстояния.

Те отскочили и сели подальше, щелкая зубами и огрызаясь.

– Раз... два... три!.. – крикнул паломник, и, выступив за костры, путники еще пустили по горячей лапе.

Завыли звери, но когда Стуколов, схватив чуть не саженную пылающую лапу, бросился с нею вперед, волки порскнули вдаль, и через несколько минут их не было слышно.

– Теперь не прибегут, – молвил паломник, надевая шубу и укладываясь в сани.

– Дошлый же ты человек, Яким Прохорыч, – молвил Патап Максимыч, когда опасность миновалась. – Не будь тебя, сожрали бы они нас.

Паломник не отвечал. Завернувшись головой в шубу, он заснул богатырским сном.

Глава пятнадцатая

В лесах работают только по зимам. Летней порой в дикую глушь редко кто заглядывает. Не то что дорог, даже мало-мальских торных тропинок там вовсе почти нет; зато много мест непроходимых... Гниющего валежника пропасть, да кроме того, то и дело попадаются обширные глубокие болота, а местами трясины с окнами, вадьями и чарусами... Это страшные, погибельные места для небывалого человека. Кто от роду впервой попал в неведомые лесные дебри – берегись – гляди в оба!..

Вот на несколько верст протянулся мохом поросший кочкарник. Саженными пластами покрывает он глубокую, чуть не бездонную топь. Это «мшава», иначе моховое болото. Поросло оно мелким, чахлым лесом, нога грузнет в мягком зыбуне, усеянном багуном, звездоплавкой, мозгушей, лютиком и белоусом³⁸. От тяжести идущего человека зыбун ходенем ходит, и вдруг иногда в двух, трех шагах фонтаном брызнет вода через едва заметную для глаза продушину. Тут ходить опасно, разом попадешь в болотную пучину и пропадешь ни за денежку... Бежать от страшного места, бежать скорей, без оглядки, если не хочешь верной гибели... Чуть только путник не поберегся, чуть только по незнанию аль из удалства шагнул вперед пять, десять шагов, ноги его начнет затягивать в жидкую трясину, и если не удастся ему поспешно и осторожно выбраться назад, он погиб... Бежать по трясине – тоже беда...

Вот светится маленькая полынья на грязно-зеленой трясине. Что-то вроде колодца. Вода с берегами вровень. Это «окно». Беда оступиться в это «окно» – там бездонная пропасть. Не в пример опасней «окон» «вадя» – тоже открытая круглая полынья, но не в один десяток сажень ширины. Ее берега из топкого торфяного слоя, едва прикрывающего воду. Кто ступит на эту обманчивую почву, нет тому спасенья. «Вадья» как раз засосет его в бездну.

Но страшней всего «чаруса». Окно, вадью издали можно заметить и обойти – «чаруса» неприметна. Выбравшись из глухого леса, где сухой валежник и гниющий буреломник высокими кострами навалены на сырой, болотистой почве, путник вдруг, как бы по волшебному мановению, встречает перед собой цветущую поляну. Она так весело глядит на него, широко, раздольно расстилаясь среди красноствольных сосен и темнохвойных елей. Ровная, гладкая, она густо заросла сочной свежей зеленью и усеяна крупными бирюзовыми незабудками, благоуханными белыми кувшинками, полевыми одаленами и ярко-желтыми купавками³⁹. Луговина так и манит к себе путника: сладко на ней отдохнуть усталому, притомленному, понежиться на душистой, ослепительно сверкающей изумрудной зелени!.. Но пропасть ему без покаяния, схоронить себя без гроба, без савана, если ступит он на эту заколдованную поляну. Изумрудная чаруса, с ее красивыми благоухающими цветами, с ее сочной, свежей зеленью – тонкий травяной ковер, раскинутый на поверхности бездонного озера. По этому коврику даже легконо-

³⁸ Болотные растения: **багун** – andromeda; **звездоплавка** – callitorice; **мозгуша** – geranium sylvaticum; **лютик** – aconitum; **белоус** – nardis stricta.

³⁹ Болотные растения из породы неньюфаров (nymphaea).

гий заяц не сигает, тоненький, быстрый на бегу горностаи не пробежит. Из живой твари только и прыгают по ней длинноносые голенастые кулики, ловя мошек и других толкунов, что о всякую пору и днем и ночью роями выются над лесными болотами... Несметное множество этих куликов, – от горбоносого кроншнепа до желтобрового песчаника, – бродит, бегают и шмыгают по чарусе, но никакому охотнику никогда не удавалось достать их.

У лесников чаруса слывет местом нечистым, заколдованным. Они рассказывают, что на тех чарусах по ночам бесовы огни горят, ровно свечи теплятся⁴⁰. А ину пору видають середи чарусы болотницу, коль не родную сестру, так близкую сродницу всей этой окаянной нечисти: русалкам, водяницам и берегиням... В светлую летнюю ночь сидит болотница одна-одинешенька и нежится на свете ясного месяца... и чуть завидит человека, зачнет прельщать его, манить в свои бесовские объятия... Ее черные волосы небрежно раскинуты по спине и плечам, убраны осокой и незабудками, а тело все голое, но бледное, прозрачное, полувоздушное. И блестит оно и сквозит перед лучами месяца... Из себя болотница такая красавица, какой не найдешь в крещеном миру, ни в сказке сказать, ни пером описать. Глаза – ровно те незабудки, что рассеяны по чарусе, длинные пушистые ресницы, тонкие, как уголь, черные брови... только губы бледноваты, и ни в лице, ни в полной, наливной груди, ни во всем стройном теле нет ни кровинки. А сидит она в белоснежном цветке кувшинчика с котел величиною... Хитрит, окаянная, обмануть, обвести хочется ей человека – села в тот чудный цветок спрятать гусиные свои ноги с черными перепонками. Только завидит болотница человека – старого или малого – это все равно, – тотчас зачнет сладким тихим голосом, да таково жалобно, ровно сквозь слезы, молить-просить вынуть ее из болота, вывести на белый свет, показать ей красно солнышко, которого сроду она не видывала. А сама разводит руками, закидывает назад голову, манит к себе на пышные перси того человека, обещает ему и тысячи неслыханных наслаждений, и груды золота, и горы жемчуга перекаточного... Но горе тому, кто соблазнится на нечистую красоту, кто поверит лстивым словам болотницы: один шаг ступит по чарусе, и она уже возле него: обвив беднягу белоснежными прозрачными руками, тихо опустится с ним в бездонную пропасть болотной пучины... Ни крика, ни стопа, ни всплеска воды. В безмолвной тиши не станет того человека, и его могила на веки веков останется никому не известною.

А тех, кто постарей, иным способом залучает в чарусу нечистая сила... Старец-пустыжник подойдет к пожилому человеку, сторбленный, изможденный, постный, железные вериги у него на плечах, только креста не видно. И зачнет он вести умильную беседу о пустынном житии, но Спасова имени не поминает – тем только и можно опознать окаянного... И зачарует он человека и станет звать его отдохнуть на малое время в пустынной келье... Глядь, ан среди чарусы и в самом деле келейка стоит, да такая хорошая, новенькая, уютная, так вот и манит путника зайти в нее хоть на часочек... Пойдет человек с пустынником по чарусе, глядь, а уж это не пустыжник, а седой старик с широким бледно-желтым лицом, и уж не тихо, не чинно ведет добрую речь, а хохочет во всю глотку силным хохотом... То владыко чарусы – сам болотняник. Это он хохочет, скачет, пляшет, веселится, что успел заманить не умевшего отчураться от его обаяний человека; это он радуется, что завлек крещеную душу в холодную пучину своего синего подводного царства... Много, много чудес рассказывают лесники про эти чарусы... Что там не бывает! Недаром исстари люди толкуют, что в тихом омуте черти водятся, а в лесном болоте плодятся...

Не одни вадьи и чарусы, не одна окаянная сила пугает лесников в летнюю пору. Не дают им работать другие враги... Мириады разнообразных комаров, от крошечной мошки, что целыми кучами забивается в глаза, в нос и уши, до тощей длинноногой караморы, день и ночь несметными роями толкутся в воздухе, столбами носятся над болотами и преследуют человека нестерпимыми мученьями... Нет ему покоя от комариной силы ни в знойный пол-

⁴⁰ Болотные огни.

день, ни прохладным вечером, ни темной ночью, только и отрада в дождливую погоду. Даже на дымных смоляных казанах и на скипидарных заводах иначе не спят, как на подкурах, не то комары заедят до полусмерти. Врывают для того в землю толстые жерди вышиной сажени по три и мостят на них для снажья полати; под теми полатями раскладывают на земле огонь – курево отгоняет комариную силу. Так и спят в дыму прокопченные насквозь бедняги, да и тут не всегда удастся им отделаться от мелких несносных мучителей... А кроме того, оводы, слепни, пауты и страшный бич домашних животных строка⁴¹. Одной строке достаточно залететь в рой слепней, выющихся над конями, чтобы целая тройка, хоть и вовсе притомленная, закусив удила, лягаясь задними ногами и отчаянно размахивая по воздуху хвостами, помчалась зря, как бешеная, сломя голову... Залетит строка в стадо – весь скот взбесится, поднимет неистовый рев и, задрав хвосты, зачнет метаться во все стороны... Бедные лоси и олени пуще всех терпят мученье от этой строки. Она садится на ноги, на спину или на бока животного и прокусывает кожу. Раны загноятся, и строка кладет в них свои яйца. На следующую весну из яиц выходят личинки и насквозь проедают кожу бедного животного. В то время лось переносит нестерпимые муки, а строка снова режет свежие места его кожи и снова кладет туда яйца. Шкура, снятая со зверя, убитого летом или осенью, никуда не годится, она усеяна круглыми дырами в пятиалтынный и больше. Единственное спасенье бедных зверей от строки, если они, понунив головы и дрожа всем телом, добредут до озера либо речки... Свежего воздуха, идущего от студеной воды, строка боится... Да что толковать про беззащитных оленей и лосей, сам косопалый боярин лесов пуще огня боится строки. За недостатком ли лосей, по другой ли причине, строка иногда накидывается на медведя. Забившись к Мишке в загривок в ту пору, как он линяет, начинает она прокусывать толстую его шкуру. Благим матом заревет лесной боярин. Напрасно отмахивается он передними лапами – не отстанет от него строка, пока, огрызаясь и рыча на весь лес, кувыркаясь промеж деревьев, не побежит Мишенька до воды и не погрузнет в ней голову. Тем только косматый царь северных зверей и спасается от крохотного палача... Человека, слава Богу, строка никогда не трогает.

Нелюдно бывает в лесах летней порою. Промеж Керженца и Ветлуги еще лесует⁴² по несколько топоров с деревни, но дальше за Ветлугу, к Вятской стороне, и на север, за Лапшангу, лесники ни ногой, кроме тех мест, где липа растет. Липу драть, мочало мочить можно только в соковую⁴³.

Зато зимой в лесах и по раменям работа кипит да взваривает. Рбнят деревья, волочат их к сплаву, вяжут плоты, тешут сосновые брусья, еловые чегени и копани⁴⁴, рубят осину да березу на баклуши⁴⁵, колют лес на кадки, на бочки, на пересеки и на всякое другое щепное дерево. Стук топоров, треск падающих лесин, крики лесников, ржанье лошадей далеко разносятся тогда по лесным пустыням.

Зимой крещеному человеку и окаянного нечего бояться. С Никитина дня вся лесная нечисть мертвым сном засыпает: и водяник, и болотняник, и бесовские красавицы чарус и омутов – все до единого сгинут, и становится тогда в лесах место чисто и свято... На покой христианским душам спит окаянная сила до самого вешнего Никиты⁴⁶, а с ней заодно засы-

⁴¹ **Строка** – oestris. Иные смешивают строку со слепнями и паутами (tabanus), с которыми имеет она наружное сходство. Но строка совсем другое насекомое, она водится в лесах и залетает в соседние поля только в таком случае, если там пасется скот. Одни строки не летают, но всегда в рое слепней.

⁴² Ходить в лес на работу, деревья ронить.

⁴³ Когда деревья в соку, то есть весна и лето.

⁴⁴ **Чегень** – еловое бревно от шести до двенадцати сажень длины, идет на забойку в учугах на каспийских и нижеволжских рыбных промыслах; **копань**, или кокора, – лесина с частью корня, образующая угольник, идет на стройку судов, на застрехи кровель крестьянских домов и на санные полозья. На санные полозья идут и не корневые копани, а гнутые лежины.

⁴⁵ Чурка, приготовленная для токарной выделки деревянной посуды и ложек.

⁴⁶ **Осенний Никита** – 5 сентября, **весенний** – 3 апреля.

пают и гады земные: змеи, жабы и слепая медяница⁴⁷, та, что как прыгнет, так насквозь человека проскочит... Леший бурлит до Ерофеева дня⁴⁸, тут ему на глаза не попадайся: бесится косматый, неохота ему спать ложиться, рыщет по лесу, ломит деревья, гоняет зверей, но как только Ерофей-Офеня по башке лесиной его хватит, пойдет окаянный сквозь землю и спит до Василия парийского, как весна землю парить начнет⁴⁹.

После Ерофеева дня, когда в лесах от нечисти и бесовской погани станет свободно, ждет не дождется лесник, чтоб мороз поскорей выжал сок из деревьев и сковал бы вадьи и чарусы, а матушка-зима белым пологом покрыла лесную пустыню. Знает он, что месяца четыре придется ему без устали работать, принять за топором труды немалые: лесок сечь – не жалеть своих плеч... Да об этом не тужит лесник, каждый день молится Богу, поскорей бы Господь белую зиму на черную землю сослал... Но вот, ровно белые мухи, запорхали в воздухе пушистые снежинки, тихо ложатся они на сухую, промерзлую землю: гуще и гуще становятся потоки льющегося с неба снежного пуха; все белеет: и улица, и кровли домов, и поля, и ветви деревьев. Целую ночь благодать Господня на землю валит. К утру красно-огненным шаром выкатилось на проясневшее небо солнышко и ярко осветило белую снежную пелену. У лесников в глазах рябит от ослепительного блеска, но рады они радешеньки и весело хлопочут, собираясь в леса лесовать. Суетятся и навзрыд голосят бабы, справляя проводы, ревут, глядя на них, малы ребята, а лесники ровно на праздник спешат. Ладят сани, грузят их запасами печеного хлеба и сухарей, крупой да горохом, гуленой⁵⁰ да сушеными грибами с репчатым луком. И вот, на скорую руку простившись с домашними, грянули они разудалую песню и с гиканьем поскакали к своим зимницам на трудовую жизнь вплоть до Плющихи⁵¹.

Артелями в лесах больше работают: человек по десяти, по двенадцати и больше. На сплав рубить рядят лесников высковские промышленники, разделяют им на Покров задатки, а расчет дают перед Пасхой либо по сплаве плотов. Тут не без обману бывает: во всяком деле толстосум сумеет прижать бедного мужика, но промеж себя в артели у лесников всякое дело ведется начистоту... Зато уж чужой человек к артели в лапы не попадайся: не помилует, оберет как липочку и в грех того не поставит.

За неделю либо за две до лесованья артель выбирает старшего: смотреть за работой, ровнять в деле работников и заправлять немудреным хозяйством в зимнице. Старшой, иначе «хозяин», распоряжается всеми работами, и воля его непрекословна. Он ведет счет срубленным деревьям, натесанным брусьям, он же наблюдает, чтобы кто не отстал от других в работе, не вздумал бы жить чужим топором, тянуть даровщину... У хозяина в прямом подначалье «подсыпка», паренек-подросток, лет пятнадцати либо шестнадцати. Ему не под силу еще столь наработать, как взрослому леснику, и зато «подсыпка» свой пай стряпней на всю артель навостывает, а также заготовкой дров, смолья и лучины в зимницу для светла и сугрева... Он же носит воду и должен все прибрать и убрать в зимнице, а когда запасы подойдут к концу, ехать за новыми в деревню.

Зимница, где после целодневной работы проводят ночи лесники, – большая четырехугольная яма, аршина в полтора либо в два глубины. В нее запущен бревенчатый сруб, а над ней, поверх земли, выведено венцов шесть-семь сруба. Пола нет, одна убитая земля, а потолок накатной, немножко сводом. Окон в зимнице не бывает, да их и незачем: люди бывают только ночью, дневного света им не надо, а чуть утро забрезжит, они уж в лес лесовать и лесуют, пока

⁴⁷ **Слепая медяница** – из породы ящериц (*anguis fragilis*) медянистого цвета, почти без ног и совершенно безвредна. Но есть змея медянка, та ядовита. Лесной народ смешивает эти две породы.

⁴⁸ Октября 4-го, св. Иерофия, епископа афинского, известного в народе под именем Ерофея-Офени.

⁴⁹ Апреля 12-го.

⁵⁰ Картофель.

⁵¹ Марта 1-го – Евдокии-плющихи.

не наступят глубокие сумерки. И окно, и дверь, и дымволок⁵² заменяются одним отверстием в зимнице, оно прорублено вровень с землей, в аршин вышины, со створками, над которыми остается оконце для дымовой тяги. К этому отверстию приставлена лестница, по ней спускаются внутрь. Среди зимницы обыкновенно стоит сбитый из глины кожух⁵³, либо вырыта тепленка, такая же, как в овинах. Она служит и для сугрева и для просушки одежды. Дым из тепленки, поднимаясь кверху струями, стелется по потолку и выходит в единственное отверстие зимницы. Против этого отверстия внизу приделаны к стене широкие нары. В переднем углу, возле нар, стол для обеда, возле него переметная скамья⁵⁴ и несколько стульев, то есть деревянных обрубков. В другом углу очаг с подвешенными над ним котелками для варева. Вот и вся обстановка зимницы, черной, закоптелой, но теплой, всегда сухой и никогда не знающей, что за угар такой на свете бывает... Непривычный человек недолго пробудет в зимнице, а лесники ею не нахвалятся: привычка великое дело. И живут они в своей мурье месяца по три, по четыре, работая на воле от зари до зари, обедая, когда утро еще не забрезжило, а ужиная поздно вечером, когда, воротясь с работы, уберут лошадей в загоне, построенном из жердей и еловых лап возле зимницы. У людей по деревням и красная Никольщина, и веселые Святки, и широкая Масленица, – в лесах нет праздников, нет разбора дням... Одинаково работают лесники и в будни и в праздник, и, кроме «подсыпки», никому из них во всю зиму домой хода нет. И к ним из деревень никто не наезжает.

В одной из таких зимниц, рано поутру, человек десять лесников, развалясь на нарах и завернувшись в полушубки, спали богатырским сном. Под утро намаевавшегося за работой человека сон крепко разнимает – тут его хоть в гроб клади да хорони. Так и теперь было в зимнице лыковских⁵⁵ лесников артели дяди Онуфрия.

Огонь в тепленке почти совсем потух. Угольки, перегорая, то светились алым жаром, то мугились серой пленкой. В зимнице было темно и тихо – только и звуков, что иной лесник всхрапывает, как добрая лошадь, а у другого вдруг ни с того ни с сего душа носом засвистит.

Один дядя Онуфрий, хозяин артели, седой, коренастый, краснощекий старик, спит будким соловьиным сном... Его дело рано встать, артель на ноги поднять, на работу ее урядить, пока утро еще не настало... Это ему давно уж за привычку, оттого он и проснулся пораньше других. Потянулся дядя Онуфрий, протер глаза и, увидев, что в тепленке огонь совсем догорел, торопливо вскочил, на скорую руку перекрестился раза три-четыре и, подбросив в тепленку поленьев и смолья, стал наматывать на ноги просохшие за ночь онучи и обувать лапти. Обувшись и вдев на одну руку полушубок, влез он по лесенке, растворил створцы и поглядел на небо... Стожары⁵⁶ сильно наклонились к краю небосклона, значит, ночь в исходе, утро близится.

– Эй вы, крещенные!.. Будет вам дрыхнуть-то!.. Долго спать – долгу наспать... Вставать пора! – кричал дядя Онуфрий на всю зимницу артельным товарищам.

Никто не шевельнулся. Дядя Онуфрий пошел вдоль нар и зачал толкать кулаком под бока лесников, крича во все горло:

– Эх, грому на вас нет!.. Спят ровно убитые!.. Вставай, вставай, ребятушки!.. Много спать – добра не видать!.. Топоры по вас давно стосковались... Ну же, ну, поднимайтесь, молодцы!

Кто потянулся, кто поежился, кто, глянув заспанными глазами на старшего, опять зажмурился и повернулся на другой бок. Дядя Онуфрий меж тем оделся как следует, умылся, то есть размазал водой по лицу копоть, торопливо помолился перед медным образком, поставленным

⁵² Дымволок, или дымник, – отверстие в потолке или в стене черной избы для выхода дыма.

⁵³ Кожух – печь без трубы, какая обыкновенно бывает в черной курной избе.

⁵⁴ Переметная скамья – не прикрепленная к стене, та, что сбоку приставляется к столу во время обеда.

⁵⁵ Волость на реке Керженце.

⁵⁶ Созвездие Большой Медведицы.

в переднем углу, и подбросил в тепленку еще немного сухого корневища⁵⁷. Ало-багровым пламенем вспыхнуло смолистое дерево, черный дым клубами поднялся к потолку и заходил над струями. В зимнице посветлело.

– Вставайте же, вставайте, а вы!.. Чего разоспались, ровно маковой воды опились?.. День на дворе! – покрикивал дядя Онуфрий, ходя вдоль нар, расталкивая лесников и сдерживая с них армяки и полушубки.

– Петрайко, а Петрайко! Поднимайся проворней, пострел!.. Чего заспался?.. Уж волк умылся, а кочеток у нас в деревне давно пропел. Пора за дело приниматься, стряпай живо обедать!.. – кричал он в самое ухо артельному «подсыпке», подростку лет шестнадцати, своему племяннику.

Но Петрайке неохота вставать. Жметя парнишко под шубейкой, думая про себя: «Дай хоть чуточку еще посплю, авось дядя не резнет хворостиной».

– Да вставай же, постреленок... Не то возьму слегу, огрею, – крикнул дядя на племянника, сдернув с него шубейку. – Дождаться, что ль, тебя артели-то?.. Вставай, принимайся за дело.

Петрайка вскочил, обулся и, подойдя к глиняному рукомойнику, сплеснул лицо. Нельзя сказать, чтоб он умылся, он размазал только копоть, обильно насевшую на лицах, шеях и руках обитателей зимницы... Лесники люди непривередливые: из грязи да из копоты зиму-зименскую не выходят...

– Проворь, а ты проворь обедать-то, – торопил племянника дядя Онуфрий, – чтоб у меня все живой рукой было состряпано... А я покаместь к коням схожу.

И, зажегши лучину, дядя Онуфрий полез на лесенку вон из зимницы.

Лесники один за другим вставали, обувались в просушшую за ночь у тепленки обувь, по очереди подходили к рукомойнику и, подобно дяде Онуфрию и Петраю, размазывали по лицу грязь и копоть... Потом кто пошел в загон к лошадям, кто топоры стал на точиле вострить, кто ладить разодранную накануне одежду.

Хоть заработки у лесников не Бог знает какие, далеко не те, что у недалких их соседей, в Черной рамени да на Узоле, которы деревянну посуду и другую горянщину работают, однако ж и они не прочь сладко поесть после трудов праведных. На Ветлуге и отчасти на Керженце в редком доме брага и сыченое сусло переводятся, даром что хлеб чуть не с Рождества покупной едят. И убоина⁵⁸ у тамошнего мужика не за диво, и солонины на зиму запас бывает, немалое поспорье по лесным деревушкам от лосей приходится... У иного крестьянина не один пересек соленой лосины в погребе стоит... И до пшенничков, и до лапшенничков, и до дынничков⁵⁹ охоч лесник, но в зимнице этого лакомства стряпать некогда да и негде. Разве бабы когда из деревни на поклон мужьям с «подсыпкой» пришлют. Охоч лесник и до «продажной дури» – так зовет он зелено вино, – но во время лесованья продажная дурь не допускается. Заведись у кого хоть косушка вина, сейчас его артель разложит, вспорет и затем вон без расчета. Только трижды в зиму и пьют. На Николу, на Рождество да на Масленицу, и то по самой малости. Брагу да сусло пьют и в зимницах, но понемногу и то на праздниках да после них...

Но теперь Великий пост, к тому ж и лесованье к концу: меньше двух недель остается до Плющихи, оттого и запасов в зимнице немного. Петрайкина стряпня на этот раз была не очень завидна. Развел он в очаге огонь, в один котел засыпал гороху, а в другой стал готовить похлебку: покрошил гулены, сухих грибков, луку, засыпал гречневой крупой да гороховой мукой, сдобрил маслом и поставил на огонь. Обед разом поспел. Приставили к нарам стол, к столу переметную скамью и уселись. Петрайка нарезал черствого хлеба, разложил ломти да

⁵⁷ Часть дерева между корнем и стволом или комлем.

⁵⁸ Говядина.

⁵⁹ **Дынничек** – каша из тебеки (тыквы) с просом, сваренная на молоке и сильно подрумяненная на сковородке.

ложки и поставил перед усевшейся артелью чашки с похлебкой. Молча работала артель зубами, чашки скоро опростались. Петряйка выложил остальную похлебку, а когда лесники и это очистили, поставил им чашки с горохом, накрошил туда репчатого луку и полил вдоволь льняным маслом. Это кушанье показалось особенно лакомо лесникам, ели да похваливали.

– Ай да Петряй! Клевашный⁶⁰ парень! – говорил молодой лесник, Захаром звали, потряхивая кудрями. – Вот, брат, уважил так уважил... За этот горох я у тебя, Петряйко, на свадьбе так нарежусь, что целый день песни играть да плясать не устану.

– Мне еще рано, сам-от прежде женись, – отшутился Петряйко.

– Невесты, парень, еще не выросли... Покаместь и так побродим, – отвечал Захар.

– А в самом деле, Захарушка, пора бы тебе закон свершить, – вступился в разговор дядя Онуфрий. – Что так без пути-то болтаешься?.. За тебя, за такого молодца, всяку бы девку с радостью выдали.

– Ну их, бабья-то! – отвечал Захар. – Терпеть не могу. Девки не в пример лучше. С ними забавней – смехи да песни, а бабы что! Только клохчут да хнычут... Само последнее дело!

– Экий девушник! – молвил на то, лукаво усмехнувшись, лесник Артемий. – А не знаешь разве, что за девок-то вашему брату ноги колом ломают?

– А ты прежде излови, да потом и ломай. Эк чем стращать вздумал, – нахально ответил Захар.

– То-то, то-то, Захар Игнатыч, гляди в оба... Знаем мы кое-что... Слыхали! – сказал Артемий.

– Чего слыхал-то?.. Чего мне глядеть-то? – разгорячившись, крикнул Захар.

– Да хоть бы насчет лещовской Параньки...

– Чего насчет Параньки? – приставал Захар. – Чего?.. Говори, что знаешь!.. Ну, ну, говори...

– То и говорю, что высоко камешки кидаешь, – ответил Артемий. – Тут вашему брату не то что руки-ноги переломают, а пожалуй, в город на ставку свезут. Забыл аль нет, что Паранькин дядя в головах сидит? – сказал Артемий.

Закричал Захар пуще прежнего, даже с места вскочил, ругаясь и сжимая кулаки, но дядя Онуфрий одним словом уgomонил расхोdившихся ребят. Брань и ссоры во все лесованье не дозволяются. Иной парень хоть на руготню и голова – огонь не вздует, замка не отопрет, не выругавшись, а в лесу не смеет много растабарывать, а рукам волю давать и не подумает... Велит старшой замолчать, пали сердце сколько хочешь, а вздорить не смей. После, когда из леса уедут, так хоть ребра друг дружке переломай, но во время лесованья – ни-ни. Такой обычай ведется у лесников исстари. С чего завелся такой обычай? – раз спросили у старого лесника, лет тридцать сряду ходившего лесовать «хозяином». «По нашим промыслам без уйму нельзя, – отвечал он, – также вот и продажной дури в лесу держать никак невозможно, потому, не ровен час, топор из рук нашего брата не выходит... Долго ль окаянному человека во хмелю аль в руготне под руку толконуть... Бывали дела, оттого сторожко и держимся».

Смолкли ребята, враждебно поглядывая друг на друга, но послушаться старшого и подумать не смели... Стоит ему слово сказать, артель встанет как один человек и такую вespорку задаст ослушнику, что в другой раз не захочет дурить...

Петряйка ставил меж тем третье кушанье: наклал он в чашки сухарей, развел квасом, положил в эту тюрю соленых груздей, рыжиков да вареной свеклы, лучку туда покрошил и маслица подлил.

– Важно кушанье! – похвалил дядя Онуфрий, уписывая крошево за обе щеки. – Ну, проворней, проворней, ребята, – в лес пора! Заря занимается, а на заре не работать, значит, рубль из мошны потерять.

⁶⁰ Проворный, сметливый, разумный.

Лесники зачали есть торопливее. Петряйка вытащил из закути курган⁶¹ браги и поставил его на стол.

– Экой у нас провор «подсыпка»-то! – похвалил дядя Онуфрий, поглаживая жилистой рукой по белым, но сильно закопченным волосам Петряя, когда тот разливал брагу по корчикам⁶². – Всякий день у него последышки да последышки. Две недели Масленица минула, а у него бражка еще ведется. Сторожь, сторожь, Петрунюшка, сторожь всякое добро, припасай на черный день, вырастешь, большой богатей будешь. Прок выйдет из тебя, парнюга!.. Чтой-то? – вдруг спросил, прерывая свои ласки и вставая с нар, дядя Онуфрий. – Никак приехал кто-то? Выглянь-ка, Петряй, на волю, глянь, кто такой?

В самом деле слышались скрип полозьев, фыркание лошадей и людской говор.

Одним махом Петряйка вскочил на верх лесенки и, растворив створцы, высунул на волю белокурую свою голову. Потом прыгнул на пол и, разведя врозь руками, удивленным голосом сказал:

– Неведомо, каки люди приехали... На двух тройках... гусем.

– Что за диковина! – повязывая кушак, молвил дядя Онуфрий. – Что за люди?.. Кого это на тройках принесло?

– Нешто лесной аль исправник, – отозвался Артемий.

– Коего шута на конце лесованья они не видали здесь? – сказал дядя Онуфрий. – Опять же колокольцев не слышать, а начальство разве без колокольца поедет? Гляди, лысковцы⁶³ не нагрянули ль... Пусто б им было!.. Больше некому. Пойти посмотреть самому, – прибавил он, направляясь к лесенке.

– Есть ли крещенные? – раздался в то время сверху громкий голос Патапа Максимыча.

– Лезь полезай, милости просим, – громко отозвался дядя Онуфрий.

Показалась из створки нога Патапа Максимыча, за ней другая, потом широкая спина его, обтянутая в мурашкинскую дубленку. Слез наконец Чапурин.

За ним таким же способом слез паломник Стуколов, потом молчаливый купец Дюков, за ними два работника. Не вдруг прокашлялись наезжие гости, глотнувши дыма. Присев на полу, едва переводили они дух и протирали поневоле плакавшие глаза.

– Кого Господь даровал? – спросил дядя Онуфрий. – Зиму зименскую от чужих людей духу не было, на конец лесованья гости пожаловали.

– Заблудились мы, почтенный, в ваших лесах, – отвечал Патап Максимыч, снимая промерзшую дубленку и подсаживаясь к огню.

– Откуда Бог занес в наши палестины? – спросил дядя Онуфрий.

– Из Красной рамени, – молвил Патап Максимыч.

– А путь далеко держите? – продолжал спрашивать старшой артели.

– На Ветлугу пробираемся, – отвечал Патап Максимыч. – Думали на Ялокшинский зимняк свернуть, да оплошали. Теперь не знаем, куда и заехали.

– Ялокшинский зимняк отсель рукой подать, – молвил дядя Онуфрий, – каких-нибудь верст десяток, и того не будет, пожалуй. Только дорога не приведи Господи. Вы, поди, на санях?

– В пошевнях, – ответил Патап Максимыч.

– А пошевни-то небось большие да широкие... Еще, поди, с волочками?⁶⁴ – продолжал свои расспросы дядя Онуфрий.

– Да, с волочками, – сказал Патап Максимыч. – А что?

⁶¹ **Курган**, кунган (правильнее кумган) – заимствованный у татар медный или жестяной кувшин с носком, ручкой и крышкой.

⁶² **Корчик**, или **корец**, – особого вида ковш для черпанья воды, кваса, для питья сула и браги. Корцы бывают металлические (железные), деревянные, а больше корец делается из древесного луба, в виде стакана.

⁶³ Оптовые лесопромышленники из Лыскова. Их не любят лесники за обманы и обиды.

⁶⁴ **Волочок**, или волчок, – верх повозки или кибитки, обитый циновкой.

– А то, что с волочками отсель на Ялокшу вам не проехать. Леса густые, лапы на просеки рублены невысоко, волочки-то, пожалуй, не полезут, – говорил дядя Онуфрий.

– Как же быть? – в раздумье спрашивал Патап Максимыч.

– Да в кое место вам на Ветлугу-то? – молвил дядя Онуфрий, оглядывая лезу топора.

– Езда нам не близкая, – ответил Патап Максимыч. – За Усту надо к Уреню, коли слышал.

– Как не слышать, – молвил дядя Онуфрий. – Сами в Урени не раз бывали... За хлебом ездим... Так ведь вам наперед надо в Нижне Воскресенье, а там уж вплоть до Уреня пойдет большая дорога...

– Ровная, гладкая, хоть кубарем катись, – в один голос заговорили лесники.

– За Воскресеньем слепой с пути не собьется...

– По Ветлуге до самого Варнавина степь пойдет, а за Варнавином, как реку переедете, опять леса, – там уж и скончанья лесам не будет...

– Это мы, почтеннейший, и без тебя знаем, а вот вы научите нас, как до Воскресенья-то нам добраться? – сказал Патап Максимыч.

– Разве к нашим дворам, на Лыковщину, отсель свернете, – отвечал дядя Онуфрий. – От нас до Воскресенья путь торный, просека широкая, только крюку дадите: верст сорок, коли не все пятьдесят.

– Эко горе какое! – молвил Патап Максимыч. – Вечор целый день плутали, целу ночь не знай куда ехали, а тут еще пятьдесят верст крюку!.. Ведь это лишних полтора суток наберется.

– А вам нешто к спеху? – спросил дядя Онуфрий.

– К спеху не к спеху, а неохота по вашим лесам без пути блудить, – отвечал Патап Максимыч.

– Да вы коли из Красной-то рамени поехали? – спросил дядя Онуфрий.

– На рассвете. Теперь вот целы сутки маемся, – отвечал Патап Максимыч.

– Гляди-ка, дело какое! – говорил, качая головой, дядя Онуфрий. – Видно, впервой в лесах-то?

– То-то и есть, что допрежь николи не бывали. Ну, уж и леса ваши – нечего сказать! Провалиться б им, проклятым, совсем! – с досадой примолвил Патап Максимыч.

– Леса наши хорошие, – перебил его дядя Онуфрий.

Обидно стало ему, что неведомо какой человек так об лесах отзывается. Как моряк любит море, так коренной лесник любит родные леса, не в пример горячей, чем пахарь пашню свою.

– Леса наши хорошие, – хмурясь и понуриив голову, продолжал дядя Онуфрий. – Наши поильцы-кормильцы... Сам Господь вырастил леса на пользу человека, сам Владыко свой сад рассадил... Здесь каждое дерево Божье, зачем же лесам провалиться?.. И кем они кляты?.. Это ты нехорошее, черное слово молвил, господин купец... Не погневайся, имени-отчества твоего не знаю, а леса бранить не годится – потому они Божьи.

– Дерево-то пускай его Божье, а волки-то чьи? – возразил Патап Максимыч. – Как мы заночевали в лесу, набежало проклятого зверья видимо-невидимо – чуть не сожрали: каленый нож им в бок. Только огнем и оборонились.

– Да, волки теперь гуляют – ихня пора, – молвил дядя Онуфрий, – Господь им эту пору указал... Не одним людям, а всякой твари сказал он: «Раститесь и множитесь». Да... ихня пора... – И потом, немного помолчав, прибавил: – Значит, вы не в коренном лесу заночевали, а где-нибудь на рамени. Серый в теперешнюю пору в лесах не держится, больше в поле норовит, теперь ему в лесу голодно. Беспременно на рамени ночевали, недалеко от селенья. К нам-то с какой стороны подъехали?

– Да мы все на сивер держали, – сказал Патап Максимыч.

– Кажись бы, так не надо, – молвил дядя Онуфрий. – Как же так на сивер? К зимнице-то, говорю, с коей стороны подъехали?

– С правой.

- Так какой же тут сивер? Ехали вы, стало быть, на осенник, – сказал дядя Онуфрий.
- Как же ты вечер говорил, что мы едем на сивер? – обратился Патап Максимыч к Стуколову.
- Так по матке выходило, – насупив брови и глядя исподлобья, отозвался паломник.
- Вот тебе и matka! – крикнул Патап Максимыч. – Пятьдесят верст крюку, да на придачу волки чуть не распластали!.. Эх ты, голова, Яким Прохорыч, право, голова!..
- Чем же matka-то тут виновата? – оправдывался Стуколов. – Разве по ней ехали, ведь я глядел в нее, когда уж с пути сбились.
- Не сговоришь с тобой, – горячился Патап Максимыч, – хоть кол ему теши на лысине: упрям, как черт карамышевский, прости Господи!..
- Ой, ваше степенство, больно ты охоч *его* поминать! – вступился дядя Онуфрий. – Здесь ведь лес, зимница... У нас *его* не поминают! Нехорошо!.. Черного слова не говори... Не ровен час – пожалуй, недоброе что случится... А про каку эту матку вы поминаете? – прибавил он.
- Да вон у товарища моего matka какая-то есть... Шут ее знает!.. – досадливо отозвался Патап Максимыч, указывая на Стуколова. – Всякие дороги, слышь, знает. Коробочка, а в ней, как в часах, стрелка ходит, – пояснил он дяде Онуфрию... – Так, пустое дело одно.
- Знаем и мы эту матку, – ответил дядя Онуфрий, снимая с полки крашенный ставешок и вынимая оттуда компас. – Как нам, лесникам, матки не знать? Без нее ину пору можно пропасть... Такая, что ль? – спросил он, показывая свой компас Патапу Максимычу.
- Диву дался Патап Максимыч. Сколько лет на свете живет, книги тоже читает, с хорошими людьми водится, а досель не слыхал, не ведал про такую штуку... Думалось ему, что паломник из-за моря вывез свою матку, а тут закоптелый лесник, последний, может быть, человек, у себя в зимнице такую же вещь держит.
- В лесах matka вещь самая полезительная, – продолжал дядя Онуфрий. – Без нее как раз заблудишься, коли пойдешь по незнакомым местам. Дорогая по нашим промыслам эта штука... Зайдешь ину пору далеко, лес-от густой, частый да рослый – в небо дыра. Ни солнышка, ни звезд не видать, опознаться на месте нечем. А с маткой не пропадешь; отколь хошь на волю выведет.
- Значит, твоя matka попортилась, Яким Прохорыч, – сказал Патап Максимыч Стуколову.
- Отчего ей попортиться? Коли стрелка ходит, значит, не попортилась, – отвечал тот.
- Да слышишь ты аль нет, что вечер ей надо было на осенник казать, а она на сивер тянула, – сказал Патап Максимыч.
- Покажь-ка, ваше степенство, твою матку, – молвил дядя Онуфрий, обращаясь к Стуколову.
- Паломник вынул компас. Дядя Онуфрий положил его на стол рядом со своим.
- Ничем не попорчена, – сказал он, рассматривая их. – Да и портиться тут нечему, потому что в стрелке не пружина какая, а одна только Божия сила... Видишь, в одну сторону обе стрелки тянут... Вот сивер, тут будет полдень, тут закат, а тут восток, – говорил дядя Онуфрий, показывая рукой страны света по направлению магнитной стрелки.
- Отчего ж она давеча не на осенник, а на сивер тянула? – спросил у паломника Патап Максимыч, разглядывая компасы.
- Не знаю, – отвечал Стуколов.
- А я так знаю, – молвил дядя Онуфрий, обращаясь к паломнику. – Знаю, отчего вечер твоя matka на сторону воротила... Коли хочешь, скажу, чтобы мог ты понимать тайную силу Божию... Когда смотрел в матку-то, в котором часу?
- С вечера, – отвечал Стуколов.
- Так и есть, – молвил дядя Онуфрий. – А на небо в ту пору глядел?

– На небо? Как на небо?.. – спросил удивленный паломник. – Не помню... Кажись, не глядел.

– И никто из вас не видел, что на небе в ту пору деялось? – спросил дядя Онуфрий.

– Чему на небе деяться? – молвил Патап Максимыч. – Ничего не деялось – небо как небо.

– То-то и есть, что деялось, – сказал дядя Онуфрий. – Мы видели, что на небе перед полночью было... Тут-то вот и премудрая, тайная сила Творца Небесного... И про ту силу великую не то что мы, люди старые, подростки у нас знают... Петрайко! Что вечер на небе деялось? – спросил он племянника.

– Пазори⁶⁵ играли, – бойко тряхнув белокурыми кудрями, ответил Петрай. – Вечор, как нам с лесованья ехать, отбель по небу пошла, а там и зори заиграли, лучи засветили, столбы задышали, багрецами налились и заходили по небу. Сполóхи даже били, как мы ужинать сели: ровно гром по лесу-то, так и загудели... Оттого матка и дурила, что пазори в небе играли.

– Значит, не в ту сторону показывала, – пояснил дядя Онуфрий. – Это завсегда так бывает: еще отбелей не видать, а уж стрелка вздрагивать зачнет, а потом и пойдет то туда, то сюда воротить. Видишь ли, какая тайная Божия сила тут совершается? Слыхал, поди, как за всенощной-то поют: «Вся премудростию сотворил еси!..» Вот она премудрость-то!.. Это завсегда надо крещеному человеку в понятии содержать... Да, ваше степенство, «вся премудростию сотворил еси!..» Кажись, вот хоть бы эта самая матка – что такое? Ребятчя игрушка, слепой человек подумает! Ан нет, тут премудрость Господня, тайная Божия сила... Да.

«Экой дошлый народец в эти леса забился, – сам про себя думал Патап Максимыч. – Мальчишка, материно молоко на губах не обсохло, и тот премудрость понимает, а старый от Писанья такой гораздый, что, пожалуй, Манефе – так впору».

– От кого это ты, малец, выучился? – спросил он Петрая.

– Дядя учил, дядя Онуфрий, – бойко ответил «подсыпка», указывая на дядю.

– А тебя кто научил? – обратился Патап Максимыч к Онуфрию.

– От отцов, от дедов научены; они тоже век свой лесовали, – ответил дядя Онуфрий.

– Мудрости Господни! – молвил в раздумье Патап Максимыч. Проговорив это, вдруг увидел он, что лесник Артемий, присев на корточки перед тепленкой и вынув уголек, положил его в носогрейку⁶⁶ и закурил свой тютюн. За ним Захар, потом другие, и вот все лесники, кроме Онуфрия да Петрая, усевшись вокруг огонька, задымили трубки.

Стуколова инда передернуло. За Волгой-то, в сем искони древлеблагочестивом крае, в сем Афоне старообрядства, да еще в самой-то глуши, в лесах, курильщики треклятого зелья объявились... Отсторонился паломник от тепленки и, сев в углу зимницы, повернул лицо в сторону.

⁶⁵ **Пазори** – северное сияние. Слова «северное сияние» народ не знает. Это слово деланное, искусственное, придуманное в кабинете, едва ли не Ломоносовым, а ему, как холмогорцу, не могло быть чуждым настоящее русское слово «пазори». Северное сияние – буквальный перевод немецкого Nordlicht. У нас каждый переход столь обычного на Руси небесного явления означает особым метким словом. Так, начало пазорей, когда на северной стороне неба начинает как бы разливаться бледный белый свет, подобный Млечному Пути, зовется *отбелью* или *белю*. Следующий за тем переход, когда отбель, сначала принимая розовый оттенок, потом постепенно багровеет, называется *зорями* (*зори*, *зорьники*). После зорей начинают обыкновенно раскидываться по небу млечные полосы. Это называют *лучами*. Если явление продолжается, лучи багровеют и постепенно превращаются в яркие, красные и других цветов радуги *столбы*. Эти столбы краснеют более и более, что называется *багрецы наливаются*. Столбы сходятся и расходятся – об этом говорится: *столбы играют*. Когда сильно играющие столбы сопровождаются перекатным треском и как бы громом – это называется *сполохами*. Если во время северного сияния зори или столбы мерцают, то есть делаются то светлей, то бледней, тогда говорится: «зори или столбы *дышат*». Наши лесники, равно как и поморы, обращающиеся с компасом, давным-давно знают, что «на пазорях матка дуриет», то есть магнитная стрелка делает отклонения. Случается, что небо заволочено тучами, стоит непогода, либо метель метет, и вдруг «матка задурит». Лесники тогда знают, что на небе пазори заиграли, но за тучами их не видать. Замечательно, что как у поморов, так и у лесников нет поверья, будто северное сияние предвещает войну или мор. Свойство магнитной стрелки и влияние на нее северного сияния они называют «тайной Божьей силой».

⁶⁶ Трубка, большею частью корневая, выложенная внутри жостью, на коротеньком деревянном чубучке.

– Поганитесь? – с легкой усмешкой спросил Патап Максимыч, кивая дяде Онуфрию на курильщиков.

– А какое ж тут поганство? – отвечал дядя Онуфрий. – Никакого поганства нет. Сказано: «Всяк злак на службу человеком». Чего ж тебе еще?.. И табак Божья трава, и ее Господь создал на пользу, как все иные деревья, цветы и травы...

– Так нешто про табашное зелье это слово сказано в Писании? – досадливо вмешался насупившийся Стуколов. – Аль не слыхали, что такое есть «корень горести в выпрь прозябаяй»? Не слыхивал, откуда табак-от вырос?

– Это что келейницы-то толкуют? – со смехом отозвался Захар. – Врут они, смотницы⁶⁷, пустое плетут... Мы ведь не староверы, в бабье не веруем.

– Нешто церковники? – спросил Патап Максимыч дядю Онуфрия.

– Все по церкви, – отвечал дядя Онуфрий. – У нас по всей Лыковщине староверов спокон веку не важивалось. И деды и прадеды – все при церкви были. Потому люди мы бедные, работные, достатков у нас нет таких, чтобы староверничать. Вон по раменям, и в Черной рамени, и в Красной, и по Волге, там, почитай, все старой веры держатся... Потому – богатство... А мы что?.. Люди маленькие, худые, бедные... Мы по церкви!

– А молитесь как? – спросил Патап Максимыч.

– Кто в два перста, кто щепотью, кто как сызмала обык, так и молится... У нас этого в важность не ставят, – сказал дядя Онуфрий.

– И табашничают все? – продолжал спрашивать Патап Максимыч.

– Все, почитай, веселой травки держимся, – отвечал, улыбаясь, дядя Онуфрий и сам стал набивать трубку. – Нам, ваше степенство, без табаку нельзя. Потому летом пойдешь в лес – столько там этого гаду: оводу, слепней, мошек и всякой комариной силы – только табачным дымом себя и полегчишь, не то съедят, пусто б им было. По нашим промыслам без курева обойтись никак невозможно – всю кровь высосут, окаянные. Оно, конечно, и лесники не сплошь табашничают, есть тоже староверы по иным лесным деревьям, зато уж и маются же сердечные. Посмотрел бы ты на них, как они после соку⁶⁸ домой приволокнутся. Узнать человека нельзя, ровно степь ходит. Боронятся и они от комариной силы: смолой, дегтем мажутся, да не больно это мазанье помогает. Нет, по нашим промыслам без табашного курева никак нельзя. А побывали бы вы, господа купцы, в ветлужских верхотинах у Верхнего Воскресенья⁶⁹. Там и в городе и вокруг города по деревьям такие ли еще табашники, как у нас: спят даже с трубкой. Маленький парнишка, от земли его не видать, а уж дымит из тяткиной трубчонки... В гостях на свадьбе аль на крестинах, в праздники тоже храмовые, у людей первым делом брага да сусло... а там горшки с табаком гостям на стол – горшок молотого, да горшок крошеного... Надымит в избе, инда у самих глаза выест... Вот это настоящие табашники, заправские, а мы что – помаленьку балуемся.

– Оттого Ветлугу-то и зовут «поганой стороной», – скривив лицо язвительной усмешкой, молвил Стуколов.

– Да ведь это келейницы же дурным словом обзывают ветлужскую сторону, а глядя на них и староверы, – отвечал дядя Онуфрий. – Только ведь это одни пустые речи... Какую они там погань нашли? Таки же крещены, как и везде...

– В церковь-то часто ли ходите? – спросил Патап Максимыч.

– Как же в церковь не ходить?.. Чать, мы крещеные. Без церкви прожить нельзя, – отвечал дядя Онуфрий. – Кое время дома живем, храм Божий не забываем, оно, пожалуй, хоть не каждо

⁶⁷ **Смотник, смотница** – то же, что сплетник, а также человек, всякий вздор говорящий.

⁶⁸ После дранья мочала, луба и бересты.

⁶⁹ В Ветлужском крае город Ветлугу до сих пор зовут Верхним Воскресеньем, как назывался он до 1778 года, когда был обращен в уездный город. Нижнее Воскресенье – большое село на Ветлуге в Макарьевском уезде Нижегородской губернии. Иначе – Воскресное. Это два главных торговых пункта по Ветлуге.

воскресенье ходим, потому приход далеко, а все ж церкви не чуждаемся. Вот здесь, в лесах, праздников уж нет. С топором не до моления, особливо в такой год, как нынешний... Зима-то ноне стала поздняя, только за два дня до Николы лесоватъ выехали... Много ль тут времени на работу-то останется, много ль наработаешь?... Тут и праздники забудешь, какие они у Бога есть, и день и ночь только и думы, как бы побольше дерев сронить. Да ведь и то надо сказать, ваше степенство, – примолвил, лукаво улыбаясь, дядя Онуфрий, – часто и в церковь-то ходить нашему брату накладно. Это вон келейницам хорошо на всем на готовом Богу молиться, а по нашим недостаткам того не приходится. Ведь повадишься к вечерне, все едино, что в харчевню: ноне свеча, завтра свеча – глядишь, ан шуба с плеча. С нашего брата Господь не взыщет – потому недостатки. Мы ведь люди простые, а простых и Бог простит... Однако закалялся я с вами, господа купцы... Ребятунки, ладь дровни, проворь лошадей... Лесоватъ пора!.. – громко крикнул дядя Онуфрий.

Лесники один за другим полезли вон.

Дядя Онуфрий, оставшись с гостями в зимнице, помогал Петрю прибирать посуду, заливать очаг и приводить ночной притон в некоторый порядок.

– Сами-то отколь будете? – спросил он Патапа Максимыча.

Патап Максимыч назвал себя и немало подивился, что старый лесник доселе не слышал его имени, столь громкого за Волгой, а, кажись, чуть не шабры.

– Нешто про нас не слышал? – спросил он дядю Онуфрия.

– Не доводилось, ваше степенство, – отвечал лесник. – Ведь мы раменских-то⁷⁰ мало знаем – больше все с лысковскими да с ветлужскими купцами хороводимся, с понизовыми тоже.

– Экая, однако, глушь по вашим местам, – сказал Патап Максимыч.

– Глухая сторона, ваше степенство, это твоя правда, как есть глушь, – отвечал дядя Онуфрий. – Мы и в своем-то городе только раза по два на году бываем: подушны казначею свезти да билет у лесного выправить. Особняком живем, ровно отрезанные, а все же не променяем своей глуши на чужу сторону. Хоть и бедны наши деревни, не то что на Волге, аль, может, и по вашим раменям, однако ж свою сторону ни на каку не сменяем... У вас хоть веселье, хоть житье привольное, да чужое, а у нас по лесам хоть и горе, да свое... Пускай у нас глушь, да не пошто нам далеко, и здесь хорошо.

– Да, – ответил Патап Максимыч, – всякому своя сторона мила... Только как же у нас будет, почтенный?... Уж вы как-нибудь выведите нас на свет Божий, покажите дорогу, как на Ялокшу выехать.

– Пошто не указать – укажем, – сказал дядя Онуфрий, – только не знаю, как вы с волочками-то сладите. Не пролезть с ними сквозь лесину... Опять же, поди, дорогу-то теперь пере-мело, на Масленице все ветра дули, деревья-то, чай, обтрясло, снегу навалило... Да постойте, господа честные, вот я молодца одного кликну – он ту дорогу лучше всех знает... Артемушка! – крикнул дядя Онуфрий из зимницы. – Артем!.. погляди-ко на сани-то: проедут на Ялокшу аль нет, да слезь, родной, ко мне не на долгое время...

Артемий слез и объявил, что саням надо бы пройти, потому отводы невеликие, а волочки непременно надо долой.

– Ну долой, так долой, – решил Патап Максимыч, – положим их в сани, а не то и здесь покинем. У Воскресенья новы можно купить.

– У Воскресенья этого добра вволю, – сказал дядя Онуфрий, – завтра же вы туда как раз к базару попадете. Вы не по хлебной ли части едете?

– Нет, едем по своему делу, к приятелям в гости, – молвил Патап Максимыч.

⁷⁰ Раменскими лесники зовут жителей Черной и Красной рамени.

– Так, – проговорил дядя Онуфрий. – Ин велите своим парням волочки снимать – вместе и поедем, нам в ту же сторону версты две либо три ехать.

– Ну вот и ладно. Оттоль, значит, верст с восемь до зимняка-то останется, – молвил Патап Максимыч и послал работников отвязывать волочки.

– Верст восемь, а может, и десять, а пожалуй, и побольше наберется, – отвечал дядя Онуфрий. – Какие здесь версты! Дороги немерены: где мужик по первопутке проехал – тут на всю зиму и дорога.

– А как нам расставанье придет, вы уж, братцы, кто-нибудь проводите нас до зимняка-то, – сказал Патап Максимыч.

– На этом не погневись, господин купец. По нашим порядкам этого нельзя – потому артель, – сказал дядя Онуфрий.

– Что ж артель?.. Отчего нельзя? – с недоумением спросил Патап Максимыч.

– Да как же?.. Поедет который с тобой, кто за него работать станет?.. Тем артель и крепка, что у всех работа вровень держится, один перед другим ни на макову росинку не должен переделывать аль недоделывать... А как ты говоришь, чтоб из артели кого в вожатые дать, того никоим образом нельзя... Тот же прогул выйдет, а у нас прогулов нет, так и сговариваемся на суйме⁷¹, чтоб прогулов во всю зиму не было.

– Да мы заплатим что следует, – сказал Патап Максимыч.

– А кому заплатишь-то?.. Платить-то некому!.. – отвечал дядя Онуфрий. – Разве можно артельному леснику с чужанина хоть малость какую принять?.. Разве артель спустит ему хошь одну копейку взять со стороны?.. Да вот я старшой у них, «хозяином» называюсь, а возьми-ка я с вашего степенства хоть медну полушку, ребята не поглядят, что я у них голова, что борода у меня седа, разложат да таку вспарку зададут, что и-и... У нас на это строго.

– Мы всей артели заплатим, – сказал Патап Максимыч.

– Это уж не мое дело, с артелью толкуй. Как она захочет, так и прикажет, я тут ни при чем, – ответил дядя Онуфрий.

– Коли так, собирай артель, потолкуем, – молвил Патап Максимыч.

– Скликнуть артель не мудреное дело, только не знаю, как это сделать, потому что такого дела у нас николи не бывало. Боле тридцати годов с топором хожу, а никогда того не бывало, чтоб из артели кого на сторону брали, – рассуждал дядя Онуфрий.

– Да ты только позови, может, сойдемся как-нибудь, – сказал Патап Максимыч.

– Позвать, отчего не позвать! Позову – это можно, – говорил дядя Онуфрий, – только у нас николи так не водилось... – И, обратясь к Петрю, все еще перемывавшему в грязной воде чашки и ложки, сказал: – Кликни ребят, Петряюшка, все, мол, идите до единого.

Артель собралась. Спросила дядю Онуфрия, зачем звал; тот не отвечал, а молча показал на Патапа Максимыча.

– Что требуется, господин купец?.. – спросили лесники, оглядывая его с недоумением.

– Да видите ли, братцы, хочу я просить вашу артель дать нам проводника до Ялокшинского зимняка, – начал Патап Максимыч.

Артель загалдела, а Захар даже захохотал, глядя прямо в глаза Патапу Максимычу.

– В уме ль ты, ваше степенство?.. Как же возможно из артели работника брать?.. Где это слыхано?.. Да кто пойдет провожать тебя?.. Никто не пойдет... Эк что вздумал!.. Чудак же ты, право, господин купец!.. – кричали лесники, перебивая друг дружку.

Насилу втолковал им Патап Максимыч, что артели ущерба не будет, что он заплатит цену работы за весь день.

– Да как ты учтешь, чего стоит работа в день?.. Этого учесть нельзя, – говорили лесники.

– Как не учесть, учтем, – сказал Патап Максимыч. – Сколько вас в артели-то?

⁷¹ Суйм, или суем (однородно со словами сонм и сейм), – мирской сход, совещанье о делах.

– Одиннадцать человек, Петряй двенадцатый.

– А много ль ден в зиму работать?

– Смекай: выехали за два дня до Николе, уйдем на Плющиху, – сказал Захар.

Подсчитал Патап Максимыч – восемьдесят семь дней выходило.

– Ты, ваше степенство, неделями считай; мы ведь люди неграмотные – считать по дням не горазды, – говорила артель.

– Двенадцать недель с половиной, – сказал Патап Максимыч.

– Ну, это так, – загалдели лесники... – Намедни мы считали, то же выходило.

– Ну ладно, хорошо... Теперь сказывайте, много ль за зиму на каждого человека заработка причтется? – спросил Патап Максимыч.

– А кто его знает! – отвечали лесники. – Вот к Святой сочтемся, так будем знать.

Беспорядицы и бестолочи в переговорах было вдоволь. Считали барыши прошлой зимы, выходило без гривны полтора рубля на ассигнации в день человеку. Но этот счет в толк не пошел, потому, говорил Захар, что зимущняя зима была сиротская, хвилеватая⁷², а нонешняя – морозная да ветреная. Сулил артели Патап Максимыч целковый за проводника – и слушать не хотели. Как, дескать, наобум можно ладиться. Надо, говорят, всякое дело по чести делать, потому – артель. А дядя Онуфрий турит да турит кончать скорей переговоры, на всю зимницу кричит, что заря совсем занялась – нечего пустяки городить – лесовать пора...

Потерял терпенье Патап Максимыч. Так и подмывает его обойтись с лесниками по-свойски, как в Осиповке середь своих токарей навывок... Да вовремя вспомнил, что в лесах этим ничего не возьмешь, пожалуй, еще хуже выйдет. Не такой народ, окриком его не проймешь... Однако ж не вытерпел – крикнул:

– Да берите, дьяволы, сколько хотите... Сказывай, сколько надо?.. За деньгами не стоим... Хотите три целковых получить?

– Сказано тебе, в зимнице *его* не поминай, – строго притопнув даже ногой, крикнул на Патапа Максимыча дядя Онуфрий... – Так в лесах не водится!.. А ты еще *его* черным именем крещеный народ обзываешь... Есть на тебе крест-от аль нет?.. Хочешь ругаться да вражье имя поминай, убирайся, покамест цел, подобру-поздорову.

– Народец! – с досадой молвил Патап Максимыч, обращаясь к Стуколову. – Что тут станешь делать?

Не отвечал паломник.

– Говорите же, сколько надо вам за проводника? Три целковых хотите? – сказал Патап Максимыч, обращаясь к лесникам.

Зачала артель галанить пуще прежнего. Спорам, крикам, бестолочи ни конца, ни середины... Видя, что толку не добиться, Патап Максимыч хотел уже бросить дело и ехать на авось, но Захар, что-то считавший все время по пальцам, спросил его:

– Без двугривенного пять целковых дашь?

– За что ж это пять целковых? – возразил Патап Максимыч. – Сами говорите, что в прошлу зиму без гривны полтора рубли на монету каждому топору пришлось.

– Так и считано, – молвил Захар. – В артели двенадцать человек, по рублю – двенадцать рублей, по четыре гривны – четыре рубля восемь гривен – всего, значит, шестнадцать рублей восемь гривен по старому счету. Оно и выходит без двугривенного пять целковых.

– Да ведь ты на всю артель считаешь, а поедет с нами один, – возразил Патап Максимыч.

– Один ли, вся ли артель, это для нас все едино, – ответил Захар. – Ты ведь с артелью рядишься, потому артельну плату и давай... а не хочешь, вот те Бог, а вот порог. Толковать нам недосужно – лесовать пора.

– Да ведь не вся же артель провожать поедет? – сказал Патап Максимыч.

⁷² Хвилеватая – мокрая, дождливая и выюжная.

– Это уж твое дело... Хочешь всю артель бери – слова не молвим – все до единого поедем, – заголосили лесники. – Да зачем тебе сусолько народу?.. И один дорогу знает... Не мудрость какая!

– А вы скорей, скорей, ребяташки, – день на дворе, лесовать пора, – торопил дядя Онуфрий.

– Кто дорогу укажет, тому и заплатим, – молвил Патап Максимыч.

– Этого нельзя, – заголосили лесники. – Деньги при всех подавай, вот дяде Онуфрию на руки.

Делать было нечего, пришлось согласиться. Патап Максимыч отсчитал деньги, подал их дяде Онуфрию.

– Стой, погоди, еще не совсем в расчете, – сказал дядя Онуфрий, не принимая денег. – Волочки-то здесь покинете аль с собой захватите?

– Куда с собой брать!.. Покинуть надо, – ответил Патап Максимыч.

– Так их надо долой скосить... Лишнего нам не надо, – молвил дядя Онуфрий. – Ребята, видели волочки-то?

– Глядели, – заговорили лесники. – Волочки – ничего, гожие, циновкой крыты, кошмой подбиты – рубля три на монету каждый стоит... пожалуй, и больше... Клади по три рубля с тремя пятаками.

– Что вы, ребята? Да я за них по пяти целковых платил, – сказал Патап Максимыч.

– На базаре? – спросил Захар.

– Известно, на базаре.

– На базаре дешевле не купишь, а в лесу какая им цена? – подхватили лесники. – Здесь этого добра у нас вдоволь... Хочешь, господин купец, скинем за волочки для твоей милости шесть рублей три гривны... Как раз три целковых выйдет.

Патап Максимыч согласился и отдал зеленую бумажку дяде Онуфрию. Тот поглядел бумажку на свет, показал ее каждому леснику, даже Петрянке. Каждый пощупал ее, потер руками и посмотрел на свет.

– Чего разглядываешь? Не бойся, справская, – сказал Патап Максимыч.

– Видим, что справская, настоящая государева, – отвечал дядя Онуфрий. – А глядеть все-таки надо – без того нельзя, потому артель, надо, чтоб все видели... Ноне же этих проклятых краснорук⁷³ больно много развелось... Не поскорби, ваше степенство, не погневайся... Без того, чтоб бумажку не оглядеть, в артели нельзя.

– О чем же спорили вы да сутырили⁷⁴ столько времени? – сказал Патап Максимыч, обращаясь к артели. – Сулил я вам три целковых, об волочках и помина не было, у вас же бы остались. Теперь те же самые деньги берете. Из-за чего ж мы время-то с вами попусту теряли?

– А чтоб никому обиды не было, – решил дядя Онуфрий. – Теперича, как до истинного конца дотолковались, оно и свято дело, и думы нет ни себе, ни нам, и сомненья промеж нас никакого не будет. А не разберись мы до последней нитки, свара, пожалуй, в артели пошла бы, и это уж последнее дело... У нас все на согласе, все на порядках... потому – артель.

Патапу Максимычу ничего больше не доводилось, как замолчать перед доводами дяди Онуфрия.

– Тайную силу в матке да пазорях знают, а бестолочи середь их не оберешься, – сказал он полусшепотом, наклоняясь к Стуколову.

– Табашники... еретики!.. – сквозь зубы процедил паломник.

Патап Максимыч, выйдя на середку зимницы, спросил, обращаясь к артели:

– Кто ж из вас лучше других дорогу на Ялокшу знает?

⁷³ В Поволжском крае так зовут фальшивые ассигнации.

⁷⁴ Сутырить, сутырничать – спорить, вздорить, придирается, а также кляузничать. Сутырь – бестолковый спор.

– Все хорошо дорогу знают, – отвечал дядя Онуфрий. – А вот Артемий, я тебе, ваше степенство, и даве сказывал, лучше других знает, потому что недавно тут проезжал.

– Так пушай Артемий с нами и поедет, – решил Патап Максимыч.

– Этого нельзя, ваше степенство, – отвечал, тряхнув головой, дядя Онуфрий.

– Отчего же нельзя? – спросил удивленный Патап Максимыч.

– Потому нельзя, что артель, – молвил дядя Онуфрий.

– Как так?.. – возразил Патап Максимыч. – Да вы же сами сказали, что, заплативши деньги на всех, могу я хоть всю артель тащить.

– Можешь всю артель тащить... Слово скажи – все до единого поедем, – отвечал дядя Онуфрий.

– Так ведь и Артемий тут же будет? – с досадой спросил Патап Максимыч.

– Известно, тут же будет, – ответил дядя Онуфрий. – Из артели парня не выкинешь.

– Артемья одного и беру, а других мне и не надо, – горячился Патап Максимыч.

– Этого нельзя, – спокойно отвечал дядя Онуфрий.

– Почему же нельзя?.. Что за бестолочь у вас такая!.. Господи, Царь Небесный!.. Вот народец-то!.. – восклицал, хлопая о полы руками, Патап Максимыч.

– А оттого и нельзя, что артель, – отвечал дядя Онуфрий. – Кому жребий выпадет, тот и поедет. Кусай гроши, ребята.

Вынул каждый лесник из зепи⁷⁵ по грошу. На одном Захар накусил метку. Дядя Онуфрий взял шапку, и каждый парень кинул туда свой грош. Потряс старшей шапкой, и лесники один за другим стали вынимать по грошу.

Кусаный грош достался Артемью.

– Экой ты удатной какой, господин купец, – молвил дядя Онуфрий. – Кого облюбовал, тот тебе и достался... Ну, ваше степенство, с твоим бы счастьем да по грибы ходить... Что ж, одного Артемья берешь аль еще конаться⁷⁶ велишь? – прибавил он, обращаясь к Патапу Максимычу.

– Лишний человек не мешает, – ответил Патап Максимыч. – В пути всяко случиться может: сани в снегу загрузнут аль что другое.

– Дело говоришь, – заметил дядя Онуфрий, – лишний человек в пути не помеха. Кидай, ребята! – промолвил он, обращаясь к лесникам, снова принимаясь за шапку.

Жребий выпал Петряю.

– Ишь ты дело-то какое! – с досадой молвил дядя Онуфрий, почесывая затылок. – Петряйке досталось! Эко дело-то какое!.. Смотри же, парень, поспевай к вечеру непременно, чтоб нам без тебя не лечь спать голодными.

Патап Максимыч, посмотрев на Петряю, подумал, что от подростка в пути большого проку не будет. Заметив, что не только дядя Онуфрий, но и вся артель недовольна, что «подсыпке» ехать досталось, сказал, обращаясь к лесникам:

– Коли Петряй вам нужен, пожалуй, иного выбирайте, мне все едино...

– Нельзя, ваше степенство, – возразил дядя Онуфрий. – Никак невозможно, потому – артель. Вынулся кусаный грош Петряйке, значит, ему и ехать.

– Да не все ли равно, что один, что другой? – сказал Патап Максимыч.

– Оно, конечно, все едино, да уж такие у нас порядки, – говорил дядя Онуфрий. – Супротив наших порядков идти нельзя, потому что артель ими держится. Я бы сам с великой радостью заместо мальчика поехал, да и всякий за него поехал, таково он нужен нам; только этому быть не можно, потому что жребий ему достался.

⁷⁵ **Зепь** – кожаная, иногда холщовая, мошна привесная, а если носится за пазухой, то прикрепленная к зипуну тесемкой или ремешком. В зепи держат деньги и паспорт.

⁷⁶ **Конаться** – жребий метать.

– Коли на то пошло, конайте третьего, – сказал Патап Максимыч. – От мальчугана пособи немного будет, коли в дороге что приключится.

– Третьего бери, четвертого бери, хочешь, всю артель за собой волочи – твое дело, – отвечал дядя Онуфрий. – А чтоб Петрайке не ехать – нельзя.

– Чудаки вы, право, чудаки, – молвил Патап Максимыч. – Эки порядки установили!.. Ну, конайте живей.

Третьим ехать вышло самому дяде Онуфрию.

Но тем дело не кончилось: надо было теперь старшего выбирать на место уезжавшего Онуфрия. Тут уж какой шум да гам поднялись, что хоть вон беги, хоть святых выноси.

– Да ты заместо себя кого бы нибудь сам выбрал, тут бы и делу конец, а то галдят, а толку нет как нет, – молвил Патап Максимыч дяде Онуфрию, не принимавшему участия в разговоре лесников. Артемья и Петряя тоже тут не было, они ушли ладить дровешки себе и дяде Онуфрию.

– Нельзя мне вступаться теперь, – отвечал дядя Онуфрий.

– Отчего ж?

– Оттого, что на сегодняшний день я не в артели. Как знают, так и решат, а мое дело сторона, – отвечал дядя Онуфрий, одеваясь в путь.

Не скоро сговорились лесники. Снова пришлось гроши в шапку кидать. Достался жребий краснощекому, коренастому парню, Архипом звали. Только ему кусаный грош достался, он, дотоле стоявший, как немой, живо зачал командовать.

– Проворь, ребята, проворь лошадей! – закричал он на всю зимницу. – И то гляди-ка, сколько времени проваландались. Чтоб у меня все живой рукой!.. Ну!..

Лесники засуетились. Пяти минут не прошло, как все уж ехали друг за дружкой по узкой лесной тропе.

– Ну уж артель, будь они прокляты, – с досадой молвил Стуколову Патап Максимыч, садясь в сани. – Такой сутолочи, такой бестолочи сродясь не видывал.

– Известно, табашники, церковники! Чего путного ждать?.. Бес мутит, доступны они дьяволу, – отозвался паломник.

– Ваше степенство! – крикнул со своих дровешек дядя Онуфрий. – Уж ты сделай милость – язык-то укороти да и другим закажи... В лесах не след *его* поминать.

– Слышишь: не велят поминать, – тихонько сказал Патап Максимыч сидевшему рядом с ним паломнику.

– Это так по ихней жидовской вере, – шептал Стуколов. – Когда я по турецким землям странствовал, а там жидов, что твоя Польша, видимо-невидимо, так от достоверных людей там я слыхал, что жида своего Бога по имени никогда не зовут, а все *он* да *он*... Вот и табашники по ихнему подобию... Едина вера!.. Нехристь!.. Вынеси только, Господи, поскорей отселе!.. Не в пример лучше по-вчерашнему с волками ночевать, чем быть на совете нечестивых... Паче змия губительного, паче льва стерегущего и гласов велиим рыкающа, страшны седалища злочестивых, – сказал в заключение паломник и с головой завернулся в шубу.

«Так вот она какова, артель-то у них, – рассуждал Патап Максимыч, лежа в санях рядом с паломником. – Меж себя дело честно ведут, а попадись посторонний, обдерут как липку... Ай да лесники!.. А бестолочи-то что, галденья-то!.. С час места попусту проваландали, а кончили тем же, чем я зачал... Правда, что артели думой не владати... На работе артель золото, на сходке хуже казацкой сумятицы!..»

Дорога шла узенькая, легкие дровешки лесников бойко катились впереди, но запряженные гусем пошевни то и дело завязали меж раскидистых еловых лап, как белым руном покрытых пушистым снегом. В иных местах приходилось их прорубать, чтоб сделать просеку для проезда. Не покинь Патап Максимыч высокие волочки, пошевням не проехать бы по густо разросшемуся краснолесью. Сначала дорога шла одна; не успели полверсты проехать, как пошли

от нее и вправо и влево частые повороты и узенькие тропы. По ним лесники бревна из чащи вывозят. Без жоака небывалый как раз заплутался бы меж ними и лыжными маликами⁷⁷, которых сразу от санного следа и не отличишь. А попробуй-ка пустить по малику, так наткнешься либо на медвежью берлогу, либо на путик, оставленный для лосиного лова⁷⁸.

Доехав до своей поворотки, передние лесники стали. За ними остановился и весь поезд. Собралась артель в кучу, опять галдовня началась... Судили-рядили, не лучше ль жоакам одну только подводу с собой брать, а две отдать артели на перевозку бревен. Пospорили, покpичали, наконец решили – быть делу так.

Своротили лесники. Долго они аукались и перекликались с Артемьём и Петряем. Впереди Патапа Максимыча ехал на дровешках дядя Онуфрий, Петрай присоединился к храпевшему во всю ивановскую Дюкову, Артемий примостился на облучке пошевней, в которых лежал Патап Максимыч и спал, по-видимому, богатырским сном паломник Стуколов.

– Эка, парень, бестолочь-то какая у вас, – заговорил Патап Максимыч с Артемьём. – Неужель у вас завсегда такое галденье бывает?

– Артель! – молвил Артемий. – Без того нельзя, чтоб не погалдеть... Сколько голов, столько умов... Да еще каждый норовит по-своему. Как же не галдеть-то?

– Да вы бы одному дали волю всяко дело решать, хоть бы старшему.

– Нельзя того, господин купец, – отвечал Артемий. – Другим станет обидно. Ведь это, пожалуй, на ту же стать пойдет, как по другим местам, где на хозяев из-за ряженой платы работают...

– Ну да, – ответил Патап Максимыч. – Толку тут больше бы было.

– Обидно этак-то, господин купец, – отвечал Артемий. – Пожалуй, вот хоть нашего дядю Онуфрия взять... Такого артельного хозяина днем с огнем не сыскать... Обо всем старанье держит, обо всякой малости печется, душа-человек: прямой, правдивый и по всему надежный. А дай-ка ты ему волю, тотчас величаться зачнет, потому человек, не ангел. Да хоша и по правде станет поступать, все уж ему такой веры не будет и слушаться его, как теперь, не станут. Нельзя, потому что артель суймом держится.

– А в деревне как у вас? – спросил Патап Максимыч.

– В деревне свои порядки, артель только в лесах, – отвечал Артемий.

– Как же она у вас собирается? – спросил Патап Максимыч.

– Известно как. Придет осень, зачем сговариваться, как лесовать зимой, как артель собирать. Соберется десять либо двадцать топоров, – больше не бывает. Наберутся скоро, потому что всякому лесовать надо, без этого деньгу не добудешь... Ну, соберутся, зачнут друг у друга спрашивать, кому в хозяевах сидеть. Один за того мекает, другой за другого... Так и толкуем день, два, ину пору и в неделю не сговоримся... Тут-то вот галденья-то послушал бы ты... Тогда ведь вино да хмельное пиво пьют, народ-от в задоре, редко без драки обходится... Положат наконец идти кланяться такому-то – вот хоть бы дяде Онуфрию. Ну, и пойдем, придем в избу, а он сидит, ровно ничего не знает: «Что, говорит, скажете, ребяташки? Какая вам до меня треба?» А ему в ответ: так, мол, и так, столько-то нас человек в артель собралось, будь у нас за хозяина. Тот, известно дело, зачнет ломаться, без этого уж нельзя: «И ума-то, говорит, у меня на такое дело не хватит, и стар-от я стал, и топор-то у меня из рук валится», ну и все такое. А мы стоим да кланяемся, покамест не уломаем его. Как согласился, тотчас складчину по рублю аль по два – значит, у лесничего билеты править да попенные платить. А которые на купцов работают, те старшого в Лысково посылают рядиться. Это уж его дело. Оттого и выбирают человека ловкого, бывалого, чтоб в городе не запропал и чтоб в Лыскове купцы его

⁷⁷ След на пути от лыж.

⁷⁸ **Путик** – прямая длинная городьба из прясел. По обоим концам путика вырывают ямы и прикрывают их хворостом либо словыми лапами. Лось или олень, подойдя к путику, никогда не перескочит через него, но непременно пойдет вдоль, ища прохода. Таким образом зверь и попадет в яму.

не обошли, потому что эти лысковцы народ дошлый, всячески норовят нашего брата огреть... Ну, выправит старшой билеты, отводное место нам укажут. Тут, собравшись, и ждем первопутки. Только снег выпадет, мы в лес... Тут и начинается артель... Как выехали из деревни за околицу, старшой и стал всему делу голова: что велит, то и делай. А коли какое стороннее дело подойдет, вот хоть бы ваше, тут он ни при чем, тут уж артель что хочет, то и делает.

– А расчеты когда? – спросил Патап Максимыч.

– После Евдокии-плющихи, как домой воротимся, – отвечал Артемий. – У хозяина каждая малость на счету... Оттого и выбираем грамотного, чтоб умел счет записать... Да вот беда – грамотных-то маловато у нас; зачастую такого выбираем, чтоб хоть бирки-то умел хорошо резать. По этим биркам аль по записям и живет у нас расчет. Сколько кто харчей из дома на зиму привез, сколько кто овса на лошадей, другого прочего – все ставим в цену. Получим заработки, поровну делим. На Страшной и деньги по рукам.

– А без артели в лесах работают? – спросил Патап Максимыч.

– Мало, – отвечал Артемий. – Там уж не такая работа. Почитай, и выгоды нет никакой... Как можно с артелью сравнять! В артели всем лучше: и сытней, и теплей, и прибыльней. Опять завсегда на людях... Артелью лесовать не в пример веселей, чем бродить одиночкой аль в двойниках.

– А летней порой ходите в лес? – спросил Патап Максимыч.

– Как не ходить? И летом ходим, – отвечал Артемий. – Вдаль, однако, не пускаемся, все больше по раменям... Бересту дерем, луб. Да уж это иная работа: тут жизнь бедовая, комары больно одолевают.

– Сам-от ты ходишь ли по летам? – спросил Патап Максимыч.

– Я-то?.. Как же?.. Иной год в леса хожу, а иной на плотках до Астрахани и на самое Каспийское море сплываю. Чегень туда да дрючки гоняем... А в леса больше на рябка да на тетерю хожу... Ружьишко есть у меня немудрящее, грешным делом похлопываю. Только по нынешним годам эту охоту бросать приходится: порох вздорожал, а дичины стало меньше. Вот в осиле да в пленку⁷⁹ птицу ловить еще туда-сюда... Так и тут от зверья большая обида бывает: придешь, силки спущены, а от рябков только перышки остались; подлая лиса либо куница прежде тебя успела убрать... Нет, кака ноне охота!.. Само последнее дело!.. А то ходят еще летней порой в леса золото копать, – прибавил Артемий.

– Как золото?.. – быстро привскочив в санях, спросил Патап Максимыч.

– Так же... золота да серебра по нашим лесам много лежит, – отвечал Артемий. – Записи такие есть, где надо искать... Хаживал и я.

– Что же? – с нетерпением спросил Патап Максимыч.

– Не дается, – отвечал Артемий.

– Как не дается?

– Так же и не дается. Слова такого не знаю... Вещбы⁸⁰ не знаю, – отвечал Артемий.

– Да ты про что сказываешь? Говори толковей, – молвил Патап Максимыч.

– Про клады говорю, – отвечал Артемий. – По нашим лесам кладов много зарыто. Изда-лека люди приходят клады копать...

– Клады!.. – проговорил Патап Максимыч и спокойно развалился на перине, разостланной в санях.

– Ну, рассказывай, какие у вас тут клады, – через несколько времени сказал он, обращаясь к Артемию.

– Всякие клады тут лежат, – отвечал Артемий.

⁷⁹ **Осиле** – затяжной узел, куда птица попадает ногой. **Пленка** – то же, но узел делается из свитого вдвое или втрое конского волоса. Осилы или пленки ставятся по одной на колышках либо на лубочке, на который посыпается приманка.

⁸⁰ **Вещба** – тайное слово и тайный обряд, употребляемые при заговорах, рытье кладов, ворожбе и т. п.

– Как же так? – спросил Патап Максимыч. – Разве клады разные бывают?

– А как же, – отвечал Артемий. – Есть клады, самим Господом положенные, – те даются человеку, кого Бог благословит... А где, в котором месте, те Божьи клады положены, никому не ведомо. Кому Господь захочет богатство даровать, тому тайну свою и откроет. А иные клады людьми положены, и к ним приставлена темная сила. Об этих кладах записи есть: там прописано, где клад зарыт, каким видом является и каким зарокотом положен... Эти клады страшные...

– Отчего? – спросил Патап Максимыч.

– Кровь на них, – отвечал Артемий. – С бою богатство было брато, кровью омыто, много душ христианских за ту казну в стары годы загублено.

– Когда ж это было? – спросил Патап Максимыч.

– Давно... – сказал Артемий. – Еще в те поры, как купцами да боярами посконна рубаха владала.

– Когда ж это было? При царе Горохе, как грузди с опенками воевали?... – смеялся Патап Максимыч.

– В казачьи времена, – степенно отвечал Артемий.

– Что за казачьи времена такие? – спросил Патап Максимыч.

– Разве не слыхивал? – сказал Артемий. – Ведь в стары-то годы по всей Волге народ казачил... Было время, господин купец, золотое было времечко, да по грехам нашим миновало оно... Серые люди жили на всей вольной волюшке, ели сладко, пили пьяно, цветно платье носили – житье было разудалое, развеселое... Вон теперь по Волге пароходы взад и вперед снуют, ладьи да барки ходят, плоты плывут... Чьи пароходы, чьи плоты да барки? Купецкие все. Завладала ваша братья, купцы, Волгой-матушкой... А в стары годы не купецкие люди волжским раздолем владели, а наша братья, голытьба.

– Что ты за чепуху несешь? – молвил Патап Максимыч. – Никогда не бывало, чтоб Волга у голытьбы в руках была.

– Была, господин купец. Не спорь – правду сказываю, – отвечал Артемий.

– Стара баба с похмелья на печке валялась да во сне твою правду видела, а ты зря бабы сказки и мелешь, – сказал Патап Максимыч.

– Вранью да небылицам короткий век, а эта правда от старинных людей до нас дошла. Отцы, деды про нее нам сказывали, и песни такие про нее поются у нас... Значит, правда истинная.

– Мало ли что в песнях поют? Разве можно деревенской песне веру дать? – молвил Патап Максимыч.

– Можно, господин купец, потому что «сказка – складка, а песня – быль», – ответил Артемий. – А ты слушай, что я про здешню старину тебе рассказывать стану: занятное дело, коли не знаешь.

– Ну, говори, рассказывай, – молвил Патап Максимыч. – Смолodu охотник я до сказок бывал... Отчего на досуге да на старости лет и не послушать ваших рассказней.

– Голытьба в стары годы по лесам жила, жила голытьба и промеж полей, – начал Артемий. – Кормиться стало нечем: хлеба недороды, подати большие, от бояр, от приказных людей утеснение... Хоть в землю зарывайся, хоть заживо в гроб ложись... И побежала голытьба врозь, и стала она вольными казаками... Тут и зачинались казачьи времена... Котора голытьба на Украйну пошла – та ляхов да басурманов побивала, свою казацкую кровь за Христову веру проливали... Котора голытьба в Сибирь махнула – та сибирские места полонила и великому государю Сибирским царством поклонилась... А на Волгу на матушку посыпала что ни на есть сама последняя голытьба. На своей стороне у ней не было ни кола, ни двора, ни угла, ни

притула⁸¹; одно только и осталось за душой богатство: наготы да босоты изувешаны шесты, холоду да голоду анбары полны... Вот, ладно, хорошо – высыпала та голытьба на Волгу, казаками назвалась... Атаманы да есаулы снаряжали легки лодочки косные и на тех на лодочках пошли по матушке по Волге разгуливать... Не попадай навстречу суда купецкие, не попадайся бояре да приказные: людей в воду, казну на себя!.. Веслом махнут – корабли возьмут, кистенем махнут – караван разобьют... Вот каковы бывали удалыцы казаки поволжские...

– Это ты про разбойников? – молвил Патап Максимыч.

– По-вашему, разбойники, по-нашему, есаулы-молодцы да вольные казаки, – бойко ответил Артемий, с удалством тряхнув головой и сверкнув черными глазами. – Спеть, что ли, господин купец? – спросил Артемий. – Словами не расскажешь.

– Пой, пожалуй, – сказал Патап Максимыч.

Запел Артемий одну из разинских песен, их так много сохраняется в Поволжье:

Как повыше было села Лыскова,
Как пониже было села Юркина,
Супротив села Богомолова:
В луговой было во сторонушке,
Протекала тут речка быстрая,
Речка быстрая, омутистая,
Омутистая Лева Керженка⁸².

– Наша реченька, голубушка!.. – с любовью молвил Артемий, прервав песню. – В стары годы наша Лева Керженка славной рекой слыла, суда ходили по ней, косные плавали... В казачьи времена атаманы да есаулы в нашу родну реченьку зимовать заходили, тут они и дуван дуванили, нажитое на Волге добро, значит, делили... теперь и званья нашей реки не стало: завалило ее, голубушку, каршами, занесло замоинами⁸³, пошли по ней мели да перекаты... Так и пропала прежняя слава Керженца.

Громче прежнего свистнул Артемий и, тряхнув головою, запел:

Выплыла легка лодочка,
Легка лодочка атаманская,
Атамана Стеньки Разина,
Еще всем лодка изукрашена,
Казаками изусажена.
На ней парусы шелковые.
А веселки позолочены.
На корме сидит атаман с ружьем,
На носу стоит есаул с багром,
Посередь лодки парчевой шатер.
Как во том парчевом шатре
Лежат бочки золотой казны.
На казне сидит красна девица —

⁸¹ **Притул, или притулье**, – приют, убежище, кров; происходит от глагола «притулять», имеющего три значения: при-слонить или приставить, прикрыть или приютить.

⁸² **Юркино, Богомоново, Лысково** – села на правом, возвышенном берегу Волги. Против них впадает в Волгу с левой стороны Керженец. Эту реку местные жители зовут иногда Левой Керженкой, то есть впадающей в Волгу с левой стороны. В песнях тоже придается ей название левой. Замечательно, что по-мордовски *керже, кержень* значит левый. В глубокую старину по всему Поволжью от Оки до Суры жила мордва. От нее и пошло название Керженца.

⁸³ **Замоина** – лежащее в русле под песком затонувшее дерево; карша, или карча, – то же самое, но поверх песка.

Атаманова полюбовница,
Есаулова сестра родная,
Казакам-гребцам – тетушка.
Сидит девка, призадумалась,
Посидевши, стала сказывать:
«Вы послушайте, добры молодцы,
Вы послушайте, милы племяннички,
Уж как мне, молодой, мало спалось,
Мало спалось, много виделось,
Не корыстен же мне сон привиделся:
Атаману-то быть расстрелену,
Есаулу-то быть повешену,
Казакам-гребцам по тюрьмам сидеть,
А мне, вашей родной тетушке,
Потонуть в Волге-матушке».

– Вишь, и девки в те поры пророчили! – сказал Артемий, оборотясь к Патапу Максимчу. – Атаманова полюбовница вещей сон провидела... Вещая девка была... Сказывают, Соломонидой звали ее, а родом была от Старого Макарья, купечская дочь... И все сбылось по слову ее, как видела во сне, так все и случилось... С ней самой атаман тут же порешил, – матушке Волге ее пожертвовал. «Тридцать лет, говорит, с годиком гулял я по Волге-матушке, тридцать лет с годиком тешил душу свою молодецкую, и ничем еще поилуцу нашу, кормилуцу я не жаловал. Не пожалую, говорит, Волгу-матушку ни казной золотой, ни дорогим перекатным жемчугом, пожалую тем, чего на свете краше нет, что нам, есаулы-молодцы, дороже всего». Да с этим словом хватъ Соломониду поперек живота, да со всего размаху как метнет ее в Волгу-матушку... Вот каков был удалой атаман Стенька Разин, по прозванью Тимофеевич!..

– Разбойник, так разбойник и есть, – сухо промолвил Патап Максимыч. – Задаром погубил христианскую душу... Из озорства да из непутевой похвальбы... Как есть разбойник – недаром его на семи соборах проклинали...

Тут пошевни заехали в такую чащу, что ни вбок, ни вперед. Мигом выскочили лесники и работники и в пять топоров стали тятать еловые сучья и лапы. С полчаса провозились, покаместь не прорубили свободной просеки. Артемий опять присел на облучке саней Патапа Максимыча.

– А что ж ты про клады-то хотел рассказать? – молвил ему Патап Максимыч. – Заговорил про Стеньку Разина, да и забыл.

– Про клады-то! – отозвался Артемий. – А вот слушай... Когда голытьба Волгой владела, атаманы с есаулами каждое лето на косных разъезжали, боярски да купчески суда очищали. И не только суда они грабили, доставалось городам и большим селам, деревень только да приселков не трогали, потому что там голытьба свой век коротала. Церквам Божьим да монастырям тоже спуску не было: не любили есаулы монахов, особенно «посельских старцев», что монастырскими крестьянами правили... Вот наш Макарьев, сказывают, от них отборонился; брали его огненным боем, да крепок – устоял... Ну, вот есаулы-молодцы лето на Волге гуляют, а осенью на Керженец в леса зимовать. И теперь по здешним местам ихние землянки знать... Такие же были, как наши. В тех самых землянках, а не то в лесу на приметном месте нажитое добро в землю они и закапывали. Оттого и клады.

– Где же эти землянки? – спросил Патап Максимыч.

– По разным местам, – отвечал Артемий. – Много их тут по лесам-то. Вот хоть между Дорогучей да Першей⁸⁴ два диких камня из земли торчат, один поболее, другой помене, оба с виду на коней похожи. Так и зовут их – Конь да Жеребенок. Промеж тех камней казацки зимницы бывали, тут и клады зарыты... А то еще озера тут по лесу есть, Нестиар, да Култай, да Пекшеяр прозываются, вокруг них тоже казацки зимницы, и тоже клады зарыты... И по Ялокше тоже и по нашей лысковской речонке. Вишней прозывается... Между Конем и Жеребенком большая зимница была, срубы до сей поры знать... Грешным делом, и я тут копал.

– Что ж, дорылся до чего? – спросил Патап Максимыч.

– Где дорыться!.. Есаулы-то с зарокотом казну хоронили, – отвечал Артемий. – Надо слово знать, вещь такую... Кто вещь знает, молви только ее, клад-от сам выйдет наружу... А в том месте важный клад положен. Если достался, внукам бы, правнукам не прожить... Двенадцать бочек золотой казны на серебряных цепях да пушка золотая.

– Как пушка золотая? – с удивлением спросил Патап Максимыч.

– Так же золотая, из чистого золота литая... И ядра при ней золотые лежат и жеребьи золотые, которыми Стенька Разин по бусурманам стрелял... Ведь он Персиянское царство заполнил. Ты это слышал ли?

– Нестаточное дело вору царство полонить, хоша бы и басурманское, – молвил Патап Максимыч.

– Верно тебе говорю, – решительно сказал Артемий. – Кого хочешь спрошай, всяк тебе скажет. Видишь ли как дело-то было. Волга-матушка в Каспийское море пала, сам я то море не раз с чегенником да дрючками хаживал. По сю сторону того моря сторона русская, крещеная, по ту бусурманская, персиянская. Услыхал Стенька Разин, что за морем у бусурманов много тысячей крещеного народа в полону живет. Собирает он казачий круг, говорит казакам такую речь: «Так и так, атаманы-молодцы, так и так, братцы-товарищи: пали до меня слухи, что за морем у персиянов много тысячей крещеного народу живет в полону в тяжелой работе, в великой нужде и горькой неволе; надо бы нам, братцы, не поленившись, за море съездить потрудиться, их, сердечных, из той неволи выручить!» Есаулы-молодцы и все казаки в один голос гаркнули: «Веди нас, батька, в бусурманское царство русский полон выручать!..» Стенька Разин рад тому радешенек, сам первым делом к колдуну. Спрашивает, как ему русский полон из бусурманской неволи выручить. Колдун говорит ему: «За великое ты дело, Стенька, принимаешься; бусурманское царство осилить – не мутовку облизать. Одной силой-храбростью тут не возьмешь, надо вещь знать...» – «А какая же на то вещь есть?» – спросил у колдуна Стенька Разин. Тот ему тайное слово сказал да примолвил: «И с вещью далеко не уедешь, а вылей ты золоту пушку, к ней золоты ядра да золоты жеребья, да чтоб золото было все церковное, а и лучше того монастырское... И как станешь палить, вещь говори, тут и заберешь в свои руки царство бусурманское». Стенька Разин так и сделал, как ему колдуном было сказано.

– Что ж потом? – спросил Патап Максимыч.

– Известно что, – отвечал Артемий. – Зачал из золотой пушки палить да вещь говорить – бусурманское царство ему и покорилося. Молодцы-есаулы крещеный полон на Русь вывезли, а всякого добра бусурманского столько набрали, что в лодках и положить было некуда: много в воду его пометали. Самого царя бусурманского Стенька Разин на кол посадил, а дочь его, царевну, в полюбовницы взял. Дошлый казак был, до девок охоч.

– Эту самую пушку ты и копал? – спросил Патап Максимыч.

– Эту самую, – сказал Артемий. – Когда атаман воротился на Русскую землю, привез он ту пушку с жеребьями да с ядрами в наши леса и зарыл ее в большой зимнице меж Коня и Жеребенка. Записи такие есть.

⁸⁴ Лесные реки, впадающие в Ветлугу.

– Как же это до сих пор никто той пушки не вынул? Ведь все знают, в каком месте она закопана, – сказал Патап Максимыч.

– Экой ты, господин купец! – отвечал Артемий. – Мало знать, где клад положон, надо знать, как взять его... Да как и владеть-то им, тоже надо знать...

– А как же кладом владеть? – спросил Патап Максимыч.

– Это дело мудренее, чем клад достать, – отвечал Артемий. – Сколько ни было счастливых, которым клады доставались, всем, почитай, богатство не на пользу пошло: тот сгорел, другой всех детей схоронил, третий сам прогорел да с кругу спился, а иной до палачовых рук дошел... Прахом больше такие деньги идут... Счастливого человека, что вынул клад, враг день и ночь караулит и на всякое худое дело наталкивает... Знамо, хочется окаянному душой его завладеть, чтоб душой своей расплатился он за богатство. Потому, как только он вырыл клад, попов позови, молебен отпой, на церкву Божию вклады не пожалей, бедным половину денег раздай, и какого человека в нужде ни встретишь, всякому помоги. Коли так поступишь – недобрая сила тебя на коснется, и богатство твое, как вешняя вода на поемах, каждый день, каждую ночь зачнет у тебя прибывать. Сколько денег нищим ты ни раздашь, а их опять как снегу в степи, к тебе в дом нанесет. Так и в старинных записях писано: «А вынутый клад впрок бы пошел, ино церковь Божию не забыть, нищей братье расточить, вдову, сироту призреть, странного удовлетворить, алчного напитать, хладного обогреть». Так и про золоту пушку писано⁸⁵. Хоша бы тот клад и лихим человеком был положон на чью голову – заклятье его не подействует, а вынутый клад вменится тебе за клад, самим Богом на счастье твое положенный.

– Разве Бог-от кладет клады? – с усмешкой молвил Патап Максимыч. – Эка что городишь!

– Как же не кладет? – возразил Артемий. – Зарывает!.. Господь в землю и золото, серебро, и всяки дорогие камни тайной силой своей зарывает. То и есть Божий клад... Золото ведь из земли же роют, а кто его туда положил?.. Вестимо – Бог.

Патап Максимыч насторожил уши, не перебивая Артемьева рассказа. Привстал с перины и, склонив к Артемью голову, ухватился руками за облучок.

– Когда Господь поволит мать сыру-землю наградить, – продолжал Артемий, – пошлет он ангела небесного на солнце и велит ему иверень⁸⁶ от солнца отщербить⁸⁷ и вложить его в громовую тучу... И Господнею силой тот солнечный иверень разольется в туче чистым золотом. И по Божьему велению пойдет та туча над землею и в молоньях золото на землю посыплет. Как только та молонья ударит, так золото и польется на землю и в ней песком рассыплется... Это и есть Божий клад... серебро ангел Господень с ясного месяца берет, а камни самоцветные со звезд небесных... Вот каково чудна сила Божия...

– Да ведь грозы-то везде бывают, – отчего ж не везде роют золото? – спросил Патап Максимыч.

– Не во всяку тучу Богом золото кладется, – ответил Артемий, – а только в ту, в которую его святой воле угодно. В обиходной молонье не золото, не серебро, а стрелка громовая кладется... Видал, что ли? Еще в песке находят, воду с той стрелки пьют от рези в животе... А в солнечной туче стрелки нет, одно золото рассыпчатое. Молонья молонье рознь. Солнечная молонья рассыпается по небу ровно огненными волосами, бьет по земле не шибко, а ровно манна небесная сходит, и гром от нее совсем другой... Тут не гром гремит, а Господни ангелы воспевают славу Божию...

⁸⁵ Взято буквально из записей кладов.

⁸⁶ **Иверень** – осколок, черепок, небольшая отбитая часть от какой-нибудь вещи.

⁸⁷ **Отщербить** – отбить, отломить, говоря о посуде и вообще о хрупкой вещи.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.